



Иосиф
ШКЛОВСКИЙ

ЭШЕЛОН

невыдуманные
рассказы

Новосибирск

Иосиф Шкловский

Эшелон

(невыдуманные рассказы)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Н. С. Кардашев, Л. С. Марочник: По гамбургскому счёту

Слово к читателю

«Квантовая теория излучения»

К вопросу о Фёдоре Кузмиче

О везучести

Пассажиры и корабль

Амадо мио, или о том, как «сбылась мечта идиота»

Канун оттепели

Илья Чавчавадзе и «мальчик»

Мой вклад в критику культа личности

Лёша Гвамичава и рабби Леви

Париж стоит обеда!

Астрономия и кино

Юбилейные арабески
«На далёкой звезде Венере...»
Антиматерия
О людоедах
Академические выборы
Искусство и власть
История одной ненависти
Тост
Большие перемены
«Космогоническая поэма»
А всё-таки она вертится!
Дипломат поневоле
Юра Гастев и дыхание Чейн-Стокса
Принцип относительности
Поиски внеземных цивилизаций
Глядя на Лысенко
Укрепи и наставь...
Наш советский раввин

В. И. Гольданский. «Слова народные...»

В. А. Бронштэн. Прицепите меня к «Эшелону»

Отклики читателей

ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЁТУ

Эта книга написана учёным. Учёным с мировым именем. Но сейчас на суд читателя вынесено не научное исследование какой-либо из ещё не решённых проблем астрофизики – науки, которой Иосиф Самуилович Шкловский отдал всю свою жизнь, а его воспоминания. Но это и не мемуары – во всяком случае, они сильно отличаются от привычных для нас канонов этого литературного жанра. В том числе и нарушением хронологической последовательности сюжетов.

Все мы – друзья, коллеги, ученики профессора Шкловского – знали его как превосходного рассказчика, скорее даже новеллиста. Рассказывать он любил и делал это талантливо и артистично. Его «невыдуманные рассказы» были «написаны» яркими мазками мастера (недаром он по первоначальному призванию художник-портретист) и чем-то напоминали рассказы Бабеля и новеллы О'Генри. Многие из них сохранились в архивах семьи – они-то и составили книжку, которая названа так, как скорее всего её назвал бы сам автор: «ЭШЕЛОН». И теперь не только друзья и ученики могут «услышать» живого Шкловского, но и каждый, кто захочет прочитать эту книгу. Более того, читатель не только «услышит», но и «увидит» автора «ЭШЕЛОНА» – таким, каким он был, со всей его отзывчивостью на добро и резким неприятием того, что он считал злом и уродствами нашей жизни, со всеми угловатостями его характера – словом, живого человека, без ретуши, прикрас и ненужного еля.

...Он начинал десятником на БАМе в 1932 году, имея от роду 16 лет, а кончил главой всемирно известной научной школы, лауреатом Ленинской премии, членом множества академий, кавалером золотой Брюсовской медали, которая среди астрономов и астрофизиков котируется столь же высоко, как Нобелевская премия среди физиков.

Шкловский был в самом точном смысле слова пионером в науке. Пионерские, новаторские идеи содержались уже в самых первых его работах – начиная с кандидатской диссертации, которую он защитил ещё в дни войны, в 1944 году (на фронт не взяли из-за сильнейшей близорукости – «минус 10»), и продолжившей её в 1949-м докторской. Обе эти диссертации вошли в фундамент отечественной и мировой ракетной астрономии и радиоастрономии, делавших тогда свои первые шаги. Потом был ещё ряд открытий, каждого из которых хватило бы, чтобы имя их автора вошло в науку навсегда.

Однажды Л. Д. Ландау с горечью сказал: «Я немного опоздал родиться. Мне бы следовало это сделать на 6-7 лет раньше». Имелось в виду, что к началу «золотого века в физике», то есть к 1925 году, ему было только 17 лет, а к 1930-му, когда он попал в Копенгаген к Нильсу Бору, весь фундамент квантовой механики был уже заложен. В этом смысле Шкловскому повезло: он родился вовремя, и его имя справедливо связывают с самым началом «золотого века в астрофизике».

Истинные профессионалы в любой сфере человеческой деятельности, в том числе, разумеется, и в науке, судят друг о друге по «гамбургскому счёту». Иосиф Самуилович часто употреблял этот термин из книги его однофамильца и дальнего родственника писателя Виктора Шкловского. «Там рассказывалось, – вспоминал учёный, – что до революции, когда не было ни телевидения, ни хоккея, ни многих других „достижений“ нашего беспокойного „Ха-Ха“ века, народ с ума сходил на „мировых чемпионатах“ французской борьбы. Увлекались этим и Блок, и Куприн, и гимназисты. Повсюду – в Одессе, Екатеринославе, Самаре, одним словом, везде – устраивались в цирках чемпионаты мира. Заранее всё было расписано: сегодня Лурих на 6-й минуте туширует „ужасного африканского борца Бамбулу“, а послезавтра всё будет наоборот. Это было только коммерческим зрелищем. Но раз в году все эти чемпионы собирались в Гамбурге, в одной таверне, хозяином которой был старый борец. И там они боролись по-настоящему, без публики и прессы. И у них всегда между собой был свой, „гамбургский“, счёт побед и поражений». Обычный вопрос:

– Такой-то? А что он сделал? Что, так сказать, за ним «записано» в науке?

Это прекрасно понимал Шкловский, написавший однажды: «...в конце концов, от учёного остаются только конкретные результаты его труда. Применяя футбольную аналогию, имеют реальное значение не изящные финты и дриблинг, а забитые голы». Пользуясь той же футбольной

терминологией, можно сказать, что по числу забытых «голов» Шкловский был одним из самых результативных советских астрофизиков и, безусловно, входил в символическую «сборную мира» на первых ролях.

Он оставил огромное наследие: более двухсот статей, не говоря о книгах. И все они написаны, так сказать, «единолично», без соавторов, без привлечения себе в помощники, а точнее, в службу молодых, а потому и непритязательных, «соавторов». Такого Иосиф Самуилович никогда себе не позволял. Было прямо противоположное: этот на поверхностный взгляд «крайний индивидуалист» был создателем и главой крупной научной школы. Что это означает, профессиональным учёным объяснять нет нужды... Многие его ученики были выпестованы им буквально «с университетских пелёнок». Среди учеников Шкловского – два члена-корреспондента, десять докторов и несколько десятков кандидатов наук. А ведь каждому или почти каждому из них он помогал. Не менее десяти ныне ведущих советских астрофизиков обязаны ему тем, что они вообще состоялись. А скольким молодым талантам, «не щадя живота своего», профессор Шкловский «пробивал» сносное жильё, да и вообще нормальные условия быта и работы! У него всегда находилось время для начинающей молодёжи, студентов и даже школьников. Это ему принадлежат слова: добро должно быть конкретно, нет ничего хуже «безваттной» доброты...

Однако нам меньше всего хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление о нашем учителе как об «идеальном герое», безгрешном и безупречном. Нет, он не был святым. Бесплезно, да и не нужно канонизировать его облик. Шкловский был талантлив, талантлив во всём. Обаяние, порой и «отрицательное», его личности ощущал каждый, кто так или иначе с ним соприкасался. Но пусть об этом скажет его давний друг и коллега Валентина Бердичевская: «Он всегда был окружён друзьями и учениками... но его острое слово, разящее, как пушкинская эпиграмма, создавало ему и немало врагов». Предельно точно сказал о том же и академик Я. Б. Зельдович: «...из песни слова не выкинешь, и мы подходим к трудному месту. Сама личность Шкловского поляризовала окружающих. Наряду с верными друзьями, учениками, последователями у него были враги. Он мог больно задеть и людей, вполне расположенных к нему. Фраза „он Человеком был!“ включает в себя и подтекст: ничто человеческое не было ему чуждо».

Да, он мог задеть «пушкинской эпиграммой»; мог обидеть маститого коллегу недвусмысленным обвинением в невежестве; мог, «невзирая на лица», отстаивать свою научную и этическую позицию. Читатель «ЭШЕЛОНА» сможет в этом убедиться... Но он поймёт и другое: всегда, во всех обстоятельствах, Шкловский был верен главному: научной истине. И в этом смысле чрезвычайно характерен эпизод, упомянутый автором в одном из «невыдуманных рассказов»: беседуя с Микеланджело Антониони, он вынужден был

объяснить выдающемуся кинорежиссёру современности, и притом в самой категорической форме, что «настоящая наука – это сумма запретов»; в физике, например, их три: «а) нельзя построить перпетуум-мобиле первого и второго рода, б) нельзя передать сигнал со скоростью, большей, чем скорость света, и в) нельзя одновременно измерить координату и скорость электрона».

Нам кажется, что эта чрезвычайно глубокая идея бесспорна не только применительно к науке: разве, когда мы говорим о настоящей порядочности или настоящей интеллигентности, речь идёт (разумеется, на подсознательном уровне) не о сумме запретов? Сумма запретов Шкловского была абсолютной. Как в физике.

Не можем не вспомнить и ещё одно, чрезвычайно редкое, в том числе и в науке, качество этого человека: он не боялся отказываться от собственных прогнозов и гипотез, если таковые не находили подтверждения. А между тем широкому кругу читателей во всём мире профессор И. С. Шкловский известен прежде всего как автор знаменитой книги «Вселенная, Жизнь, Разум», впервые увидевшей свет в 1962 году и выдержавшей с тех пор шесть изданий. Она была переведена на многие языки и для каждого нового поколения становилась таким же откровением, как и для первых её читателей. «Я особенно горжусь тем, что книга вышла в издании для слепых – шрифтом Брайля! Четыре толстенных тома, сделанные на бумаге, похожей на картон,

производят странное впечатление». Эта книга о Вселенной, о возможности существования жизни в ней, и не просто жизни, но жизни разумной, была написана Иосифом Самуиловичем, что называется, «на одном дыхании». Тогда, в 1962-м, в эпоху «бури и натиска», казалось, что гигантские успехи астрономии и астрофизики не могут не привести к обнаружению сигналов искусственного происхождения. Но Космос молчал... И Шкловский не побоялся опровергнуть самого себя, не запутался в тенетах собственной популярности. Скорее всего, наша цивилизация существует всё же в единственном числе... Мы не собираемся здесь приводить все pro и contra в пользу той или иной точки зрения. В конце концов, мы сейчас пишем не об этой, старой как мир проблеме, а о нашем учителе, создавшем в начале 60-х настоящий бестселлер.

А теперь вот – ещё одна книга. Но уже 6 лет, как нет в живых её автора... Грустно и больно. Но Иосиф Самуилович успел дать ей, как он выразился, «кодовое название». И это название – «ЭШЕЛОН» – кажется нам очень точным: в нём и движение, и соседство самых разных судеб и характеров, как и бывало в наспах составленных эшелонах военного лихолетья, где допотопный «спальный вагон» нередко соседствовал с теплушкой, а именитый пассажир – с «зайцем», вскочившим на ходу на подножку последнего вагона. Но что объединяет почти всех героев новелл «ЭШЕЛОНА» – это их причастность к научной деятельности. А потому и главная (хотя и не единственная!) тема книги – наука: её будни и

праздники, видимые успехи и невидимые провалы, благородство поступков и заземленность сиюминутного расчёта. И за всем этим – научная и человеческая судьба автора «невыдуманных рассказов», вобравшая в себя, как и судьбы миллионов его сверстников, все радости и горести Времени, в которое он жил: во многом, бесспорно, исторического, но в гораздо большем – трагического и страшного.

Однако сам рассказчик никогда не был ни нытиком, ни пессимистом: в противном случае он не оставил бы нам ничего по-настоящему крупного. Это был, при всей его серьёзности и основательности, человек невероятно остроумный, ироничный – стрелы сарказма и иронии он очень часто, кстати, направлял и в самого себя! – и потому так естественна сама тональность новелл-воспоминаний с их, порой парадоксальной, сменой настроения. «...Иногда при смехе болит сердце и концом радости бывает печаль» – как говорили древние.

Мы не можем не сказать и ещё об одном: свой «ЭШЕЛОН» И. С. Шкловский писал в 1981—1982-м, в самый «пик» застоя. А читается он как книга сегодняшнего дня.

Н. С. Кардашев,

член-корреспондент АН СССР

Л. С. Марочник,

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Как-то вдруг я понял, что жизнь в основном прожита и дело идёт к концу. Это старая тема, и нечего её пережёвывать. Кое-что я повидал всё-таки. А главное – встречал довольно много любопытных людей. Будучи по призванию художником-портретистом (в науку я пришёл случайно, о чём, впрочем, никогда не жалел и не жалею), я всегда больше всего интересовался людьми и их судьбами. Часто в узком кругу учеников и друзей я рассказывал разного рода забавные и грустные невыдуманные истории. Всегда держался правила, что такие рассказы должны быть хорошо «документированы». Героям этих новелл никаких псевдонимов я не придумывал. Кстати, это очень непросто – «говорить правду, только правду». С этой самой правдой при длительном её хранении в памяти происходят любопытные aberrации. Тут уж ничего не поделаешь: законы человеческой психики – не правила игры в шашки. Конечно, я это имел в виду и тщательно всё проверял и анализировал, но ошибки и сбои, наверное, неизбежны.

Говорят, я хороший рассказчик. Было бы обидно, однако, если известные мне истории рассеются прахом вместе с рассказчиком. И вот в начале весны 1981 года, отдыхая в Доме творчества писателей в Малеевке, я решил мои устные рассказы записать. Мною двигало и чувство

злости: некоторые мои соседи по этому Дому берутся писать о людях науки. Боже, как всё это далеко и от литературы, и от правды! Как искажено, и какие мегатонны лжи и глупостей сыплются на головы бедных читателей!

Два дня я составлял список сюжетов, отбирая наиболее интересные и характерные. Это был очень важный этап работы. По возвращении из Малеевки я стал писать – только по вдохновению, но придерживаясь списка. Обычно рассказ писался за один присест. Свои писания я складывал в отдельную папку, на которой красным фломастером, было выведено кодовое название: «ЭШЕЛОН», по сюжету первого рассказа. К началу 1982 года я записал их. Сразу стало как-то легко и пусто. Я не мог не написать эти истории – они буквально распирали меня. А теперь мне грустно, что дело сделано. Всё-таки год, когда писались эти новеллы, я был счастливым человеком. А это такая редкость!

Иосиф Шкловский

Эшелон (невыдуманные рассказы)

«КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ»

Неужели прошло уже 40 лет? Почти полвека! Память сохранила мельчайшие подробности тех незабываемых месяцев поздней осени страшного и судьбоносного 1941 года. Закрываю глаза – и вижу наш университетский эшелон, сформированный из двух десятков товарных вагонов во граде Муроме. Последнее выражение применил в весёлой эпиграмме на мою персону милый, обросший юношеской рыжеватой бородкой Яша Абезгауз (кажется, он ещё жив). Но вот Муром и великое двухнедельное «сидение муромское» остались далеко позади, и наш эшелон, подолгу простаивая на разъездах, всё-таки движется – в юго-восточном направлении. Конечная цель эвакуировавшегося из Москвы университета – Ашхабад. Но до цели ещё очень далеко, а пока что в теплушках эшелона налаживался – по критериям мирного времени фантазмагорический, а по тому, военному, нормальный – уклад жизни.

Обитатели нашей теплушки (пассажирами их не назовёшь!) были очень молоды: я, оканчивавший тогда аспирантуру Астрономического института имени Штернберга (ГАИШа), пожалуй, был здесь одним из самых «старых». Мой авторитет держался, однако, отнюдь не на этом обстоятельстве. Работая до

поступления в Дальневосточный университет десятником на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ ведь начинал строиться уже тогда), я впитал в себя тот своеобразный вариант русского языка, на котором и в наше время «развитого» социализма изъясняется заметная часть населения. Позже, в университете и дома, я часто страдал от этой въевшейся скверной привычки. Но в эшелоне такая манера выражать свои несложные мысли была совершенно естественной и органичной ¹. Мальчишки – студенты второго и третьего курсов физического факультета МГУ, уже хлебнувшие за минувшее страшное лето немало лиха, рывшие окопы под Вязьмой и оторванные войной от пап и мам, вполне могли оценить моё красноречие.

Мальчишки нашего эшелона! Какой же это был золотой народ! У нас не было никогда никаких ссор и конфликтов. Царили шутки, смех, подначки. Конечно, шутки, как правило, были грубые, а подначки порой далеко не добродушные. Но общая атмосфера была исключительно здоровая и, я не боюсь это сказать, оптимистическая. А ведь большинству оставалось жить считанные месяцы! Не забудем, что это были мальчишки 1921—1922 годов рождения. Из прошедших фронт людей этого возраста вернулись живыми только 3 процента! Такого никогда не было! Забегая вперёд, скажу, что большинство ребят через несколько месяцев попали в среднеазиатские военные училища, а оттуда младшими лейтенантами – на фронт, где это поколение ждала 97-процентная смерть.

Но пока эшелон шёл на Восток, в Ашхабад, и окрестные заснеженные казахстанские степи оглашались нашими звонкими песнями. Пели по вечерам, у пылающей буржуйки, жадно пожиравшей штакетник и

прочую деловую древесину», которую братва «с корнем» выдирали на станциях и разъездах. Запевалой был рослый красавец Лёва Марков, обладатель превосходного густейшего баритона. Песни были народные, революционные, модные предвоенные: «...идёт состав за составом, за годом катится год, на сорок втором разъезде степном» и т. д. Был и новейший фольклор. Слышу, как сейчас, бодрый Лёвин запев (на мотив «В бой за Родину, в бой за Сталина!..»):

...Жарким летним солнцем

согреты инструменты,

Где-то лает главный инженер,

И поодиночке

товарищи-студенты,

Волоча лопаты, тащатся в карьер.

И дружный, в двадцать молодых глоток, припев:

Стой под скатами,

Рой лопатами,

Нам работа дружная сродни.

Землю роючи,

Дёрном (вариант – матом) кроючи,

Трудовую честь не урони!

И потом дальше:

Пусть в желудках вакуум

и в мозолях руки,
Пусть нас мочит проливным дождём —
Наши зубы точены
о гранит науки,
А после гранита – глина нипочём!..

Буржуйка была центром как физической, так и духовной жизни теплушки. Здесь рассказывались немыслимые истории, травились анекдоты, устраивались розыгрыши. Это был ноябрь 1941-го. Шла великая битва за Москву, судьба её висела на волоске. Мы же об этом не имели понятия – ни радио, ни газет. Изредка предавались ностальгии по столице: увидим ли её когда-нибудь? И, отвлекая себя от горьких размышлений, мы, песчинки, подхваченные вихрем, предавались иногда довольно диким забавам.

На нарах, справа от меня, было место здоровенного весёлого малого, облачённого в полуистлевшие лохмотья и заросшего до самых глаз огненно-рыжей молодой щетиной. Это был Женя Кужелев – весельчак и балагур. Он как-то у буржуйки прочёл нам лекцию о вшах (сильно нас одолевавших), подчеркнув наличие в природе трёх разновидностей этих паразитов, и декларировал своё намерение – на основе передового учения Мичурина-Лысенко вывести гибрид головной и платяной вши. Каждый вечер он посвящал нас в детали этого смелого эксперимента, оснащая свой отчёт фантастическими подробностями. Братва покатывалась со смеху. Жив ли ты сейчас, Женька Кужелев?

Ещё у нас в теплушке был американец – самый настоящий, без дураков, американец, родившийся в

Техасе, в Хьюстоне – будущем центре космической техники. Это был довольно щуплый паренёк по имени Леон Белл. Он услаждал наш слух, организовав фантастический музыкальный ансамбль «Джаз-Белл». Но значительно более сильные эмоции вызывали его рассказы на тему, что едят в Техасе. Он сообщал совершенно немыслимые детали заокеанских лукулловых пиршеств. Боже, как мы были голодны! Слушая Леона, мы просто сходили с ума: его американский акцент только усиливал впечатление, придавая рассказам полную достоверность. Иногда к Леону присоединялся обычно молчаливый Боб Белицкий, также имевший немалый американский опыт. Я рад был встретить Боба, лучшего в стране синхронного переводчика с английского, во время незабываемой Бюраканской конференции по внеземным цивилизациям осенью 1971 года. Нам было о чём вспомнить.

А вот слева от меня на нарах лежал двадцатилетний паренёк совершенно другого склада, почти не принимавший участия в наших бурных забавах. Он был довольно высокого роста и худ, с глубоко запавшими глазами, изрядно обросший и опустившийся (если говорить об одежде). Его почти не было слышно. Он старательно выполнял черновую работу, которой так много в эшелонной жизни. По всему было видно, что мальчика вихрь войны вырвал из интеллигентной семьи, не успев опалить его. Впрочем, таких в нашем эшелоне было немало. Но вот однажды этот мальчишка обратился ко мне с просьбой, показавшейся совершенно дикой:

– Нет ли у Вас чего-нибудь почитать по физике? – спросил он почтительно «старшего товарища», то есть меня.

Надо сказать, что большинство ребят обращались ко мне на «ты», и от обращения соседа я поморщился. Первое желание – на БАМовском языке послать куда подальше этого маменькиного сынка с его нелепой просьбой. «Нашёл время, дурачок», – подумал я, но в последний момент меня осенила недобрая мысль. Я вспомнил, что на самом дне моего тощего рюкзака, взятого при довольно поспешной эвакуации из Москвы 26 октября, лежала монография Гайтлера «Квантовая теория излучения».

Мне до сих пор непонятно, почему я взял эту книгу с собой, отправляясь в путешествие, финиш которого предвидеть было невозможно. По-видимому, этот странный поступок был связан с моей, как мне тогда казалось, не совсем подходящей деятельностью после окончания физического факультета МГУ. Ещё со времен БАМа, до университета, я решил стать физиком-теоретиком, а судьба бросила меня в астрономию. Я мечтал (о, глупец) удрать оттуда в физику, для чего почитывал соответствующую литературу. Хорошо помню, что только-только вышедшую в русском переводе монографию Гайтлера я купил в апреле 1940 года в книжном киоске на Моховой, у входа в старое здание МГУ. Книга соблазнила меня возможностью сразу же погрузиться в глубины высокой теории и тем самым быть «на уровне». Увы, я очень быстро обломал себе зубы: дальше предисловия и начала первого параграфа, трактующего о процессах первого порядка, я не сдвинулся. Помню, как я был угнетён этим обстоятельством – значит, конец, значит, не быть мне физиком-теоретиком! Где мне тогда было знать, что эта книга просто очень трудная и к тому же «по-немецки»

тяжело написана. И всё же – почему я запихнул её в свой рюкзак?

«Весёлую шутку я отчебучил, выдав мальчишке Гайтлера», – думал я. И почти сразу же об этом забыл. Ибо каждый день изобиловал событиями. Над нашим вагоном победно высилась ёлочка, которую мы предусмотрительно срубили ещё в Муроме – лесов в Средней Азии ведь не предвиделось... Как часто она нас выручала, особенно на забитых эшелонами узловых станциях, когда с баком каши или ведром кипятка, ныряя под вагонами, через многие пути мы пробирались к родной теплушке. Прибитая к крыше нашего вагона, елочка была превосходным ориентиром. Недаром в конце концов её у нас стащили. Мы долго эту потерю переживали. Вот это было событие! И я совсем забыл про странного юношу, которого изредка бессознательно фиксировал боковым зрением – при слабом, дрожащем свете коптилки, на фоне диких песен и весёлых баек паренёк тихо лежал на нарах и что-то читал. И только подъезжая к Ашхабаду, я понял, что он читал моего Гайтлера!

– Спасибо, – сказал он, возвращая мне книгу в чёрном, сильно помятом переплёте.

– Ты что, прочитал её? – неуверенно спросил я.

– Да.

Я, поражённый, молчал.

– Это трудная книга, но очень глубокая и содержательная. Большое Вам спасибо, – закончил паренёк.

Мне стало не по себе. Судите сами – я, аспирант, при всём желании не смог даже просто прочитать хотя

бы первый параграф этого проклятого Гайтлера, а мальчишка, студент третьего курса, не просто прочитал, а *проработал* (вспомнилось, что, читая, он ещё что-то записывал), да ещё в таких, прямо скажем, мало подходящих условиях! Но чувство это быстро улетучилось. Начиналась совершенно фантастическая, весёлая и голодная, ни на что не похожая ашхабадская жизнь. Много было всякого за 10 месяцев этой жизни. Были черепахи, которых я ловил в Каракумах, уходя на 20 километров (в один конец) в пустыню; была смерть Дели Гельфанд в этой самой пустыне. Была наша школа (использовалась как общежитие) на улице Энгельса, 19, около русского базара. Была эпопея изготовления фальшивых талонов на предмет получения нескольких десятков тарелок супа с десятком маленьких лапшинок в каждой (из них, путём слива, получалось две-три тарелки супа более или менее нормальной консистенции – все так делали...). И многое другое было. Например, чтение лекций в кабинете Партпроса одному-единственному моему студенту Моне Пикельнеру, впоследствии ставшему украшением нашей астрономической науки. Сердце сжимается от боли, когда сознаёшь, что Соломона Борисовича, лучшего из известных мне людей, уже почти 10 лет как нет в живых. Смешно и грустно: до конца своих дней он относился ко мне как ученик к учителю. А тогда, в незабываемом 42-м, ученик и учитель, мало отличавшиеся по возрасту и невероятно оборванные, в пустынном, хотя и роскошном, белом здании Партпроса (оно было уничтожено страшным землетрясением 1948 года [2](#)) разбирали тонкости модели Шварцшильда-Шустера образования спектральных линий поглощения в солнечной атмосфере...

Поразившего моё воображение паренька я изредка видел таким же оборванным и голодным, какими были все. Кажется, он иногда подрабатывал разнорабочим в столовой, или, как мы её называли, «суп-станции» (были ещё такие образования: «суп-тропики», т. е. Ашхабад, «супо-стат» – человек, стоящий в очереди за супом впереди тебя, и т. д.).

Кончилась ашхабадская эвакуация, я поехал в Свердловск, где находился родной Государственный астрономический институт. Это было тяжелейшее время: к голоду прибавился холод. Меня не брали в армию из-за зрения. Иногда просто не хотелось жить.

В апреле 1943 года – ранняя пташка! – я вернулся в Москву, показавшуюся совершенно пустой. Странно, но я плохо помню детали моей тогдашней московской жизни.

В конце 1944 года вернулся и мой шеф по аспирантуре, милейший Николай Николаевич Парийский. Встретились радостно – ведь не виделись три года, и каких! Пошли расспросы, большие и малые новости. «А где X?» «А куда попала семья Y?» Кого только ни вспомнили. Но всё имеет свой конец, и список общих друзей и знакомых через некоторое время был исчерпан. И разговор вроде бы пошёл уже не о самых животрепещущих предметах. Между делом Николай Николаевич сказал:

– А у Игоря Евгеньевича (Тамма, старого друга Н.Н.) появился совершенно необыкновенный аспирант, таких раньше не было. Даже Виталий Лазаревич Гинзбург ему в подмётки не годится.

– Как его фамилия?

– Подождите, подождите, такая простая фамилия, всё время вертится в голове – чёрт побери, совсем склеротиком стал!

Это было так характерно для Николая Николаевича, известного в астрономическом мире своей крайней рассеянностью. А я подумал тогда: «Весь выпуск физфака МГУ военного времени прошёл передо мною в ашхабадском эшелоне. Кто же среди них этот выдающийся аспирант?». И в то же мгновение я нашёл его: это мог быть только мой сосед по нарам в теплушке, который так поразил меня, проштудировав Гайтлера.

– Это Андрей Сахаров? – спросил я Николая Николаевича.

– Во-во, такая простая фамилия, а выскочила из головы!

...Я не видел его после Ашхабада 24 года. В 1966-м, как раз в день моего 50-летия, меня выбрали в членкоры АН СССР. На ближайшем осеннем собрании академик Яков Борисович Зельдович сказал мне:

– Хочешь, я познакомлю тебя с Сахаровым?

Еле протиснувшись сквозь густую толпу, забившую фойе Дома учёных, Я.Б. представил меня Андрею.

– А мы давно знакомы, – сказал он.

Я его узнал сразу – только глаза запали ещё глубже. Странно, но лысина совершенно не портила его благородный облик.

В конце мая 1971 года, в день 50-летия Андрея Дмитриевича, я подарил ему чудом уцелевший *тот самый* экземпляр книги Гайтлера «Квантовая теория

излучения». Он был очень тронут, и, похоже, у нас обоих на глаза навернулись слёзы.

Что же мне подарить ему к его 60-летнему юбилею? [З](#)

К ВОПРОСУ О ФЁДОРЕ КУЗМИЧЕ

– У меня к вам очень большая просьба, – сказала мне заведующая терапевтическим отделением больницы Академии наук Людмила Романовна, закончив беглый осмотр моей персоны. – Больница переполнена. Не разрешили бы вы временно поместить в вашу палату одного симпатичного доктора наук?

Дело было в начале февраля 1968 года. Я болел своим первым инфарктом миокарда и находился на излечении в нашей славной «академичке». По положению, как членкор, я занимал там отдельную палату-полулюкс (в люксах положено болеть и умирать «полным генералам», то бишь академикам, – иерархия в этом лечебном заведении соблюдается неукоснительно).

Кризис, когда я вполне реально мог умереть, уже миновал. Я три недели пролежал на спине – чего никому не желаю (говорят, сейчас от этой методы отказываются – и правильно делают). С постели меня ещё не подымали, но, слава богу, моё тело могло принимать любые положения на койке. Много читал. Принимал многочисленных гостей – родных и сослуживцев. Меня все так нежно любили, баловали – короче говоря, мне было хорошо.

Просьба Людмилы Романовны не привела меня в восторг – я привык к свободной жизни в отдельной палате; но, с другой стороны, нельзя быть эгоистичной свиньёй, и я согласился.

Таким образом, в моей палате появился новый жилец, оказавшийся чрезвычайно интересным человеком. Это был известнейший скульптор-антрополог Михаил Михайлович Герасимов. В отличие от меня он был ходячий и притом, несмотря на солидный возраст, необыкновенно активный и бодрый. Часами рассказывал он про своё удивительное ремесло, пограничное между наукой и искусством и совершенно немыслимое без интуиции и изрядной дозы шарлатанства. Страдал он довольно распространённым комплексом «меня не оценили». Действительно, мой родной брат, скульптор по профессии, решительно утверждал, что Герасимов никакой не скульптор, в лучшем случае – «лепщик» (термин, считающийся у скульпторов обидным). Мнения антропологов о работе Герасимова я не знаю – просто у меня нет знакомых антропологов. Но я почти уверен, что это мнение будет близко к мнению скульпторов. Уж такая сложилась судьба у Михаила Михайловича – впрочем, как и у многих других талантливых людей, деятельность которых в той или иной степени необычна. Работать «на стыке» – далеко не всегда счастливый удел, хотя бывают и крупные удачи.

Общаясь почти две недели с Михаилом Михайловичем, я уверовал в его метод и только такими и представляю себе исторические личности, воскресшие из праха благодаря уникальному таланту и прозорливой интуиции этого замечательного человека. Например, меня абсолютно убеждает реставрированное Герасимовым лицо старого казаха с огромными скулами –

великого князя Ярослава Мудрого. Много позже, читая удивительную книгу Олжаса Сулейменова «Аз и Я», где доказывается кипчакское, то есть тюркское, влияние на национальный русский эпос «Слова о полку Игореве», я неизменно видел лицо Ярослава Мудрого. Ведь мать и бабушка князя Игоря были половчанки...

Удивляла меня и работа Михаила Михайловича по линии уголовного розыска, когда ему удавалось по черепу, пролежавшему зиму под снегом, восстановить облик жертвы преступления и тем самым способствовать торжеству правосудия. И уж совсем трудно было оторваться от пугающе достоверных физиономий неандертальцев и прочих наших пещерных предков.

Всё же в конце этих двух недель я порядком устал от своего необычного однопалаточника – слишком много было разговоров, а я ещё был слаб. И как-то раз, решив взять инициативу в свои руки, я сказал ему:

– Есть одна проблема, Михаил Михайлович, которую можете решить только вы. Всё-таки вопрос о реальности старца Фёдора Кузмича, о котором так превосходно рассказал нам Толстой [4](#), совершенно неясен. Обстоятельства смерти императора Александра I покрыты тайной. С чего это вдруг здоровый, молодой (47 лет!) мужчина совершенно неожиданно умирает в забытом богом Таганроге? Тут, может быть, и не всё ладно. И кому как не вам, Михаил Михайлович, вскрыть гробницу императора, восстановить по черепу лицо покойного и сверить его с богатейшей иконографией Александра I? Вопрос будет раз и навсегда снят!

Герасимов как-то необыкновенно ядовито засмеялся.

– Ишь, какой умник! Я всю жизнь об этом мечтал. Три раза обращался в правительство, прося разрешения вскрыть гробницу Александра I. Последний раз я это сделал два года назад. И каждый раз мне отказывают. Причин не говорят. Словно какая-то стена!

Сообщение Михаила Михайловича меня взволновало. В моём изощрённом в выдумывании всякого рода гипотез о природе космических объектов мозгу одна удивительная догадка о причине отрицательного ответа директивных органов на просьбу знаменитого учёного сменяла другую. «Уж не подтверждение ли правдивости легенды о старце Фёдоре Кузмиче столь странная позиция властей? Ведь не постеснялись же вскрыть гробницу Тамерлана за день до начала Отечественной войны (тем самым, кстати, существенно осложнив мобилизацию в Средней Азии). Может быть, они усмотрели в поведении императора намёк на то, что непристойно цепляться всеми силами за мирскую власть?»

Через полтора месяца я выписался из больницы. Началась новая жизнь, появились новые заботы. И я постепенно стал забывать и Герасимова, и проблему Фёдора Кузмича. Скоро я узнал, что Герасимов умер – а какой был бодрый, весь переполненный планами!

Прошло ещё 10 лет. Как обычно, рубеж февраля-марта я проводил в Малеевке. Дни проходили однообразно и очень хорошо: завтрак, лыжи, обед, сон, кино – чаще всего скверное. Вечером прогуливался по Большому кругу с компанией знакомых, полужнакомых и незнакомых людей. В числе прочих я изредка совершал такой круг с неизвестным мне до этого человеком – кряжистым стариком Степаном Владимировичем. У него

были необыкновенно густые сизые брови, из-под которых сверкали голубизной совершенно детские глаза. Старый моряк, участник гражданской войны, потом красный профессор; ещё недавно читал в каком-то вузе курс политэкономии. Очень хорошо знал русскую литературу. И вообще старик был интересный.

Как-то морозным вечером мы совершали с ним обычный круг, и вдруг Степан Владимирович спрашивает меня:

– А что бы вы, Иосиф Самойлович, сказали, если бы я сообщил вам, что вот так же ясно, как вижу вас (в этот момент мы проходили под фонарём), я видел в полном параде графа Орлова-Чесменского?

Я стал лениво соображать: граф Алексей Орлов, брат фаворита Екатерины II, умершей в 1796 году. Он, по-видимому, был моложе императрицы, но вряд ли он умер позже 1810 года...

– Я сказал бы вам, что вы обознались, – вежливо ответил я.

Засмеявшись, Степан Владимирович поведал мне удивительную историю. Как известно, во время голода 1921 года был издан декрет об изъятии церковных драгоценностей. Значительно менее известно, что в этом декрете был секретный пункт, предписывавший вскрывать могилы царской знати и вельмож на предмет изъятия оттуда ценностей в фонд помощи голодающим. Мой собеседник, тогда молодой балтийский моряк, был в одной из таких «гробокопательных» команд, вскрывавшей на Псковщине в родовом поместье графов Орловых их фамильный склеп. И вот, когда раскрыли гробницу, перед изумлённой, занятой этим кощунственным делом командой предстал совершенно не

тронутый тлением, облачённый в парадные одежды граф. Особенных сокровищ там не нашли, а графа выбросили в канаву.

– К вечеру он стал быстро чернеть, – вспоминал Степан Владимирович.

Но я его уже больше не слушал. «Так вот оно в чём дело! – думал я. – Так вот почему Михаилу Михайловичу не разрешили вскрывать царскую гробницу в соборе Петропавловской крепости! Там просто сейчас ничего нет – совсем как в склепе графа Орлова!» И я по ассоциации вспомнил парижское аббатство Сен-Дени, где похоронены все короли Франции – от Каролингов до Бурбонов. И *на всех* надгробиях у мраморных королей и королей были отбиты носы (следы работы санкюлотов, ворвавшихся в аббатство в августе 1792 года).

Долго я тогда ходил среди покалеченных мраморных властелинов Франции. Когда из мрака аббатства вышел на освещённую ярким солнцем площадь, первое, что увидел, была дощечка с названием улицы, вливавшейся в площадь. На дощечке была надпись: «Rue Vladimir Illitch». Сен-Дени, старая парижская окраина, издавна образует часть так называемого «Красного пояса Парижа».

О ВЕЗУЧЕСТИ

В детстве покойная мама мне много раз говорила, что я родился в рубашке. Говоря откровенно, в плане медико-акушерском я до сих пор не знаю, что это такое. Как-то никогда не интересовался, как не интересуюсь, будучи дважды инфарктником, как работает моё бедное

сердце. С четвёртого класса помню, что там, то есть в сердце, есть какие-то предсердия, желудочки и клапаны, но что это такое – ей-богу, не знаю и знать не хочу. Это, конечно, связано с моим характером, в котором фаталистическое начало играет немалую роль. Что касается пресловутой «рубашки», то мне, пожалуй, следовало бы этим делом заинтересоваться, так как в народе этот феномен всегда связывают с везучестью.

Оправдалась ли эта примета на моей судьбе? Перебирая многие годы, которые я успел прожить, я должен прийти к заключению, что, как ни кинь, я был довольно везучим человеком! Но, конечно, в смысле везучести мне далеко до моего любимого и талантливейшего ученика Коли Кардашева (пишу по старой привычке – речь идёт о члене-корреспонденте Академии наук, заместителе директора Института космических исследований Николае Семёновиче Кардашеве). Слава о его фантастической везучести, так же как и его научная репутация, прочна и солидна. В качестве примера я могу привести два случая, которые произошли, что называется, на моих глазах.

Дело было в конце августа 1979 года, когда в Монреале проходил очередной Международный астрономический конгресс. В последний момент Колю, который входил в нашу делегацию, задержали в Москве по причине выявившихся неприятностей в руководимом им космическом эксперименте. Я уехал с делегацией в Канаду с большой тревогой за Колю, так как упомянутые выше «неприятности» грозили самыми серьёзными последствиями. На четвёртый день работы конгресса, смертельно усталый, ночью в приплёлся в крохотную современную клетушку студенческого общежития, где мы обитали. Зашёл к соседу Всеволоду Сергеевичу

Троицкому за кипяточком и застал там... сидящего и пьющего чай, солнечно улыбающегося Колю! С ним случилась просто фантастическая история. В последний момент неприятности удалось ликвидировать (тоже ведь везение, и ещё какое!), и Коля полетел в Монреаль, не имея ни цента валютной наличности – ведь спешка-то какая! Того он не ведал, что от аэропорта «Мирабель», куда прилетает московский лайнер, до города Монреаля 20 километров, и за автобус надо платить около 20 долларов. Ничего не зная, он сидел в полупустом первом классе (полагается членам-корреспондентам) и, расслабившись после недавнего московского аврала, пил томатный сок. Единственным его попутчиком по этому привилегированному классу был какой-то незнакомый солидный товарищ, который внимательно читал последнюю «Литературку», Неожиданно он прервал своё чтение и громко воскликнул:

– Чёрт знает чем люди занимаются! Тут какой-то Кардашев пишет очередной вздор по этим дурацким вземным цивилизациям!

– Кардашев – это я, – лучезарно улыбаясь, тихо сказал Коля.

Как у них разговор развивался дальше, я не знаю. Но только вышли они из самолёта вполне довольные друг другом. И тут Коля обратил внимание на солидный эскорт, встречающий прямо у трапа его спутника, оказавшегося... советским послом в Канаде!

– Подкиньте профессора в кемпинг Монреальского университета, – распорядился посол, ласково прощаясь с Колей.

Через несколько дней после этого группа советских делегатов конгресса поздно вечером гуляла по

пустынным улицам Монреаля. Стояла кромешная тьма, и в нескольких шагах впереди себя я мог различить только белую рубашку Юры Парийского (сын Николая Николаевича, моего давнего шефа по аспирантуре), шедшего рядом со своим бывшим однокурсником Колей. И вдруг я вижу, что Юра и Коля почему-то остановились, а когда я с ними поравнялся, Коля держал в руках бумажку, которую он только что поднял с мостовой. Бумажка оказалась ассигнацией в 25 долларов, при нашей полной нищете – немалый капитал!

Я рассказал только о двух случайных эпизодах, имевших место буквально на моих глазах за очень короткое время. Можно было много рассказывать о других случаях с Колей, более или менее сходных с только что описанными, но я этого делать не буду. Ведь речь идёт о моей везучести. Повторяю, что мне, конечно, далеко до Коли, но кое-какие примеры я постараюсь привести.

Память высвечивает далёкие студенческие годы, когда я, двадцатилетний, вчера ещё дикий провинциальный мальчик, а ныне студент физического факультета МГУ, живу в заброшенном, вполне похожем на знаменитую «Воронью слободку» общежитии в Останкине. Собственно говоря, это целый студенческий городок, состоящий из пары десятков двухэтажных деревянных барачков. Теперь я, конечно, понимаю, что это было редкостное по своей убогости жильё. Так называемые «удобства» находились за пределами барачков и были выполнены в традиционном российском «вокзальном» стиле. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю эти «домики», особенно зимой, когда существенным элементом их «интерьера» были специфического состава сталагмиты... На весь городок

была одна крохотная продовольственная лавочка. Впрочем, ассортимент продуктов в этой лавчонке был гораздо богаче, чем в нынешнем бывшем Елисейском гастрономе 5. Совершенно убийственным был транспорт: трамваи 17 и 39 еле плелись, первый – до Пушкинской площади, а оттуда до центра – пешком, второй – до Комсомольской площади, а затем – в метро. Не забыть мне лютые зимы в обледенелых, еле ползущих и подолгу стоявших на Крестовском путепроводе, трамвайных вагонах. Поездка в один конец иногда занимала до полутора часов.

Но все мы, юноши и девушки, населявшие эти бараки, были так молоды, так веселы и беззаботны! Для юности, когда вся жизнь впереди, эти «трудности быта», как тогда говорили, были пустяком. Особенно летом, когда рядом чудесный старинный парк, окружающий Шереметевский дворец, где мы в тени вековых дубов иногда даже занимались. Ещё не были залиты асфальтом дорожки этого знаменитого парка. Ещё только-только начиналось строительство ВДНХ. Ещё не была построена чудовищная Останкинская башня. Ещё можно было купаться и кататься на лодках в Останкинских прудах. И вообще полная железобетонная реконструкция этого северо-западного угла Москвы была впереди. Тогда мы были ещё близки к природе и порядочно удалены от деканатов и вузкомов.

Последнее обстоятельство в немалой степени способствовало специфическому духу «вольной слободы», пропитывавшему останкинскую жизнь. Прямо скажем: идейно-воспитательная работа в Останкинском студенческом городке была изрядно запущена. Нравы господствовали довольно дикие. Подобно волнам прибоя, нас захлестывали разного рода массовые психозы. То это

была итальянская лапта – своеобразный гибрид волейбола и регби, то бильярд на подшипниковых шариках, то карты. В этих увлечениях мы совершенно не знали меры (о, юность!). Так, например, я однажды, получив стипендию, всю ночь играл с Васей Малютиным в очко и под утро, играя по маленькой, продулся до нуля. Боже, как я ненавидел тогда серьёзного и методичного Васю, как я бесился оттого, что проигрывал в эту идиотски-примитивную игру, где, казалось бы, шансы сторон абсолютно равны, но тем не менее, вопреки всем законам теории вероятности, он выигрывал, а я проигрывал! Причём никакого мухлеза с его стороны заведомо не было. Вот тут-то я понял, что самая сильная страсть в жизни – это страсть отыграться. Как я прожил тот месяц, не помню. А ещё у нас была шахматная эпидемия. В те далёкие годы в Москве проходило несколько международных шахматных турниров с участием таких светил, как Ласкер, Капабланка, Эйве. Затаив дыхание, мы следили за титанической борьбой за шахматную корону мира между Алехиным и Эйве. Конечно, мы исступлённо болели за бывшего москвича Алехина, хоть и был он эмигрантом. В этом отношении мы опережали своё время и идеологически находились уже в послевоенных годах расцвета русского патриотизма. Эти турниры создавали благоприятный климат для возникновения эпидемии шахматной лихорадки, принявшей самые уродливые формы.

Господствовала некая чудовищная версия «блиц», конечно, без часов, когда на ход даются секунды и стоит дикий ор болельщиков и противника. Даже сейчас я слышу торжествующий рык счастливого победителя: «А ты боялась!» – сбивающего твоего короля своим королём (бывало и такое – понятие «шах» отсутствовало). В день

я играл до 40 партий, лекции, конечно, пропускал. Кстати, по причине такого рода «стиля» я так и не научился сколько-нибудь прилично играть в шахматы. А сейчас глубоко к ним равнодушен, если не сказать больше.

Часто играли «на интерес», придумывая самые изощрённые наказания для несчастного проигравшего. Тут особенно отличался ваш покорный слуга. Дело в том, что я одно время жил в одной комнате с упомянутым выше Васей Малютиным. Этот высокий, костлявый молчаливый парень, потомственный крестьянин, обладавший невероятной физической силой, весьма неодобрительно относился к нашим диким «городским» забавам. Долгими часами он сидел за убогим столом в комнате общежития, упорно вгрызаясь в гранит науки. Изредка я ему помогал – мне очень легко давался математический анализ. И вот я заметил за Васей одну удивительную особенность. Вечерами во время чаепития он, забавы ради, клал на стол стопку пилёного сахара-рафинада, далеко оттягивал свой огромный средний палец, после чего со страшной силой бил им по стопке. Результат был весьма впечатляющий – стопка превращалась в сахарную пудру! Не следует забывать, что куски сахара были не прессованными, как сейчас, а кристаллическими, огромной твёрдости. Этот эксперимент не удавалось повторить никому.

И мне в голову пришла необыкновенно коварная идея: проигравший на шахматном ристалище должен идти к Васе, и тот описанным выше способом даёт ему щелчок по лбу! Тонкость моего расчёта состояла в том, что, как я полагал, меня как соседа и консультанта Вася будет щёлкать не в полную силу. Как это ни странно, Вася довольно легко согласился на роль

общежительского палача, исполняя её с царственным величием. Несчастные жертвы сами приходили к Васе, что-то жалобно скуля, Вася же спокойно спрашивал: «Сколько тебе?». Всё делалось на основе абсолютной честности. Сотрясений мозга, кажется, ни у кого не было, хотя в этом я не вполне уверен.

Лейтенант Василий Петрович Малютин в октябре 1941 года был убит под Вышним Волочком.

Мы, студенты-физики, занимали второй этаж нашего деревянного барака, именуемого «20-й корпус». На первом этаже обитали историки. Между нами всё время возникали традиционные словесные баталии, подначки и розыгрыши, впрочем, никогда не переходившие границ мирного сосуществования – ведь эти «презренные историки», в сущности говоря, были неплохими ребятами, своими в доску. Это был первый набор истфака после многолетнего перерыва, когда историческая наука в нашей стране была фактически уничтожена, а в школах сама дисциплина – история – была заменена неким специфическим предметом, называемым «обществоведение». По этой и другим причинам уровень подготовки историков первого набора был соответствующий.

В те далёкие времена я был задиристый, худой мальчишка, болезненно самолюбивый. Не преуспев в итальянской лапте и в шахматных блицах, я решил самоутвердиться в весьма оригинальном жанре. Подростком и юношей я очень много читал, жадно интересуясь прежде всего историей и географией. У меня была незаурядная память (она и сейчас, слава богу, пока не подводит). И вот я всенародно объявил, что каждый нормальный физик, будучи культурным человеком,

неплохо знает эту самую историю, во всяком случае, не хуже, чем жалкие историки, живущие внизу. Но, кроме того, мы ещё знаем физику, эту царицу всех наук, в то время как пижоны-историки не знают даже закона Ома, не говоря уже об уравнении Шрёдингера или, скажем, канонического распределения Гиббса. Короче говоря, мы, физики, есть соль земли, а эти, живущие внизу жалкие личности, – не больше как её удобрение. Слушая такие слова, физики одобрительно ржали, в то время как историки дико возмущались. И тогда я предложил им неслыханный поединок: я задаю любому заранее избранному их представителю 10 вопросов по истории и географии зарубежных стран, после чего он задаст мне тоже 10 вопросов по его выбору. Мои условия такие: я обязуюсь ответить на все его вопросы, а он ни на один мой вопрос не ответит. В противном случае я проиграл!

Представляете, какой тут поднялся ажиотаж! Поединок состоялся тут же, и, к великому позору жалких гуманитариев, я выиграл! На первом этаже воцарилось подавленное настроение. Зато резко улучшилась успеваемость историков – уж очень им хотелось меня посрамить. Но и я не терял времени даром: забросив физику, я тайно штудировал основные университетские курсы истории. Изучил Тураева (Древний Восток, два тома), Косминского (Средние века, два тома), Сергеева (История Рима, два тома). Я мог перечислить в любом порядке всех римских императоров, не говоря уже о всяких там Меровингах, Валуа и Пястах; особенно хорошо знал даты. Все последующие турниры – а они происходили примерно раз в месяц – оканчивались для бедных слугителей музыки Клио катастрофическим разгромом. Я полагаю, что этому способствовали ещё неслыханно оскорбительные условия поединков.

Что и говорить, я нагнал на этих историков большого страха! Выражением этого страха был случай со скромной провинциалочкой – историчкой Тамарой Латышкиной, готовившейся к экзамену по истории средневекового Востока. Бедняжке никак не удавалось запомнить имя первого сёгуна династии Токугава, знаменитейшего Хидэёси, далёкого предтечи таких японских милитаристов, как жупел моей юности Савва Иванович Араки (генерал был православный!) и повешенный позже военный преступник Тодзио. И тогда Тамара, движимая чувством жгучей ненависти, смешанным с восхищением, решила запомнить это мудрёное имя, пользуясь мнемоническим правилом: Хидэёси – худо Ёсе (т. е. мне, Иосифу). На её злую беду, экзаменовавший её профессор Заходер спросил её как раз про сёгунат. И тут на вопрос об имени человека, за четырёхста лет до экзамена сказавшего: «Пойду за море и как циновку унесу на руках Китай», Тамара пролепетала: «Плохо Ёсе». Заходер был, конечно, потрясён. Через несколько десятков лет я встретил весьма представительную полную даму – видного нашего индолога Тамару Филипповну Девяткину. Вспоминая подробности этого забавного эпизода нашей далёкой юности, мы много смеялись.

Ещё вспоминаю, как я портил кровь милому маленькому Эльке Таубину. Дело в том, что уроженец Белоруссии Элька был фанатическим поклонником белорусской культуры, и посему я любую дискуссию по этому сюжету заканчивал якобы невинным вопросом:

– А скажи, как будет звучать по-белорусски лирическая строчка: «Молчи, грусть, молчи»?

Элька с воплем кидался на меня с кулаками – дело в том, что я вообразил, будто бы по-белорусски эта фраза должна была звучать гораздо менее лирично – обстоятельство, бывшее главным козырем в моей концепции...

Младший лейтенант Илья Евсеевич Таубин был убит на родной и любимой белорусской земле в самом начале войны.

Спустя четверть века меня нашёл в Москве совершенно незнакомый мне молодой человек и робко спросил, не рисовал ли я когда-то в общежитии студента Таубина. Это был сын Эльки, родившийся уже после его гибели. У них с матерью не осталось никакой, даже самой маленькой, фотокарточки мужа и отца. По счастью, в моём архиве чудом сохранился отличный его портрет, выполненный сангиной **б**, который я с нежностью подарил сыну и вдове.

В комнатах общежития уровень идейно-воспитательной работы был особенно низок. Мне запомнилось легкомысленное поведение моего товарища по комнате Мишки Дьячкова. Толстоватый, неуклюжий и косоглазый, он был большим театралом, одно время работал статистом в Малом театре, часто с убийственной серьёзностью декламировал нечто патетическое. Братва обычно помирала со смеху. Никогда не забуду, как однажды он, внезапно вскочив из-за стола, откинул голову назад и, грозя кулаком висевшему на стене изрядно засиженному мухами портрету Вождя, прошипел:

– Ужо тебе, Иосиф Сталин!

Вот тут уже никто не смеялся – все сделали вид, что как бы ничего не слышали. Фюрера Мишка фамильярно

называл «Адольфом», а Лучшего Друга Студентов – «Иосифом». Временами он в лицах изображал невероятно комические диалоги между ними, во многом предвосхищая развитие событий в уже близкие судьбоносные годы.

И ещё вспоминаю острую сцену. В то «весёлое» время на крыше Ярославского вокзала висели огромные красочные портреты всех пяти тогдашних маршалов Советского Союза: Ворошилова, Будённого, Блюхера, Егорова и Тухачевского. Когда «сгорал» очередной маршал, ещё до публикации об этом в газетах его портрет снимали с крыши вокзала. Учитывая низкий уровень тогдашней техники, это была довольно сложная процедура, обычно длившаяся несколько часов. Снятие портрета происходило на глазах у многих тысяч людей – ведь Комсомольская площадь, «площадь трёх вокзалов» – самое многолюдное место столицы. И вот однажды врывается в нашу комнату Мишка и буквально вопит:

– Ребята! Счёт 3:2 уже не в нашу пользу!

Оказывается, он видел, как снимали портрет Блюхера...

Ребята в своей массе были славные и абсолютно порядочные – стукачей у нас было мало. Но они, конечно, были, и скоро мы это почувствовали в полной мере. Один за другим стали исчезать кое-кто из наших товарищей. Мы же продолжали резвиться, как уэллсовские элои солнечным днём. Морлоки ведь работали ночью с помощью «воронков». Впрочем, исчезновение Коли Рачковского произвело на меня тягостное впечатление – я кожей почувствовал, что «чей-нибудь уж близок час». Колю мы прозвали Гоголем за поразительное внешнее сходство с классиком. Только

ростом наш Коля был покрупнее своего великого земляка. Он любил шахматы и украинскую литературу, проникновенно читал «Кобзаря». Может быть, это и было причиной его гибели? Украинский национализм ему, при наличии злой воли, ничего не стоило приклеить!

В нашей двадцать пятой комнате ребята были как на подбор – весёлые и очень компанейские; помочь товарищу было нашей первой заповедью. Но в семье не без уроды: жил с нами один мерзкий тип, изрядно отравлявший наше существование. Звали его Николай Макарович Зыков. Был он значительно старше нас и, мягко выражаясь, не блистал красотой. Очень низкий, изрытый глубокими морщинами лоб, маленькие, близко посаженные рыскающие серые глазки и почему-то больше всего запомнившаяся глубокая ямка на подбородке. От него всегда исходил какой-то мерзкий, кислый запах. Впрочем, всё это можно было перенести – не такие уж мы аристократы и снобы, – главное, что характер у этого Зыкова был просто невыносимый. Прежде всего, это был невероятно злобный зануда и резонёр. Он был членом партии и постоянно кичился этим, поучая нас как «старший товарищ». Быстро раскусив его, мы игнорировали его поучения, а над идиотскими рацеями о любви и девушках (излюбленная тема) либо откровенно издевались, либо просто пропускали мимо ушей. Иногда мы разыгрывали с ним не вполне безобидные шутки. Вспоминаю, как Мишка Дьячков как-то с убийственной нежностью спросил Зыкова:

– Коля, а как ты думаешь, поцелуй сближает?

Колина морда озарилась сиянием – наконец-то он получил нормальный отклик на свои тирады. Он долго и

нудно стал отвечать на Мишкин вопрос в утвердительном смысле.

– Ну так поцелуй меня в ж..., – очень спокойно заключил Дьячков.

Боже, какой тут поднялся скандал!

– Издеваетесь над членом партии! – визжал оскорблённый Коля, используя свой обычный, казавшийся ему неотразимым, приём.

– При чём тут партия? Ты просто, Коля, дурак, так сказать, в персональном смысле.

Вот «дурака» Зыков почему-то совершенно не переносил. Он сразу же переходил к угрозам «на самом высоком уровне».

– Троцкисты недобитые! Вот я вас выведу на чистую воду! Я вас разоблачу.

Это мы были глупцы, если смотрели на эту безобразную сцену как на потеху. На дворе стоял 1937 год. Обвинение в троцкизме было смертельно опасным. Какие же мы были идиоты, если этого не понимали!

Особенно люто Зыков ненавидел меня. У него на это были свои резоны. Ему очень трудно давалась наука, хотя работал он до изнеможения. Мне же всё давалось легко. К тому же я имел глупость (мальчишество) скрывать свои упорные занятия в Ленинской библиотеке, куда я часто ездил, и изображал дело так, будто совсем не занимаюсь. Этаким «гуляка праздный». Я этим сознательно бесил Колю, доводя его до исступления. В довершение всего, он был равнодушен к Шуре, которая очень скоро стала моей женой.

И неизбежное свершилось. Мои забавы не могли, конечно, пройти для меня даром. Я внезапно почувствовал, что на факультете случилось что-то новое, даже страшное: вокруг меня образовалась пустота. Вакуум. Внешне вроде всё было по-старому. Но это была только видимость. От меня однокурсники стали отворачиваться, как от чумного. Якобы по рассеянности перестали здороваться. Даже факультетский сторож Архиреев, личность историческая (помнил Лебедева и чуть ли не Умова), стал на меня поглядывать как-то странно. В те времена такая обстановка могла означать только одно: на тебя донесли, донос серьёзный, и сроки твои определены. Даже я, птичка Божия, стал это понимать. На душе стало невыразимо пакостно. Особенно, когда бросал свой взгляд на Зыкова, даже не пытавшегося скрыть своё торжество, хотя и ставшего непривычно молчаливым. Я почти перестал появляться на факультете.

В такой накалённой обстановке взрыв мог произойти в любую минуту, и он произошёл! Случилось это в полдвенадцатого ночи. Мы все четверо, уже раздетые, лежали по углам на своих койках и читали.

– Тушите свет! – буркнул Зыков и встал, чтобы подойти к выключателю.

– Ещё нет двенадцати, имеем право читать!

– А вот я вам покажу право, – прокричал он и потянулся к выключателю.

– Ты ведь этого не сделаешь? – мягко сказал Вася и стал играть своими огромными стальными пальцами.

– Издеваетесь над членом партии! – завёл свою шарманку Зыков.

– При чём тут партия? – заметил я. – Ты просто дурак.

Лицо негодяя исказилось злобой. Я никогда его раньше таким не видел. Он даже вроде бы стал оскаливаться в улыбке:

– А вот возьмут вас за глотку наши чекисты, заверещите тогда, будете бляять, что мы, мол, ничего не говорили, что мы над коммунистом не издевались!

– Зря кипятисься, Коля! Я всегда и где угодно буду утверждать, что ты дурак, ибо это есть абсолютная истина, так сказать, в конечной инстанции. А если ты в этом сомневаешься, я могу написать тебе соответствующую справку.

С той ночи прошло вот уже сорок с лишним лет, а я помню всё до мельчайших подробностей. Зыков стоял посреди комнаты в своих грязных подштанниках (трусов тогда зимой почему-то не носили), от яростной злобы, помноженной на радость, его прямо-таки трясло.

– На, пиши! – прохрипел он, подойдя к моей койке и протягивая огрызок карандаша и тетрадный листок.

Ребята на своих койках замерли.

– Коля, – спокойно и даже с некоторой нежностью сказал я, – кто же так делает? Это важный документ, а ты мне даёшь карандаш. Потрудись обмакнуть перо в чернила и подай мне. И ещё дай вон ту книгу, чтобы подложить под бумагу.

Своими дрожащими руками он подал мне ручку и книгу. Боже, до чего же он был мерзок! Я решил не хохмить, а написал коротко и чётко:

Справка

Дана сия Зыкову Николаю Макаровичу в том, что он действительно является дураком.

... февраля 1937 г.

И. Шкловский

Отдав ему справку, я сказал:

– А теперь можешь тушить свет – пожалуй, уже время!

Через неделю, когда я по какому-то неотложному делу зашёл на факультет, то сразу же всем существом почувствовал, что обстановка резко изменилась. Меня встречали приветливые лица, сочувственно спрашивали, почему редко появляюсь, уж не заболел ли? И чёрные тучи, сгустившиеся на моём небосклоне, полностью рассеялись.

Много лет спустя мой старый друг по аспирантуре, ныне покойный Юрий Наумович Липский, поведал мне, что же тогда случилось. Зыков написал в партком факультета, возглавляемый Липским, заявление, в котором обвинял меня в троцкистской агитации. Негодяй знал, что делает! Это заявление по тем временам означало просто убийство из-за угла, причём безнаказанное. Партком обязан был его рассмотреть и сделать выводы.

– Твоё дело было безнадёжно, – сказал мне Юра. – Очень я тебя, дурачка, жалел, но...

И вдруг на очередное заседание парткома врывается пышущий радостным гневом Зыков и протягивает какую-то смятую бумажку.

– Вам нужны ещё доказательства антисоветской деятельности Шкловского – вот, прочтите.

Члены парткома прочли и грохнули от смеха – то была моя справка.

– А ты ведь действительно дурак, – сказал Липский, и дело было прекращено.

Финал этой драматической истории можно объяснить только тем, что я родился в рубашке. За годы моей жизни в Останкине «эффект рубашки» сработал ещё несколько раз. Ну хотя бы в начале лета 1937 года, когда я получил повестку – явиться на Лубянку. Этот визит я никогда не забуду. Особенно запомнились лифты и длинные пустые коридоры страшного дома. Помню, что я должен был вжаться в стенку, пропуская идущего навстречу мне человека с отведёнными назад руками, за которым в трёх шагах следовал конвоир. По лицу человека текла кровь. Он был почему-то странно спокоен. Их там, на Лубянке, интересовали некоторые подробности жизни бедного Коли Рачковского. Я что-то долдонил о своеобразной манере Колиной игры в шахматы – он раздражающе долго думал. Ничего другого о нём сказать не могу. Не добившись от меня никакого толку, следователь подписал пропуск на выход. Никогда мне не забыть восхитительного состояния души и тела, когда за мной закрылась тяжёлая дверь и я оказался на залитой солнцем московской улице. Помню, меня захлестнуло огромное чувство любви к людям, которые как ни в чём не бывало сновали взад и вперёд. А я-то думал, что за эти два часа мир перевернулся...

Конечно, мне страшно везло. Впрочем, так же повезло и всему моему поколению ровесников Октября, сумевших дожить до изобретения «Продовольственной программы». Только интересно бы узнать – сколько нас осталось, таких «везунчиков»?

ПАССАЖИРЫ И КОРАБЛЬ

Почти тридцать пять лет тому назад ослепительно белый красавец теплоход «Грибоедов» пересекал по диагонали Атлантический океан с северо-востока на юго-запад. Это просто удивительно: спустя всего два года после опустошительной войны, в которой погиб или был искалечен почти каждый второй взрослый мужчина, в ещё голодной, надорванной неслыханно тяжёлыми испытаниями стране была снаряжена чисто научная экспедиция чуть ли не на край света! Цель экспедиции – наблюдение полного солнечного затмения 20 мая 1947 года. Полоса затмения проходила через всю Бразилию – от её южного штата Парана до знаменитого в истории науки атлантического порта Баия, что на северо-востоке этой огромной страны. А знаменит этот порт был тем, что там несколько месяцев провёл молодой Дарвин во время кругосветного плавания на «Бигле».

Теперь, спустя десятилетия после бразильской экспедиции, ясно, что и плавание «Грибоедова» было «вешкой» в истории науки, в данном случае только начинавшей своё триумфальное шествие радиоастрономии. Именно в Баие наблюдениями, выполненными во время солнечного затмения с борта нашего славного корабля, было убедительно доказано,

что источником радиоизлучения Солнца на метровых волнах является корона, как и было предсказано за год до этого тогда ещё начинающими молодыми теоретиками – астрофизиками Гинзбургом и автором этих строк. Невероятно, но факт: мы оба с Виталием Лазаревичем принимали участие в этой экспедиции! Вообще весь заявленный руководством экспедиции состав был автоматически утверждён инстанциями! По крайней своей неопытности мы все тогда считали такое положение вполне нормальным. Надо полагать, что всякого рода отделы кадров, иностранные отделы и, конечно, выездная комиссия «там, наверху», делали тогда свои первые, ещё робкие шаги. Они очень скоро, в течение немногих первых послевоенных лет, поняли свою основную задачу – «держат и не пущать», всячески препятствуя тем самым по-настоящему полезным контактам советских учёных с зарубежной наукой. Разъезжать по заграницам стали преимущественно разного рода чиновники от науки, а также явные и неявные сотрудники «Министерства Любви». Но это уже другая тема...

Почти две недели, изнывая от безделья, мы жили на борту «Грибоедова», стоявшего в Либаве (Лиепая), – на нашу беду, этот незамерзающий порт впервые за многие годы замёрз. У нас была куча денег – советских, конечно. Как-то стихийно началась игра в преферанс, быстро принявшая эпидемический характер. В карты я играл только в детстве – преимущественно в «дурака», «ведьму» и «шестьдесят шесть». Высокоинтеллектуальная игра на деньги меня буквально захлестнула. Игроком я оказался плохим – слишком азартным – и в итоге ночных карточных бдений изрядно продулся, а главное, совершенно выбился из колеи из-за

нарушения режима сна. Большинство членов экспедиции по этой же причине также чувствовали себя плохо. Все ждали: тронемся наконец в путь, отберут у нас наши рубли, выдадут валюту – и карточный запой автоматически прекратится. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться...

Когда сроки нашего либавского сидения стали приближаться к критическому пределу и всё уже висело на волоске, ледокол «Ермак» вывел нас буквально на «чистую воду», и бразильская эпопея началась. Это произошло 13 апреля – всего за пять недель до момента затмения. А предстоял 22-дневный переход через Атлантику, а затем переезд на площадку в глубь страны, в штат Минас Жерайс, и установка астрономических приборов на специальных кирпичных столбах, которые надо было ещё выложить. Поэтому мы понеслись к нашей далёкой цели буквально напрямик. Ни в какие порты за попутным грузом мы не заходили – времени совершенно не оставалось. На полсуток остановились в крохотном шведском городке Карлсхамне для размагничивания корпуса корабля, что было совершенно необходимо, так как после недавней мировой войны моря были буквально усеяны магнитными минами. И ещё мы зашли на несколько часов в Саутгемптон, где сотрудник ФИАНа Малышев передал нам ильфордовские фотопластинки.

Как только мы вышли из Либавы, всех участников экспедиции стал поодиночке вызывать в свою каюту заместитель начальника экспедиции незабвенный Георгий Алексеевич Ушаков, выдающийся полярный исследователь, первым поднявший Красный флаг на острове Врангеля, первый зимовщик на Северной Земле, а до этого – герой партизанской войны на Дальнем Востоке. Это был уже немолодой человек атлетического

сложения, по происхождению амурский казак. Человек незаурядного ума, огромного житейского опыта, всегда олимпийски спокойный, с тонким чувством юмора, Георгий Алексеевич был, что называется, душой всей нашей экспедиции. Вызывал он нас в свою каюту на предмет вручения долларов. Почему-то половина валюты оказалась в звонкой монете. Забавно было видеть нашу публику выходящей из каюты Ушакова с довольно увесистыми бренчавшими мешочками.

А на другой день один из наших самых завзятых преферансистов – учёный секретарь Пулковской обсерватории Толмачёв робко произнёс:

– Сыграем по самой маленькой, ну, например, по одной десятой цента?

Надо сказать, что вклад его в науку был более чем скромнен: из четырёх (!) кандидатских диссертаций, им представленных, ни одна не была принята. Последней его попыткой в этом направлении было сочинение опуса под титлом «Применение неэвклидовой геометрии к небесной механике», в связи с чем Гинзбург очень метко окрестил учёного секретаря «Не Эвклидом» [7](#).

Призыв «Не Эвклида» пал на благодатную почву, и снова началась карточная вакханалия. Играли до полного одурения, с неслыханным азартом. Хорошо помню, как где-то в середине океана, когда за тремя столиками в кают-компани шла запойная игра, с палубы раздался крик: «Кит!». Никто даже не сделал попытки оторваться от чёртовой «пульки», чтобы увидеть чудо природы, пускавшее фонтаны в каких-нибудь 200 метрах от «Грибоедова»!

Да, таких путешествий теперь, в век НТР, уже не бывает! Мы испытали всё, что можно испытать на море. В

горловине Ла-Манша на нас обрушился страшный «равноденственный» ураган. Наша незагруженная 5000-тонная скорлупка потеряла управление. Крен при килевой качке достигал 45° . Валы солёной холодной воды перекатывались через палубу. Как оказалось, меня совершенно не укачивает. С детским любопытством, держась за штормовые леера, я пробирался на нос, где амплитуда качки особенно велика. Было отчаянно весело смотреть на пляшущий горизонт – то он вздымался выше мачт, то опускался куда-то в бездну. Три четверти команды лежало в лёжку в самом плачевном состоянии. До чего же я был молод! Пришла сумасшедшая идея – пойти в кают-компанию пообедать. Проблемы, при этом возникшие, были далеко не шуточные. Например, как спускаться по трапу, у которого угол наклона с горизонтальной плоскостью становится отрицательным? За столом сидел только один капитан – настоящий морской волк Владимир Семёнович. Измученная морской болезнью официантка Дуся обслуживала нас двоих. Ох, как трудно ей было подносить нам тарелки с супом – это был самый настоящий цирковой номер. Но и глотать этот суп было не проще! Я раньше не знал, что в таких случаях стол накрывают особым деревянным барьером, разделённым на секторы по числу приборов. Тем самым устраняется опасность быть облитым соседом. Копируя капитана, я взял тарелку на ладонь, внимательно следя за уровнем супа. В конце концов, ко всему можно приспособиться, даже самая свирепая качка имеет свой ритм, и суп был благополучно проглочен.

Потом я узнал, что в ту страшную ночь, когда наш капитан, спасая корабль от гибели, повернул обратно и, проявив высочайшее искусство, ввёл его без лоцмана в узкую горловину Плимутской бухты, наши радисты

приняли шесть сигналов SOS. В те далёкие послевоенные годы кораблекрушения были обычным делом. Чаще всего тонули наспех построенные сварные корабли класса «Либерти», или, как называли их наши моряки, «Либертосы». Они на крутой волне просто ломались пополам 8.

Наш славный «Грибоедов», добротнo склѣпанный по старинке, на болтах, шведскими корабелами, блестяще выдержал суровое испытание.

Отсидевшись часов десять в Плимутской бухте, «Грибоедов» продолжил свой прерванный в самом начале далѣкий путь. Времени было в обрез, поэтому капитан повѣл судно не проторенными морскими путями, а по «ортодромии», то есть по кратчайшему пути на сфере. Все 22 дня пути стояла чудесная солнечная погода. Океан был пуст, как во времена Христофора Колумба. Ни один флаг нам не встретился. Только при таких, весьма редких в наши дни, необычных обстоятельствах можно почувствовать необъятность водной пустыни. Появились летучие рыбы – они плюхались прямо на палубу. Стали видны южные созвездия с экзотическими названиями. Буйно отметили праздник Нептуна. На традиционный вопрос замаскированного под владыку морей (пеньковая борода, трезубец, картонная корона) матроса, окружѣнного вымазанными сажей «арапами»:

– Что за судно, какой груз везѣте, куда путь держите?

капитан с верхотуры своего мостика ответствовал (помню буквально):

– Судно у нас купеческое, земли Советской. А везём мы учёных мужей затмение Солнца наблюдать и тем науку обогащать.

«Нептун» ответом капитана оказался вполне удовлетворён и предложил «тех, которые ещё не солёные, – посолить». И началась потеха! Матросы притащили шланги и стали друг друга со страшной силой поливать морской водой. «Научники» собрались на верхней палубе, вырядившись по случаю такого торжества в лучшие костюмы. Наступил момент, когда веселье должно было вот-вот иссякнуть, так как «чистую публику» полуголые матросы «солить» явно не решались. Тогда я быстро разделся, сбежал по трапу вниз, попросил меня «посолить» и с одним приятелем-матросом затащил шланг на верхнюю палубу. Предварительно выход с этой палубы в помещение, где находились каюты, я запер. Боже, что тут было! Несмотря на вопли ещё сухих пассажиров: «Это хулиганство!» – морского крещения не избежал никто (из непересекавших до этого морского экватора, конечно. Таков морской закон!). Тут можно было наблюдать любопытное, хотя, конечно, тривиальное явление: как только человек становился «посоленным», он тут же присоединялся к лагерю обливающих. Дольше всех держался наш дуб-замполит. Вопя: «Я это так не оставлю!» – он заперся в своей каюте. В ответ матросы во главе со старшим механиком просунули шланг в каюту замполита и стали её заливать. Через несколько минут он выскочил оттуда с дикими воплями и тут же был сбит с ног мощной струей из брандспойта. До этого я никогда не видел такого безудержного взрыва народных эмоций. Все, однако, быстро успокоились, и праздник окончился очень милым банкетом. Я забыл сказать, что вина у нас

было предостаточно. По тогдашним нормам заграничных плаваний в тропиках полагалось 5 литров в день на человека. Может быть, с тех пор я и недолюбиваю «Цинандали», предпочитая ему «Мукузани», которого на корабле не было.

И опять потянулись чудесные, но всё же монотонные дни плавания. Часами я просиживал на корме, созерцая пенный след корабля. Эта пена была несравненной чистоты. Только тогда до меня дошёл известный миф о сотворении Венеры... Появилось, ещё низко над горизонтом, невыразительное созвездие Южного Креста. В довольно убогой корабельной библиотеке мне попала книга без начала и конца, содержание которой вызвало в моей душе восторженно-романтический отклик. Конечно, это Грин, решил я, но как же называется эта чудесная сказка, перемешанная с явью? Много лет спустя я нашёл эту повесть, автор которой вовсе не Грин, а Леонид Борисов. Она называется «Волшебник из Гель-Гью». Повесть хороша, но такого впечатления, как тогда, на «Грибоедове», она на меня уже не произвела...

К концу долгого плавания через Атлантику мы уже буквально изголодались хотя бы по клочку земной тверди. И вот – наконец-то! – по правому борту показались скалистые, покрытые тропическим лесом острова с певучим названием «Фернандо Наронья» – первый клочок бразильской территории. Никогда раньше я об этих островах не слышал, хотя географию знал хорошо. А через два дня мы уже подходили к порту назначения со звучным названием Ангра-дос-Рейс. Городок расположен примерно в 100 милях к югу от Рио. Руководство экспедиции выбрало его по соображениям быстроты разгрузки и дальнейшей транспортировки

«оптической» группы астрономов в глубь страны, в Арашу, по железной дороге. Задача эта была непростая, так как в Бразилии тогда не было единой ширины железнодорожной колеи. Выгрузив нас в Ангра-дос-Рейс, «Грибоедов» тотчас же должен был идти на север, в Баию, где с его борта должны были производиться так блистательно удавшиеся радиоастрономические наблюдения Солнца во время затмения.

Наступил торжественный момент швартовки к стенке пристани. Мы, пассажиры, чувствуя себя такими героями-первопроходцами, выстроились на верхней палубе. Все мы были в белых шерстяных костюмах, специально сшитых для участников экспедиции в академическом ателье. Единственным основанием для такой экипировки, по-видимому, была знаменитая фраза Остапа Бендера о белых штанах аборигенов города его мечты... Кстати, очень скоро мы убедились, что Остап сильно ошибался – подобно нам в Бразилии одевались только люмпены.

Итак, гордые и счастливые, мы выстроились на палубе. Панорама окаймлённой высокими горами бухты была восхитительна. Вдали виднелись заросшие буйной тропической растительностью развалины монастыря бернардинцев – древнейшего монастыря на американской земле (XVI век). Городок, весь белый, утопал в зелени. На пристань высыпала колоритная толпа, преимущественно мулаты. Ещё бы – мы были первым советским кораблем в порту Ангра-дос-Рейс!

Разумеется, капитан решил не ударить в грязь лицом и выполнить швартовку артистически. А это означает, что корабль должен коснуться причала *одной точкой* и сразу же встать как вкопанный. Это очень

непросто сделать, и внимание капитана, стоявшего в белоснежном кителе на мостике, было всецело сконцентрировано на выполнении этого ответственного манёвра.

Швартовка была выполнена блистательно и должна была поразить столпившихся на пирсе знатоков, если бы не досадная неожиданность. Надо же – какому-то негоднику именно в этот момент приспичило посетить галюун. По этой причине точно в момент швартовки «на одну точку» мощная струя морской воды, содержащая результаты жизнедеятельности означенного негодника, выплеснулась на ослепительно чистую набережную! Тут была допущена дополнительная промашка. Полагается перед швартовкой заdraивать люки галюунов, но этого не сделали, причём такая забывчивость имела место и в дальнейшем.

Первыми поняли и оценили парадоксальность ситуации мальчишки на пристани – они стали заливисто хохотать, что-то выкрикивая на языке Камознса. За ними последовали и взрослые зеваки. Бывают моменты, когда пассажиры неотделимы от своего корабля. Жалкий лепет, что это, мол, не я, что я здесь ни при чём, настолько бессмыслен, что никто даже не думает оправдываться. Мы просто все сгорали от стыда. И хотя можно было уже выходить на желанную землю, по которой мы зверски соскучились, никто на берег не сошёл. И только на следующее утро мы стали трусливо выползать на опустевшую набережную.

Я вспомнил эту нравоучительную историю 34 года спустя в экзотическом городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, где проходил симпозиум по внегалактической радиоастрономии. Не в пример

прошлым годам, хозяева симпозиума отнеслись к нам, мягко выражаясь, без должной теплоты. Конечно, персонально мы не ответственны за афганские дела и незаконную ссылку Сахарова. Но чувствовали мы себя так же погано, как некогда пассажиры «Грибоедова». Да, бывают ситуации, когда пассажиры и корабль – одно целое [9](#).

АМАДО МИО, ИЛИ О ТОМ КАК «СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА»

Откуда же мне было тогда знать, что весна и первая половина лета далёкого 1947 года будут самыми яркими и, пожалуй, самыми счастливыми в моей сложной, теперь уже приближающейся к финишу жизни? В ту, третью послевоенную весну, до края наполненный здоровьем, молодостью и непоколебимой верой в бесконечное и радостное будущее, я считал само собою разумеющимся, что предстоящая экспедиция к тропику Козерога – в далёкую сказочно прекрасную Бразилию – это только начало. Что будет ещё очень, очень много хорошего, волнующего душу, пока неведомого. После убогой довоенной юности, после тяжких мучений военных лет передо мной вдруг наконец-то открылся мир – таким, каким он казался в детстве, когда я в своём маленьком родном Глухове замирал в ожидании очередного номера выписанного мне волшебного журнала «Всемирный следопыт» с его многочисленными приложениями. То были журналы «Вокруг света», «Всемирный турист» и книги полного собрания сочинений Джека Лондона в полосато-коричневых бумажных обложках. Читая запоем

«Маракотову Бездну» Конан Дойля или, скажем, «Путешествие на *Снарке*» Лондона, я переносился за тысячи миль от родной Черниговщины. Солёные брызги моря, свист ветра в корабельных снастях, прокалённые тропическим солнцем отважные люди – вот чем я тогда грезил. Вообще у меня осталось ощущение от детства как от парада удивительно ярких и сочных красок. На всю жизнь врезалось воспоминание об одном летнем утре. Проснувшись, я долго смотрел в окно, где на ярчайшее синее небо проецировались сочные зелёные листья старой груши. Меня пронзила мысль о радикальном отличии синего и зелёного цвета. А ведь я в своих тогдашних художнических занятиях по причине отсутствия хорошей зелёной краски (нищета!) смешивал синюю и жёлтую. Что же я делаю? Ведь синий и зелёный цвета – это цвета моря и равнины! В пору моего детства я бредил географическими картами. Мои школьные тетрадки всегда были испещрены начерченными от руки всевозможными картами, которые я часто раскрашивал, не ведая про топологическую задачу о «четырёх красках»; я до неё дошёл сугубо эмпирически. С тех пор страсть к географии дальних стран поглотила меня целиком. Я и сейчас не могу равнодушно пройти мимо географической карты.

А потом пришла суровая и бедная юность. Муза дальних странствий ушла куда-то в область подсознания. Живя в далёком Владивостоке и случайно бросив взгляд на карту Родины, я неизменно ёжился: «Куда же это меня занесло!» А в войну карты фронтов уже вызывали совершенно другие эмоции – вначале страшную тревогу, а потом всё крепнущую надежду.

Война закончилась. Спасаясь от убогой реальности, я целиком окунулся в науку. Мне очень повезло, что

начало моей научной карьеры почти точно совпало с наступлением эпохи «бури и натиска» в науке о небе. Пришла *вторая революция* в астрономии, и я это понял всем своим существом. Вот где мне помогли детские мечты о дальних странах! Довольно часто я чувствовал себя этаким Пигафеттой или Орельяной, прокладывая путь в неведомой, таинственно-прекрасной стране. Это было настоящим счастьем. Глубоко убеждён, что без детских грёз за чтением «Всемирного следопыта», Лондона и Стивенсона я никогда не сделал бы в науке того, что сделал. В этой самой науке я был странной смесью художника и конкистадора. Такое сочетание возможно, наверное, только в эпоху ломки привычных, устоявшихся представлений и замены их новыми. Сейчас такой стиль работы уже невозможен. Наполеоновское правило «Бог на стороне больших батальонов» в наши дни действует неукоснительно.

Но вернёмся к событиям тех давно прошедших дней. Итак, в конце 1946 года я был включён в состав Бразильской экспедиции. До этого я участвовал в экспедиции по наблюдению полного солнечного затмения в Рыбинске. Это было первое послевоенное лето. В этой экспедиции я, тогда лаборант, выполнял обязанности разнорабочего, в основном грузил и выгружал разного рода тяжести. Конечно, в день затмения было пасмурно – потом это стало традицией во всех экспедициях, в которых я принимал участие...

Когда до меня дошло, что «сбылась мечта идиота» и я могу поехать в Южную Америку, я был буквально залит горячей волной радости. Много лет находившаяся в анабиозе муза дальних странствий очнулась и завладела мною целиком. Начались радостные экспедиционные

хлопоты. Часто приходилось ездить в Ленинград. Остановивался обычно в холодной, полупустой «Астории» (попробуй, остановись там сейчас...). Не всегда удавалось достать обратный билет – как-то возвращался в Москву «зайцем» на очень узкой третьей продольной полке, привязавшись, чтобы во сне не упасть, ремнём к невероятно горячей трубе отопления. Меня три раза штрафовали – всего удивительнее то, что наша бухгалтерша Зоя Степановна без звука оплатила штрафные квитанции – какие были времена!.. Ночами вместе с моим шефом Николаем Николаевичем Парийским юстировал спектрограф, короче говоря – жизнь кипела!

Потом приехали в Либаву и поселились на борту нашего «Грибоедова». О дальнейших событиях, вплоть до прибытия в маленький порт Ангра-дос-Рейс, вы, уважаемые читатели, уже знаете. В Ангра-дос-Рейс я занялся привычной погрузочно-разгрузочной деятельностью. Со мной вместе трудились на этом поприще два многоопытных техника – Гофман и Дахновский. Это были весёлые, жизнерадостные люди. Увы, оба уже умерли – всё-таки прошло так много лет... Для контактов с местными властями незаменимым человеком был обосновавшийся в Бразилии армянин со странной фамилией Дукат. Он мечтал о возвращении в Армению и потому самоотверженно помогал нам. Без него мы просто провалили бы всё дело, ведь до 20 мая – дня затмения Солнца – оставалось лишь немногим больше недели. А трудностей с транспортировкой грузов до пункта наблюдений (это километров семьсот от Ангра-дос-Рейс) было немало. Ну хотя бы отсутствие, как я уже сказал, единой ширины колеи на бразильских железных дорогах, что весьма осложняло выбор

маршрута. Кстати, я был немало удивлён, когда убедился, что шпалы на этих дорогах сделаны... из красного дерева! Наш великолепный Николай Иванович Дахновский, старый московский мастеровой, на такое неслыханное расточительство просто не мог смотреть. А что прикажешь делать, если сосна в тех краях не растёт, а климат убийственно влажный? Добрый ангел-хранитель Дукат нежно заботился о нашей троице и всячески оберегал от неизбежных в чужой стране промашек. Как-то раз он обратился к нам с речью:

– Помните, товарищи, что в этой стране язык – португальский, для вас совершенно чужой и незнакомый. Так, например, слова, совершенно пристойные на русском языке, могут звучать совершенно неприлично на португальском. При всех условиях, например, никогда, ни при каких обстоятельствах не произносите слов «*куда*» и «*пиро'г*»...

По причине спешки мы так и не попросили дать перевод этих вполне невинных русских слов. Однако рекомендацию Дуката я запомнил крепко.

Готовя экспедицию, московское руководство решило, что жить нам придётся если не в сельве, то, по крайней мере, в саванне или пампасах. У нас были палатки и куча всякой всячины, необходимой для проживания в сложных тропических условиях. Но всё вышло не так. В Араше оказались знаменитый на всю Латинскую Америку источник минеральных вод («Агуа де Араша») и богатые водолечебницы. Незадолго до нашего приезда там был построен суперсовременный роскошный отель – один из лучших на этом экзотическом континенте. Достаточно сказать, что, как мы скоро узнали, в этом отеле жил и лечился экс-король

Румынии Кароль (его сын Михай был тогда ещё «действующим» королём этого вновь испечённого народно-демократического государства). Скромный номер в отеле стоил 20 долларов в сутки – цена по тем временам фантастическая. Конечно, платить таких денег мы не могли. Но тут наши гостеприимные хозяева сделали широкий жест: они объявили нас гостями штата Минас-Жерайс. А это означало, что проживание в отеле и роскошное трёхразовое питание стало для нас бесплатным.

Площадку для нас отвели на краю территории, в полукилометре от отеля и неподалёку от курятника. Рядом стеной стояла совершенно непроходимая сельва, из которой время от времени на нашу территорию вторгались представители здешней экзотической фауны. Над нами проносились ослепительно яркие комочки радуги. Это были колибри. Прямое отношение к нашей экспедиции имели, оказывается... броненосцы: корабельному врачу, как мы выяснили, было поручено собирать каких-то паразитов, которые вгрызаются именно в них. Кто-то «наверху» решил, что столь необычные насекомые были совершенно необходимы для изготовления препарата «К.Р.» («препарат Клюевой-Роскина») – якобы вакцины против рака, бывшей тогда величайшей тайной советской науки. Потом, много позже, они разболтали об этом таинственном препарате англо-американским шпионам, принявшим личины учёных. За этот антипатриотический поступок Клюева и Роскин были судимы судом чести и лишены всех научных степеней, званий и постов. Это была едва ли не первая капля надвигающейся чёрной тучей бури послевоенного мракобесия (Лысенко, Бошьян,

Лепешинская и пр.). Конечно, пресловутый препарат «К.Р.» оказался сущей липой.

Был ещё один запомнившийся мне случай контакта со здешней фауной. Как-то я в заброшенном сарае на краю площадки коптил магниевый экран. Рядом местный столяр что-то строгал на верстаке. Вдруг вижу, как по земляному полу ползёт ослепительно красивая полтораметровая змея. Она была огненно-красная, с чёрными бархатистыми пятнами. «Жозе!» – окликнул я своего бразильского тезку. Тот оглянулся и молниеносно сделал совершенно фантастический прыжок в сторону, крича мне что-то непонятное. Затем схватил доску и с необыкновенной ловкостью зажал змее голову, сам находясь от извивающейся гадины на почтительном расстоянии. Только тут до меня дошло, что положение серьёзное. Я схватил один из валявшихся на полу камней и несколькими ударами размозжил змее голову. Лицо Жозе было перекошено гримасой страха и отвращения, он весь был какой-то выжатый. Я же, беспечный и безжалостный невежда, сгреб змею на лопату и отправился к соседнему бараку, где трудились наши девушки Зоя и Алина. Идиотски ухмыляясь, я просунул лопату в окно и окликнул сидевшую спиной ко мне Алину. Боже, как она запрыгала! Прыжок у неё был даже эффектнее, чем у Жозе. После того как шум улёгся, выяснилось, что я с помощью тезки убил коралловую змею – одну из наиболее ядовитых змей Южной Америки! Всё это могло бы кончиться совсем не весело.

После трудового дня мы, усталые и перемазанные бразильским краснотёмом, шли к себе в отель, принимали душ, переодевались в специально пошитые для нас Академснабом белые шерстяные костюмы и шли в обеденный зал. Наши столы были точно посредине

зала, и мы во всё время обеда находились под любопытными взглядами обитателей отеля. Такое расположение столов было не случайно: хозяин отеля сделал огромную рекламу предстоящему затмению Солнца, гвоздём которого было присутствие большой команды «Руссо-Советико». Его можно было понять – мы оказались первыми русскими в этих краях. Недавно окончившаяся страшная война как бы освещала нас своим багровым светом, в глазах бразильцев мы выглядели если и не героями, то уж заведомо необычными людьми. Администрация отеля неплохо на этом нажилась: если до нас он почти пустовал, то накануне затмения был переполнен. И вполне естественно, что приехавшие сюда толстосумы за свои крузейро хотели видеть заморских диковинных гостей, так сказать, «без обмана».

Находиться постоянно под перекрёстными взглядами нагло глазающих на тебя бездельников было не очень-то приятно. Особенно нам, молодёжи, не имевшей ровно никакого светского опыта и не знавшей тонкостей поведения за столом. Какие уж тут тонкости, когда всю войну я воспитывал свой характер в направлении стоицизма: донести домой целым довесок пайкового хлеба... Я постоянно попадал впросак. Трудности начинались с заказа: меню было на французском языке. Дабы упростить ситуацию, я всегда садился рядом с Александром Александровичем Михайловым – начальником нашей экспедиции, что было, конечно, не так-то просто, и точь-в-точь повторял его заказ. Вскоре, однако, я убедился, что такая тактика недальновидна, так как лишает меня возможности отведать неслыханно вкусных мясных жареных блюд. Увы, наши с А.А. интересы оказались полярно различны –

он был на строгой диете. И тогда я пустился в опасную самодеятельность, в критические минуты обращаясь к начальнику за консультацией. Помню, как-то я довольно безуспешно ковырял вилкой какую-то экзотическую рыбину.

– Что вы делаете? – прошипел А.А.

– Пытаюсь вилкой, ведь нельзя же рыбу – ножом, – пролепетал я.

– Вот именно ножом, специальным рыбным ножом, который лежит слева от вас!

Поди знай! В другой раз на какой-то мой дурацкий вопрос А.А. тихо, но отчётливо сказал:

– И вообще, И.С., больше самостоятельности. Нужно руководствоваться основным принципом: человек за столом должен как можно меньше походить на собаку. Собака ест вот так, – А.А. низко нагнулся над тарелкой и стал, к удивлению окружающих, быстро елозить руками. – А человек – вот так. – Он откинулся к спинке стула и держал нож и вилку в почти вытянутых руках.

После такого объяснения я к А.А. больше за консультацией не обращался *10*.

Зато ленч мы пожирали в привычных и вполне естественных условиях. Еду нам привозили на машине два ливрейных официанта прямо на площадку. Грязные, как черти, сидя на экспедиционных ящиках, мы смаковали яства бразильской кухни и обучали славных ребят-официантов кое-каким русским словам.

Удивительное и необычное было буквально на каждом шагу. У этих антиподов всё было не по-нашему. Как-то мы с Зоей ожидали лифта. Рядом стояла кучка

лощёных молодых «бразильеро» обоего пола. Молодые люди с совершенно одинаковыми чёрными усиками оживленно беседовали со своими девушками, непринуждённо почесываясь глубоко засунутой в карман брюк рукой. Зоя не знала куда деваться, молодые же бразильянки совершенно на это не реагировали. Я пытался понять смысл их поведения, и, кажется, мне это удалось. Конечно, у них там ничего не зудело – они были стерильно чистенькие. Просто таким, по нашим понятиям совершенно непристойным, образом они демонстрировали свою – если угодно – раскованность. Вообще понятия о приличном и неприличном в этом мире перевернуты. К примеру, есть болезни благородные и болезни непристойные. У нас в Европе чахотка – болезнь грустно-романтическая, мы её ассоциируем с Чеховым и Шопеном. У них же это болезнь постыдная, ибо ассоциируется с трущобной нищетой. Зато в венерических болезнях бразильцы не видят ничего зазорного; более того, эти болезни отдают даже некоторым шиком, особенно когда больной лечится у известного врача. Вообще лечиться считается весьма престижным, ибо это наглядный показатель материального благополучия.

Между тем работа на площадке кипела. Мы вкалывали днём и ночью, цейтнот был страшный. Особенно неистово трудился мой товарищ по номеру Александр Игнатович Лебединский – он почти не спал, изнемогая в единоборстве со своим слишком переусложнённым спектрографом. Недаром в местной прессе была помещена его очень смешная фотография с подписью: «Это – профессор Саша (Sasha), изобретатель машины с девятью объективами». И, как всегда на всех затмениях, площадку украшали похожие на огромные

мостовые фермы опоры установки А. А. Михайлова для наблюдения эффекта Эйнштейна – отклонение луча от звезды при прохождении его около края солнечного диска. К 20 мая всё было в ажуре. Для поддержания порядка на сверкающую чистотой площадку пришёл наряд полиции. Увы, за пару часов до затмения откуда-то пришли тучи, хотя целый месяц до и много недель после погода была идеально ясной!

На душе было тоже пасмурно, но мы держались. Я храню снимок, где изображен играющим с Гинзбургом на расчерченной пыльной земле в какую-то местную игру, аналогичную «крестикам и ноликам». Снимок сделан кем-то точно в момент полной фазы – не так уж бывает тогда темно, как многие думают... К вечеру все мы немного «оклемались», успокаивая себя, что не единым затмением жив человек и что, как любил выражаться наш выдающийся астроном Григорий Абрамович Шайн, «не человек создан для субботы, а суббота для человека». И всё же разбирать с огромным трудом собранные, да так и не сработавшие установки, опять заниматься осточертевшими упаковочными работами, находить куда-то запропастившиеся детали – дело невесёлое. В разгар этой деятельности мы узнали, что администрация отеля устраивает бал для своих гостей и участников иностранных экспедиций (кроме нашей были ещё американская, финская, шведская, чешская). Бразильской экспедиции не было по причине отсутствия астрономической науки в этой огромной и богатой стране.

Бал обещал быть роскошным, что по замыслу устроителей должно было в какой-то степени компенсировать подлость погоды. Жильцы отеля с истинно тропическим темпераментом готовили обширный

концерт самодеятельности, участвовать в котором пригласили и иностранцев. И тут мне пришла в голову необыкновенно коварная идея.

Дело в том, что в составе нашей экспедиции был некий «освобождённый товарищ», который должен был обеспечить – как бы это поделикатнее выразиться? – идейную выдержанность нашего поведения. Звали его Михаил Иванович, был он худой и длинный. Дело своё делал ненавязчиво, без энтузиазма, и на том, как говорят, спасибо. Правда, водилась за Михаилом Ивановичем одна маленькая слабость – обладая жиденьким тенорком, он до самозабвения любил петь.

– Всё-таки нехорошо, Михаил Иванович, – вкрадчиво сказал я ему, – что наши люди совсем не участвуют в предстоящем концерте самодеятельности. Здесь подумают, что советские учёные – сухари и роботы. По этой причине возможны даже всякие антисоветские инсинуации!..

– Но у нас нет талантов. Кто из наших смог бы выступить? – клюнул Михаил Иванович.

– А вот вы, например. У вас же прекрасный тенор!

Собеседник мой был явно польщён.

– Что же им спеть? – робко спросил он.

– Только классический репертуар! Всякие там самбы и румбы – не наш стиль. Почему бы вам не спеть арию Ленского?

В этом была вся идея – я хорошо помнил советы Дуката (см. выше). В общем, я его уговорил.

И вот наступил вечер бала. С невероятным шумом прошли выборы «мисс эклипс». Хотя голосование было

тайное, выбрали почему-то неуклюжую плосколицую девицу – дочь здешнего богатого плантатора. Как говорится, «их нравы». А сколько было красоток! Потом пошло пение. Я заранее предупредил своих верных друзей, что будет цирк. И вот на эстраде появилась нелепая долговязая фигура нашего «искусствоведа», который по этому поводу облачился в строгий чёрный костюм. Жиденьким козлетоном он заблеял: «*Куда, куда, куда вы удалились...*» Боже, что тут началось! Всех сеньорит как ветром сдуло. А сеньоры ржали, как жеребцы, бурно аплодируя и что-то крича. Даже я не ожидал такого. М.И. всё это посчитал за бурное одобрение и усилил звук. Остальные номера уже никто не смотрел и не слушал [11](#).

Странно, но вот уже почти 40 лет я собираюсь заглянуть в достаточно полный португальский словарь, дабы наконец-то достоверно узнать, что означают на языке Камозанса слова «куда» и «пирог». Похоже на то, что до конца своих дней так и не соберусь это сделать...

На следующий день мы отправились в очаровательный, совершенно гриновский городок со сказочно-красивым названием *Белу-Оризонти* – столицу штата, гостями которого мы были. Запомнился базар, где прямо на земле «бунтами» красовались огромные пирамиды спелых ананасов – совсем так, как на моей родной Черниговщине укладывают бураки. А какие цветы, какие пряные запахи!

А ещё мы затеяли поездку на машинах, за сотни километров, посмотреть «минас» – самые глубокие в мире золотодобывающие шахты. По дороге я был свидетелем довольно забавной сценки. Но – по порядку. Дело в том, что мы были объектом внимания не только

«изнутри», но и, так сказать, «снаружи». Откуда-то появились субъекты, хорошо говорившие по-русски и навязчиво пристававшие к нам с предложениями всякого рода сомнительных услуг. Среди них явно выделялся представившийся профессиональным певцом некий украинец, даже не скрывавший своей связи с местной полицией. Похоже было, что в его задачу входило оградить трудящихся Бразилии от тлетворного влияния «красных». В автобусе, по иронии судьбы, этот тип сел рядом с нашим Михаилом Ивановичем. Почувствовав пикантность ситуации, я сел точно позади них, посадив рядом с собой Славу Гневышева. По дороге они разговорились, касаясь преимущественно профессиональных (я имею в виду вокальных) тем – на чисто русском языке, конечно.

– А у вас сейчас много новых песен? – спросил бразилоукраинец.

– Разумеется, – отвечал *наш*.

– И какую же песню поют чаще всего?

– Я думаю, что чаще всего поётся «Широка страна моя родная».

– А я этой песни не знаю – научите, пожалуйста.

И всю дорогу два представителя одной из наиболее древних профессий очень дружно пели песню Дунаевского. У «тутошнего» оказался совсем неплохой баритон. Весь автобус замер – дошло до всех. А они пели, пели увлечённо, совершенно не чувствуя полного идиотизма ситуации.

В шахты нас не пустили – это была собственность какой-то английской компании, и она тоже боялась «красных».

В Рио мы попали впервые уже после того, как добрые две недели прожили в бразильской «глубинке». Мы прилетели туда из Белу-Оризонти на «Дугласе». Я первый раз в жизни летал на самолёте! Незабываем вид Рио с высоты птичьего полёта. Недаром сами бразильцы свою бывшую (а тогда настоящую) столицу зовут «Сиуаджи Миравельоза», что означает «удивительный город». Окружённая скалистыми, заросшими тропическим лесом берегами сверкала на солнце огромная бухта Гванабара. Для меня было неожиданностью, что восточный берег Южной Америки так скалист и изрезан – я по зелёному цвету карты представлял его низким и плоским. Довольно высокие скалистые кряжи есть и в самом центре города, рассекая его на несколько отдельных частей, связанных туннелями. Над красавцем Рио господствует 700-метровая скала, вершину которой венчает 40-метровое мраморное распятие. Это – знаменитая Корковадо, видимая с любой точки города в виде белого креста. Впрочем, иногда она скрыта облаками. Мы побывали у подножия распятия, и я никогда не забуду вида, который оттуда нам открылся. Кроме Корковадо над Рио высятся и другие красавицы-горы. Запомнилась великолепная, 400-метровой высоты, «Сахарная Голова», куда мы поднимались на фуникулёре. И, конечно, никогда не забыть невиданной красоты и огромности пляж Капокабана. На этом знаменитом пляже мы провели целый день. Нашим гидом был славный малый по фамилии Калугин – корреспондент ТАСС. Во время посещения Капокабаны мы ещё раз столкнулись с

удивительными местными обычаями. Оказывается, абсолютно недопустимо подойти к Атлантическому океану, раздеться и окунуться в воду – полиция за такое дело тут же оштрафует. По тамошним понятиям совершенно неприличен *процесс* раздевания. На пляж нужно прийти уже вполне готовым для купания. Между тем общественных раздевалок на всем гигантском пляже мы так и не заметили. Люди раздеваются у своих знакомых, которые живут в приморском районе, но, естественно, за много кварталов от пляжа. И вот по воскресеньям толпы людей разного возраста и пола в одних плавках и купальниках шагают по раскалённому городскому асфальту – это считается вполне приличным!

Но боже мой, какой это пляж! На много десятков километров тянется полоса шириной не меньше сотни метров. Пляж песчаный. Впрочем, это даже не песок, а чистая золотая пыль, К пляжу за автострадой примыкает линия небоскребов (20-30 этажей), стоящих в окружении кокосовых пальм сравнимой высоты, что создаёт непередаваемой прелести гармонию. А впереди – Атлантический океан. Даже в самую штилевую погоду в десяти метрах от берега высится стена прибоя – ведь до африканского берега 4000 километров, а океан дышит...

Я залюбовался купающейся, а больше играющей молодёжью. Как они красивы! Весь спектр цветов кожи – от агатово-чёрного до розово-белого. Кстати, никаких признаков расовой нетерпимости никто из нас в Бразилии не заметил.

А как здешние мальчишки играют в футбол, прямо на пляже! Вот откуда рекрутируются Пеле, Жаирзиньо и прочие чародеи бразильского футбола, спустя 11 лет потрясшие спортивный мир на шведском чемпионате!

Лежа на этом действительно золотом (не то что под Ялтой) пляже, мы, в частности, обсуждали вопрос, чем бы занялся Великий Комбинатор, если бы мечта его детства осуществилась и он оказался бы здесь, в Рио. Было высказано несколько соображений. Например: он непременно занялся бы упорядочением купания на Капокабане, организовав сеть раздевалок. Или взялся бы за создание ателье по разбивке волос у здешнего населения. А вообще, братцы, не заложить ли нам основание памятника Остапу Бендеру именно здесь! Благо случай на редкость подходящий: присутствуют представители советской власти (первый секретарь нашего посольства), советской печати (упомянутый выше корреспондент ТАСС), советской общественности (мы, пассажиры «Грибоедова») и широкие слои местной общественности (пляжники Капокабаны с разным цветом кожи). Сказано – сделано! Мы соорудили пирамиду из песка, пригласили нескольких наиболее чёрных бразильеро, произнесли подходящие к случаю речи и сфотографировались. Я храню эту фотографию до сих пор и изредка люблюсь ею. Следует заметить, что в те времена Ильф и Петров были если и не под официальным запретом, то, во всяком случае, в подполье.

А лучше всего было бродить по этому удивительному городу и любоваться красочной толпой «кариоки» (самоназвание жителей Рио). Круглые сутки здесь кипит жизнь. Ночами около нашего отеля «Амбассадор» играла зажигательная музыка последнего пасхального карнавала, и люди танцевали самбу, – прямо на мостовой. Эту музыку я помню до сих пор: «Чику-Чику», «Амадо Мио», «О, Бразил!». Вот я пишу сейчас эти строки, а в ушах всё время раздаются

ритмичные удары и восхитительная скороговорка «Чику-Чику»...

Наше посольство устроило, как водится, приём для советской экспедиции, который мне, новичку, показался роскошным. В разгар этого дипломатического мероприятия ко мне подошёл человек средних лет и представился президентом шахматного клуба Рио. Сегодня вечером – продолжил он – у нас состоится традиционный четверговый блицтурнир мастеров столицы. И по сему поводу он имеет честь пригласить шахматистов из советской экспедиции на этот турнир. Я сообразил, что слава о шахматистах нашей экспедиции могла пойти только из одного источника. Накануне затмения и после него мы с Мишей Вашакидзе прошвырнулись в ближайший городок Араша и в тамошнем кафе лихо обыграли в шахматы местных пижонов-завсегдатаев, еле двигавших пешки. Здесь, в посольстве, уже изрядно «набравшись», я с ходу согласился на лестное приглашение незнакомого сеньора. «Почему бы мне здесь, в городе золотой мечты Остапа, не повторить его бессмертный подвиг в Васюках?» Подсознательно я, конечно, глупо полагал, что эти ихние столичные мастера играют на уровне арашинских любителей. Тут же я сагитировал Мишу Вашакидзе (тот, ссылаясь на опьянение, сильно упирался) и Лебединского. К нам ещё присоединился секретарь посольства. Не дожидаясь конца приёма, под неодобрительные взгляды Михайлова, мы отправились в здешний «клуб четырёх коней». По дороге моего нахальства сильно поубавилось, когда я узнал, что пригласивший нас президент клуба только что вернулся из Нью-Йорка, где выступал в арбитраже первого радиоматча СССР-США. «Похоже, что влипли...» – уныло

подумал я. Здешний шахматный клуб был при знаменитом футбольном клубе «Ботафого», и гостеприимные хозяева прежде всего показали идущий на стадионе матч между командами «Фламенго» и «Ботафого». Я впервые видел футбольный матч ночью (тогда у нас это не практиковалось). Какая это была игра! До этого такой ювелирной техники, такого артистического владения мячом я не видел. Очень жалко было уходить, не досмотрев красивого зрелища, но ничего не поделаешь – хозяева вежливо попросили. Я шёл как на Голгофу – впрочем, настроение было неплохое, так как вполне чувствовал комизм ситуации. В прокуренной комнате шахматного клуба шеренгой выстроились здешние мастера – все почему-то с одинаковыми лысынами и одинаковыми чёрными усиками. И я увидел, что у них буквально дрожат коленки – ещё бы: им предстояло играть с «шахматисто-советико». В те далёкие годы, когда молодой Ботвинник только что стал чемпионом мира, слава советских шахматистов была оглушительной. От мысли, что мы вполне подобны персонажам легендарной «Антилопы», я даже как-то успокоился. «Одноглазый любитель» (то бишь здешний шахматный президент) предложил кому-нибудь из нас перед жеребьёвкой сгонять с ним неофициальную партию. Я усадил за стол Мишу.

– Что ты, я совсем пьяный, – лепетал будущий автор открытия поляризации излучения Крабовидной туманности.

– Играй и не дури. Будем подсказывать!

В блиц здесь, конечно, играли с часами, 10 минут на первые 40 ходов. Игра началась. От волнения у

президента тряслись руки. Мы бесстыдно подсказывали Мише ходы – естественно, по-русски. В диком мандраже уже на шестом ходу бразильский маэстро потерял слона. Однако уже к десятому ходу, поняв, что играет с «сапогом», он собрался с духом и бодро выиграл у Миши партию. Я думаю, что по нашим понятиям у бразильского мастера был крепкий второй разряд. И началась потеха! Я буду краток: наша четверка компактно заняла четыре последних места. Всё же я три партии свёл вничью. Вообще, если бы я не растратил свой шахматный пыл на безобразные останкинские блицы (см. новеллу «О везучести»), я бы показал этим субчикам кузькину мать... [12](#)

На следующее утро мы поехали поездом в Ангра-дос-Рейс, где нас уже ожидал родной «Грибоедов», чтобы плыть дальше, на юг, в Аргентину, за попутным грузом. Через несколько дней мы входили в горловину Лаплатского залива. Там меня поразили чуть видные из воды мачты затонувшего корабля. Это были останки знаменитого германского карманного линкора «Адмирал граф Шпеер», затопленного своей командой перед строем преследовавших его английских крейсеров...

Вечер мы провели в Монтевидео, были в нашем посольстве и гуляли по этому чарующей красоты городу. После Рио он показался мне каким-то европейски-старомодным. Потом плыли по могучей мутно-шоколадного цвета Паране. На океанском корабле, 400 километров вверх по течению, до самого Розарио! Мы были вторым советским кораблём, посетившим этот далёкий, экзотический порт. Первым, ещё в 1927 году, был знаменитый парусник «Товарищ». На цинковых пакгаузах порта огромными буквами было намалевано «Viva partida Peronista!» – шла очередная избирательная

кампания. Вдали виднелись корпуса знаменитых заводов Свифта; я вспомнил отраду военных лет – банки тушёнки с маленьким ключиком.

Совершенно неожиданно на борт «Грибоедова» поднялась местная полиция. Нас загнали в кают-компанию и раздали анкеты... на испанском языке. Там было всего-то около 10 вопросов – детский лепет по сравнению с нашими, родимыми. Вопросы были стандартные, и, несмотря на незнание языка, я понимал их смысл и кое-как ответил. Упёрся я на шестом пункте (пятый у них не соответствует нашему). Не понимая смысла вопроса, я решил посмотреть, как отвечают старшие товарищи. Подошёл к Яше Альперту, а тот как раз выводил ответ: «Грек-ортодокс». Мне стало почему-то очень смешно, и я вывел: «атеист».

Пока «Грибоедов» грузился просом для Швейцарии транзитом через Голландию, мы экспрессом «Эль Рапидо» за четыре часа доехали до Буэнос-Айреса. Так же как и в Рио, мы попали в здешнюю столицу «с чёрного хода». В Аргентине была зима (что-то похожее на конец подмосковного сентября, когда идут дожди). Три дня мы прожили в «Байресе» – так аргентинцы называют свою столицу. Запомнилась поездка на Лаплатскую обсерваторию, когда на обратном пути, ориентируясь по плану города, наш шеф и картограф А. А. Михайлов не учёл, что в полдень здесь солнце находится на севере. А вообще Аргентина своим явно «Северным» (конечно, отнюдь не в географическом смысле) духом составляла разительный контраст «Южной» Бразилии.

В Байресе запомнились обелиск на «Пласо 25 мая», кафе «Эль-Гитано», где я часто отсиживался (почти всё

время лил дождь), и лежащая прямо на улице прижатая камнем стопка украинских газет явно петлюровского, жовто-блакитного направления. Пробовал читать – охватила гадливость. («Шанування світлої пам'яті Симона Петлюри» – не правда ли, мило?)

Вернувшись в Розарио, мы снова почувствовали себя дома на обжитом, таком уютном «Грибоедове», который в тот же день лёг на обратный курс. Опять привычный океан, опять быстро надоедающий корабельный харч. К нашему удивлению, «Грибоедов» поздно вечером снова зашёл в пустынную бухту Ангра-дос-Рейс. Мы пробыли там не более двух часов и приняли на борт двух пассажиров, очень странную пару – брата и сестру. Брат – немецкий коммунист, бывший депутат рейхстага, сидел в концлагере и, насколько я понял по его дальнейшему поведению, от пыток гестапо сошёл с ума. Сестра была его сиделкой. Ночами он ходил по палубе, останавливался и, откинув назад голову, издавал звуки, похожие на собачий вой. Похоже было на то, что это нелегальные пассажиры. Как-то сложилась их советская жизнь? Ведь предстояло пережить нелёгкий рубеж наших сороковых-пятидесятых...

Чернильной тропической ночью мы шли на траверзе Рио. Если судить по огням, до берега было километров десять-пятнадцать. Время – около двух часов ночи. Кроме вахтенных и меня, на палубе не было никого. Медленно уходили назад уже знакомые огни незабываемого прекрасного города. Нехотя, но неуклонно отставал светившийся в кромешной темноте тропической ночи маленький бриллиантовый крест Корковадо. Уходила безвозвратно цепочка огней небоскрёбов Капокабаны. Уже не видно было даже намёка на Сахарную Голову. И всё моё существо

острейшей болью пронзила до ужаса простая мысль: *я этого больше никогда не увижу!* Конечно, и у себя дома я часто бывал в местах, которые после этого никогда не видел, например, никогда больше не был в городе своей юности Владивостоке. Но ведь в этом виноват только сам. Стоит сильно захотеть – и я там буду! А вот здесь я, так сказать, принципиально *никогда больше* не буду. Это так же необратимо, как смерть. На душе стало очень одиноко и пусто.

Наконец истаял последний береговой огонёк – это был маяк. Не видно было уже ничего. Впереди – пустыня Атлантического океана.

КАНУН ОТТЕПЕЛИ

Собственно говоря, это началось гораздо раньше 13 января 1953 года – дня, когда в Центральном органе появилась ужаснувшая и поразившая мир редакционная статья о «врачах-отравителях». Меня, например, вместе с моими коллегами – «инвалидами пятого пункта» – уволили из родного Астрономического института имени Штернберга ещё в конце 1951 года (см. новеллу «Юбилейные арабески»). Увы, мы не были исключением: многие тысячи советских граждан испытали тогда ни с чем не сравнимую боль тупой, жестокой и глубоко оскорбительной процедуры *изъятия из общества*, полноправными членами которого они себя считали от рождения. Это очень страшно – вдруг с беспредельной ясностью почувствовать, что всё, что ещё вчера было твоим, кровным, родным, – воздух, трава, люди в

электричке – вдруг становится совершенно чужим и враждебным.

А ещё раньше, в 1949 году, была отвратительная кампания против «безродных космополитов», вопли в печати «раскроем псевдонимы» и многое другое, о чём даже вспомнить тошно [13](#). За год до этого, в 1948 году, – высочайше санкционированное убийство Михоэлса и последовавший вскоре после этого кровавый разгром еврейской культуры в Советской стране. Когда же всё это началось? Пожалуй, первые явные признаки надвигающейся беды появились во время войны. Вспоминаю, как мой покойный друг гвардии майор Липский, одним из первых осенью 1943 года форсировавший Днепр, всё-таки не получил полагающуюся за такой подвиг Золотую Звезду Героя Советского Союза. Комиссар дивизии так прямо ему и сказал:

– Видишь ли, ты еврей, я еврей – как-то неудобно выходит... Как коммунист, ты должен это правильно понять!

...Так уж получилось, что в то холодное утро 13 января 1953 года я сидел в помещении Астросовета на Большой Грузинской улице вместе с ныне знаменитым академиком В. Л. Гинзбургом, занимаясь «утряской» программы предстоящей Всесоюзной конференции по радиоастрономии. Работа явно не клеилась. Мы оба, конечно, уже успели прочитать ошеломившую нас редакционную статью «Правды» о «врачах-отравителях». Однако, подавленные, ни словом о прочитанном не обмолвились. Свинцовое молчание было невыносимо. Помню, что в крохотной комнатёнке, в которой мы сидели, было очень сыро и промозгло, что ещё больше

подчёркивало мрачную безысходность случившегося. Работа совершенно не двигалась – мы тупо водили карандашами каждый по своему листу бумаги.

– Ничего мы тут не высидим, – сказал В.Л. – Пошли лучше в зоопарк.

Идея пойти в расположенный рядом зоопарк была, конечно, совершенно фантастической. В это время – после школьных и перед студенческими каникулами – зоопарк посещался редко. К тому же стоял трескучий мороз. Долго, в абсолютном молчании, мы бродили по заснеженной пустынной территории звериного сада. Наконец, продрогшие и насквозь промёрзшие, решили отогреться в закрытом помещении слоновника. И действительно, там была влажная жара. Внутри огромного загона стояла слоновья семья – папа, мама и очень лопоухий ихний отпрыск. Слоны, не обращая на нас никакого внимания, мерно и ритмично хрупали сено. Мы долго смотрели на эту идиллию. И тут наше затянувшееся молчание нарушил В.Л. Как бы про себя он сказал:

– Хорошо слону – с ним жена рядом...

Конечно, он всё это время думал о своей Нине. Увы, у будущего академика были все основания завидовать слону. Его жена не могла жить с ним под одной крышей. Она имела «минус», будучи административно высланной в какую-то слободу под Горьким. Повод для ссылки был совершенно пустяковый – какая-то студенческая болтовня. А работала Нина Ермакова в том самом городе, который ныне столь знаменит другим ссыльным поселенцем. Молодой, блестящий доктор наук В. Л. Гинзбург познакомился с Ниной случайно на своём семинаре, куда она непонятно почему забрела. Был В.Л.

женат на своей однокурснице, имел маленькую дочку, которую нежно любил. Ему пришлось проявить очень редкое в наше время и в нашей стране мужество, чтобы честно и открыто получить развод и жениться на ссыльной, не имеющей прав женщине. Он прошёл через всё – «законная» жена развода не давала. Страшно даже подумать про эти парткомы (В.Л. – член партии), месткомы, где его вываливали в грязи.

Казалось бы, неодолимые преграды он преодолел и был, конечно, счастлив. Вспоминаю, как мы с ним плыли в далёкую Бразилию. Всю дорогу он ныл, думая только о своей Нине, с которой оказался в первой разлуке. Тщетно я пытался вывести его из этого, увы, для меня недоступного состояния, обращая внимание на неслыханные красоты тропиков. Так он ничего там и не увидел.

А в каком ужасном состоянии он был в Москве, когда до него дошла весть, что старенький, безмерно перегруженный пароход, на котором Нина вместе с другими работягами пересекала ежедневно Волгу, в середине великой реки перевернулся – а это было в ноябре, по Волге шла шуга. Три страшных дня он считал её погибшей – как он пережил это, я не знаю. Погибло несколько сот человек. Спаслись считанные единицы – в числе их была Нина, переплывшая в самом широком месте ледяную Волгу – она была превосходной спортсменкой! Её тогда приютили и отогрели незнакомые люди. Нельзя даже представить, что испытал В.Л., увидев её как бы воскресшей. И вот теперь, в наступающие тяжёлые времена, он, конечно, хотел быть рядом с ней. Больше мы тогда, в зимнем зоопарке, ни о чём не говорили и пошли по домам.

Потянулись скверные дни. Положение ухудшалось с каждой неделей. Помню, я ехал в ночной электричке в Лосинку, где в убогой комнатухе ютилась моя бедная мама. Сидевшие напротив подростки гнусно обзывали меня. Наблюдали эту сцену многочисленные пассажиры, для которых вагонное зрелище было забавой. Некоторые из них присоединили свой голос к лаю этих собак. А мальчишки были самые обыкновенные ремесленники, и это казалось особенно страшным – видеть, как они внезапно превратились в стаю злобных волчат. Помню, как где-то внутри у меня зрело и расширялось чувство отвратительного, постыдного страха – древнего еврейского страха перед погромом.

Тот случай был далеко не единственный. Направляемая сверху «волна народного гнева» росла и набирала силу по экспоненциальному закону. В эти недели зимы и весны 1953 года подвергались суровой проверке чувства и отношения между, казалось бы, близкими людьми. Одна моя хорошая знакомая, наблюдая моё подавленное состояние, с некоторым раздражением заметила:

– Но ведь не может быть, чтобы в нашей стране вот так просто посадили ни в чём не повинных людей. Нет дыма без огня. Значит, не такие уж твои врачи кроткие агнцы...

Не все из моих друзей так говорили, – мне, по крайней мере, – но думали так многие.

Пошли тёмные слухи, что далеко на Востоке срочно строятся лагерные бараки, чтобы принять трёхмиллионное еврейское население Советской страны, тем самым оградив его от «справедливого гнева» коренного населения. Некая журналистка по имени Ольга

Чечёткина поместила в «Правде» огромную статью под названием «Почта Лидии Тимашук» [14](#), наполненную черносотенными истерическими воплями и призывами «простых советских людей». Во всех газетах народ взахлёб читал о гнусных хищениях и прочих мерзких преступлениях *этих самых*, которые в войну «отсиживались в Ташкенте». Чтения сопровождались соответствующими комментариями. В воздухе пахло хорошо организованным погромом.

И тут случилось великое чудо – вполне в духе классической библейской традиции. Говорят, что дыхание Чейн-Стокса пришло к Лучшему Другу Простых Советских Людей в день знаменитого еврейского праздника Пурим. Увы, я до сих пор не удосужился проверить это любопытное совпадение. Но, конечно, полную аналогию между двумя судьбоносными событиями в истории моего народа, разделёнными двадцатью четырьмя веками, провести нельзя. Не было в 1953 году аналога слабовольного, но, в сущности, незлого персидского царя Ахашвероса (Артахсеркса), не было, по-видимому, и злобного Министра Амана (Берии). И, конечно, не было прекрасной Эсфири – гипотетическая племянница Кагановича на эту роль явно не тянула. Всё было по-другому, но финал драмы готовился такой же, как в древней персидской державе.

Почему-то очень смутно, как бы «экстрафокально», помню наполненные тяжёлой тревогой и коллективной истерией дни похорон Сталина. Нет, я не почувствовал сразу облегчения. Меня угнетал вопрос – что будет дальше?

Довольно быстро, однако, жизнь вошла в какую-то новую колею. В стране был полный порядок. В газетах

часто появлялись статьи о Великом Покойнике, тень которого, однако, прямо на глазах неотвратимо уходила всё дальше и дальше. И я опять, после нескольких месяцев перерыва, стал предаваться целиком захватывавшим меня размышлениям о тогда ещё совершенно загадочных источниках космического радиоизлучения. Я был молод и был готов в самом буквальном смысле штурмовать небо.

Уже больше двух лет я мучительно раздумывал о природе ныне такой знаменитой Крабовидной туманности. Эта туманность оказалась к тому же ярчайшим источником радиоизлучения. Я пытался объяснить это радиоизлучение как «продолжение» её оптического излучения. Никто тогда не сомневался, что последнее сводится к давно уже известному тепловому излучению образующих туманность горячих газов. Именно таким способом излучали все известные тогда астрономам газовые туманности. Увы, мои попытки потерпели фиаско – слишком интенсивным было радиоизлучение Крабовидной туманности, чтобы быть продолжением её оптического излучения.

Временно забыв об оптическом излучении «Краба», я накануне нового, ничего хорошего не сулившего, 1953 года понял природу радиоизлучения этой туманности. Всё дело – в космических лучах, которыми буквально «начинена» Крабовидная туманность! Вернее, в электронах сверхвысоких энергий, которые, двигаясь в магнитных полях туманности, должны излучать электромагнитные волны. Я успел опубликовать эту работу, а потом наступили описанные выше мрачные времена. В эти зимние месяцы мне было не до науки...

И вот 5 апреля, после полудня, я стоял на Пушкинской площади, ожидая трамвая № 17, который должен был отвезти меня в останкинский барак, где я тогда жил. Почему-то трамвая не было очень долго, и от нечего делать я подошёл к газетному стенду, где меня сразу же обожгла очень краткая заметка (хроника): «врачи-отравители» реабилитированы, и все обвинения с них сняты! Никогда не забуду горячей волны радости, которая буквально залила меня, так что я едва не упал. Тут подошёл набитый до отказа мой трамвай, куда я, что называется, «ввинтился». Я висел на поручне в этой немыслимой тесноте, и каждая моя клетка, что называется, пела от счастья. И вдруг молнией пронзила мысль, казалось бы, не имеющая никакого отношения к реабилитированным врачам. «Ведь если нельзя было объяснить радиоизлучение „Краба“ продолжением его оптического теплового излучения, то почему бы не объяснить оптическое излучение этой туманности продолжением её радиоизлучения, имеющего заведомо нетепловую природу? Значит, оптическое излучение „Краба“ тоже нетепловое, оно порождается „релятивистскими“ электронами, но с энергией ещё в сотни раз большей, чем у тех, которые вызывают радиоизлучение!»

Трамвай тащился до Останкина минут 45. Я был в каком-то сомнамбулическом состоянии. За эти 45 минут я в уме выполнил весь теоретический расчёт этого излучения. Приехав домой, я тут же без единой пометки написал статью в «Доклады Академии наук».

Думаю, что это лучшая моя работа. Она вызвала настоящий взрыв дальнейших исследований во многих странах. Круги от этого взрыва расходятся до сих пор.

Дней через десять меня встретила моя знакомая – та самая (!), с ней я все эти три месяца не встречался, и как ни в чём не бывало, улыбаясь, сказала:

– Вот видишь, а ты кипятился! Выпустили же твоих врачей – значит, они невиновны. Это прямо написано в газетах.

Мне нечего было ей возразить.

На заметку в «Правде» московский люд откликнулся незамедлительно. Я собственными ушами в пригородной электричке слышал озорную песню, которая пелась на мотив популярного в те далёкие годы утёсовского шлягера «скучно жить мне, друг Пеструха, в мире одному...». Почти все её слова я запомнил. Вот они:

Прочитал вчера газету – вот что не пойму:

Как понять заметку эту? Кто пойдёт в тюрьму?

Дорогой товарищ Вовси! За тебя я рад.

Ты, как выяснилось, вовсе был не виноват.

Понапрасну ты томился в камере сырой.

Подорвать ты не стремился наш советский строй.

Дорогой товарищ Коган, знаменитый врач!

Ты расстроен, ты растроган – но теперь не плачь.

Ты расстроил свои нервы, кандидат наук,

Из-за суки, из-за стервы этой Тимашук...

Увы, конец песенки выпал из моей памяти. Помню только, что он был очень мажорным. И весь тон её – добрый, сочувствующий, оптимистичный – был для меня подтверждением широты и отходчивости русского национального характера.

Песня была вестником оттепели. Она предвещала наступление эпохи бардов и менестрелей – надвигались звонкие шестидесятые годы. Увы, всё проходит, и эта эпоха уже отошла в прошлое...

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ И «МАЛЬЧИК»

Культ приказал долго жить. Дело было летом 1956 года – хорошее было время! Ещё продолжались раскаты грома, грянувшего в феврале, когда Никита Сергеевич ошеломил весь мир своим секретным докладом о последствиях этого самого «культа», с предельной убедительностью доказав, что на протяжении без малого тридцати лет во главе нашего великого социалистического государства стоял преступник и палач [15](#).

Страна находилась в возбуждённом состоянии, особенно эти вечно чем-то недовольные интеллигенты. Ждали чего-то волнующе-хорошего. Языки развязались, болтали много и прямо. Началась эпоха «позднего реабилитанса».

На фоне всеобщей радости чуть ли не национальный траур переживала Грузия. На первый взгляд это казалось удивительным: ведь при многолетней

тирании Сталина жестоко пострадали сами грузины. С исключительным рвением истреблялись старые грузинские большевики, не говоря уже о весьма многочисленных и активных в первые годы советской власти меньшевиках. Люто расправлялся Коба и с грузинской интеллигенцией. Для Великого Сына Грузинского Народа масштабы его маленькой прекрасной родины были явно недостаточны. Он никогда не был грузинским националистом – был великорусским, как это часто наблюдается среди инородцев (что очень точно подметил в своё время Ленин).

И всё же масса грузинского народа боготворила Вождя. Конечно, на то были и материальные причины – стараниями сталинских холуев (отнюдь не Сталина!) Грузия оказалась в привилегированном положении [16](#). Неудивительно поэтому, что знаменитый доклад Хрущёва вызвал здесь чуть ли не волну народного возмущения. Грузины были, так сказать, оскорблены в своих лучших чувствах. Особенно неистовствовали юнцы: дело доходило до открытых демонстраций, которые, конечно, без излишней нежности разгонялись. Мне потом показывали вмятины от пуль – итог одной такой демонстрации в марте того самого 1956 года, в годовщину смерти Великого Вождя.

Но буря понемногу улеглась – по крайней мере, внешне. И как раз в это время, точнее, в конце лета 1956 года, в Тбилиси состоялся очередной пленум Комиссии по исследованию Солнца. По нынешним временам мероприятие не бог весть какой важности, но тогда этот пленум обставили с необыкновенной пышностью. Хозяева были исключительно предупредительны и даже услужливы. Я впервые испытал на себе знаменитое грузинское гостеприимство.

Научные и квазинаучные заседания по существу были паузами между банкетами. А какие неслыханной вкусноты яства нам подавали! А какие вина! Никогда не забуду изумительного белого манави. Банкетная стихия достигла апогея на Абастуманской обсерватории, куда комиссия прибыла в полном составе. Здесь, равно как и в Тбилиси, всем парадом командовал грузинский астроном номер 1 – Евгений Кириллович Харадзе, нынешний президент Грузинской Академии наук. Более обаятельного и вместе с тем сдержанно-строгого хозяина трудно было даже вообразить. Вообще Евгений Кириллович – умнейший и тончайший человек.

Кроме пищи телесной, гостеприимные хозяева потчевали нас и духовными деликатесами. Нам показали все культурные достопримечательности Тбилиси и его окрестностей. Были и более далёкие экскурсии. Одна из них мне навсегда врезалась в память. Это была экскурсия в Кахетию, в имение великого грузинского просветителя Ильи Чавчавадзе. О нём, о его жизни и значении для становления современной грузинской культуры нам рассказывали на каждом шагу. Тем интереснее было попасть в мемориальный музей, находящийся сейчас в его бывшем имении.

Помимо Евгения Кирилловича и членов местного оргкомитета нас сопровождал экскурсовод – молодой невысокий паренёк. Имение выглядело довольно скромно, и ничего особенного там не было. Я вообще-то не люблю музеи, предпочитая им реальную жизнь, которой в избытке было на тбилисских улицах. Поэтому я не стал слушать объяснений нашего экскурсовода и, оторвавшись от группы, ушёл один в соседние комнаты.

В одной из них я остановился, поражённый. Занимая всю большую стену, там висела огромная, аляповатая картина, написанная маслом. На ней были изображены всего лишь две фигуры. В нижнем левом углу был выписан со всеми аксессуарами большой письменный стол. За столом сидел уже знакомый мне по другим многочисленным музейным портретам толстый и бородатый Илья Чавчавадзе. Вернее сказать, он не сидел, а как бы привстал со своего редакторского кресла, ибо помещение, в котором находился большой стол, изображало редакторский кабинет руководимой Чавчавадзе весьма прогрессивной газеты. Полный восторженного подобострастия взор приподнявшегося редактора был устремлён на юношу, который в необычайно гордой и заносчивой позе стоял перед столом. Этим юношей был Сосо Джугашвили.

«Любопытно, как это произведение искусства будет комментировать экскурсовод», – злорадно подумал я. Ведь не обратить внимания на грандиозных размеров полотно было просто невозможно. Я остался в этой комнате и стал ждать, как развернутся события.

Появилась наша группа. Экскурсовод остановился перед картиной и дал знак моим коллегам-экскурсантам, чтобы они остановились тоже. После этого он медленно и как-то проникновенно сказал:

– Илья Чавчавадзе в своей газете никогда не печатал стихов молодых поэтов. Он всегда говорил: пусть молодой человек возмужает, узнает жизнь – тогда посмотрим! Но когда *этот* мальчик пришёл к нему – он его напечатал!

Экскурсовод и группа ушли в соседнюю комнату, а я остался посрамлённым.

На обратном пути я спросил у Евгения Кирилловича:

– А о чём писал стихи Сталин?

Подумав, Харадзе тихо и торжественно ответил:

– О солнце, о камнях, о море.

Больше я ему вопросов не задавал.

Много лет спустя мне рассказали, что в одном из неопубликованных писем Чавчавадзе содержится несколько другая версия встречи, эффектно изображённой местным мастером кисти. Великому грузинскому просветителю стихи юноши не понравились по причине их полной бездарности, о чём он прямо сказал в лицо будущему Лучшему Другу Всех Поэтов.

– Но что же мне делать? Чем заняться? – растерянно спросил Сосо.

– Займитесь чем-нибудь другим – ну, например, политикой.

Можно только догадываться, что было бы, если бы юноша не послушался столь неосмотрительно данного ему совета...

МОЙ ВКЛАД В КРИТИКУ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Ровно 20 лет назад, в июне 1961 года, в Боржоми должна была начаться, а закончиться в Ереване Всесоюзная конференция по космическим лучам. Что и говорить, тогда научные конференции устраивали с размахом... Лететь мне надо было обязательно: во-первых, это было здорово интересно в чисто

туристическом отношении – я очень люблю бывать в Грузии и Армении, а во-вторых, я должен был выступить там с докладом о некоторых астрономических аспектах проблемы происхождения космических лучей.

Как это часто бывает, накануне отлёта меня одолевали мелкие, но неотложные дела. Хотя самолёт на Тбилиси вылетал в 11 часов, в это утро мне ещё пришлось заниматься какой-то мутью, так что я не смог даже позавтракать. Еле успев схватить на улице весьма подозрительные пирожки, я чуть было не опоздал на свой рейс и, только когда застегнулся ремнями в кресле самолёта, вздохнул с облегчением. Дальнейшие события, однако, показали, что этот вздох был, увы, преждевременным... Кроме меня в этом же самолёте на конференцию летели ещё несколько человек, среди них два выдающихся деятеля нашей науки – Б. М. Понтекорво и С. Н. Вернов. Именно по этой причине наш рейс особенно торжественно был встречен грузинскими физиками – членами местного оргкомитета. В аэропорту уже ожидала «Волга», на которую грузины посадили того и другого, прихватив заодно и меня. У здания Тбилисского университета нас уже ожидали несколько автобусов и толпились участники конференции.

Гостеприимные хозяева предложили мне место в той самой «Волге», которая доставила нас из аэропорта и, не дожидаясь автобусов, прямо отправлялась в Боржоми. Я, однако, совершенно не выношу сколько-нибудь длительных контактов с любого вида начальством, поэтому в самой что ни на есть вежливой форме отклонил это лестное предложение. Мне было куда приятнее отправиться в Боржоми «на общих

основаниях», в компании с весёлыми молодыми физиками.

Через полчаса я уже сидел в автобусе на очень хорошем месте – сразу же за водителем, у окна. Моим соседом оказался профессор физического факультета МГУ Яков Петрович Терлецкий – личность малоприятная и к тому же, как поговаривали, давнишний тайный сотрудник «Министерства Любви». Сзади шумно уселись молодые физики, преимущественно ленинградцы, мне незнакомые. Сразу же кто-то из них стал играть на гитаре, и пошло пение – главным образом из модного туристского репертуара.

Здесь необходимо сказать, что я уже давно чувствовал себя неважно – подташнивало и вообще было не по себе. И хотя я очень люблю такие весёлые дальние поездки, на этот раз веселящиеся молодые люди как-то раздражали. Я никак не мог разобраться в происхождении своего скверного самочувствия, пока острая резь в желудке совершенно недвусмысленно всё объяснила: проклятые пирожки! Очень скоро дорога на Боржоме превратилась для меня в путь на Голгофу.

Насколько мне известно, в мировой литературе отсутствует описание переживаний человека, очутившегося в столь незавидном положении. Своим слабым пером я попытаюсь восполнить этот существенный пробел. Непереносимые спазмы, когда нечеловеческим напряжением соответствующих внутренних органов я на самом пределе сдерживался, чтобы не осрамиться перед всеми пассажирами автобуса, а следовательно, перед всем учёным и неучёным миром, накатывались периодически. Выдержав такой чудовищной силы удар, я, покрытый холодным потом,

тупо смотрел в окно на мелькавший довольно убогий, а главное – безлесный! – пейзаж этой части Грузии. Отсутствие растительности даже в форме кустов делало невозможной просьбу остановить машину, так сказать, по требованию. Я уже не говорю о том, что сам факт остановки автобуса привлёк бы к моей персоне ненужное внимание симпатичных пассажиров (и пассажирок!). Я сейчас затрудняюсь оценить временные промежутки между приступами, каждый из которых мог стать катастрофическим. Время для меня остановилось, а силы слабели. Похоже было, что жизнь моя кончилась, и притом самым позорным образом. Боже мой, за что, за что такое наказание? Впрочем, наверное, было за что, ибо аз многогрешен.

В таком состоянии я, уже без всяких мыслей, глазами, полными слёз, смотрел на убегающий ландшафт, как вдруг!.. неожиданно мелькнул белокаменный указатель, на котором было написано: «До Гори 10 км». И тут мой измученный мозг стал лихорадочно работать. Такое может произойти с человеком, который подвергается смертельной опасности. Мгновенно возникла цепочка отрывочных мыслей. Вот эта цепочка: Гори, родина Сталина. Должен быть мемориальный музей. Обязательно должен быть! Остановить, во что бы то ни стало остановить автобус под предлогом осмотра этого музея! А там, конечно же, должно быть вождеделённое заведение, которое мы, студенты старого МГУ, называли «филиал 71-й аудитории».

Собрав жалкие остатки сил, я с деланной небрежностью сказал:

– А не воздать ли нам, ребята, дань культу? Сейчас будет Гори – предлагаю остановиться и посетить мемориальный музей Сталина.

– К чёрту, поехали дальше! – раздались молодые голоса пассажиров «галёрки».

Этого ещё не хватало! Неужели придётся погибать по причине доклада тов. Хрущёва на XX съезде КПСС? «Ещё одна жертва культа», – мелькнула в голове жалкая острота. Помощь пришла от моего соседа справа, то есть Терлецкого. Он энергично поддержал меня (сам, по-видимому, боялся быть инициатором – время было смутное, и прогноз на будущее никто не решился бы дать). Так как мы с Терлецким были в некотором роде «старшими товарищами», то наше объединённое желание приобрело как бы характер настойчивой рекомендации, и шофёр, не знавший, где в Гори находится мемориальный музей (это знает каждый грузин, но – о, проклятие – наш шофёр был армянин и Сталина ненавидел), стал расспрашивать дорогу у прохожих – мы уже ехали по городу. Медленный дрейф нашего автобуса по узким улицам родины Вождя резал меня без ножа. Теперь я понимаю, что, пока мы подъехали к музею, прошло не более пяти минут, но мне они показались вечностью.

Автобус остановился перед очень низкой (до пояса) каменной оградой мемориального музея, и пассажиры высыпали на тротуар. Быстрее всех, конечно, из машины выскочил я, благо сидел удачно. Потребовались считанные секунды, чтобы обежать довольно значительную территорию по периметру каменного забора. Вдоль улиц, с четырёх сторон окружающих святыню грузинского народа, слонялись многочисленные

праздные бездельники. Я забыл сказать, что погода на протяжении моего скорбного пути из Тбилиси в Гори была солнечная, хотя временами мы пересекали полосы косого дождя. Необходимо ещё сказать об общей планировке музея. Посредине территории под каменным шатром стоит крохотная лачуга с двумя входными дверьми. Одна ведёт в убогую комнату сапожника Джугашвили, вторая – в такие же апартаменты хозяина этой лачуги, у которого родители Корифея Всех Наук снимали комнатку. На некотором расстоянии от этой лачуги высилось довольно безвкусное каменное трёхэтажное здание самого музея.

Теперь я перехожу к кульминации этой трагикомической истории. Обежав всю территорию мемориала, я, к своему ужасу, убедился, что того, что я искал и ради чего затеял этот идиотский визит к треклятому месту, нет! Я понял, что всё кончено. Свет померк в моих глазах. А через мгновение до меня дошло, что освещённость действительно сильно уменьшилась. Ибо Бог Авраама, Исаака и Иакова, видя невыносимые мучения сына избранного им многострадального народа, сотворил чудо. Внезапно полнеба закрыла чернющая туча и разверзлись хляби. Всё это произошло за время, заведомо меньшее, чем три минуты, которые некогда потребовались Ему для создания Вселенной. Только что над горизонтом сияло предвечернее солнце, и вдруг, в считанные минуты, оно затмилось, а толпу праздношатающих буквально сдуло ветром и смыло дождём. То же самое, естественно, произошло и с моими спутниками. Короче говоря, чудо было сработано по традиционному библейскому сценарию!

И как раз в тот самый момент, когда силы мои были полностью исчерпаны, я едва успел добежать до

единственного укрытия – каменного шатра, где и совершил неслыханное кощунство у двери комнаты, где за 82 года до этого увидел свет маленький Сосо.

Совершенно счастливый, испытывая блаженную лёгкость, под проливным дождём, мокрый до нитки, я не спеша шёл к автобусу. По-видимому, моё поведение со стороны выглядело несколько странно, потому что высунувшийся из окна автобуса Терлецкий ехидно крикнул мне:

– Что же вы, Иосиф Самойлович, идёте такой неторопливой, профессорской походочкой?

– А мне уже некуда спешить, Яков Петрович! – блаженно улыбаясь, ответил я ему.

Весь остаток пути я провёл как бы в состоянии нирваны. Постепенно, как говорят, «перед моим умственным взором» вырисовалась трансцендентность и некая фантасмагоричность моего поступка. Я с эпическим спокойствием представил себе, как разъярённая неслыханным кощунством фанатичная толпа совершает надо мной суд Линча. Совершенно уверен, что так оно и было бы, если бы хоть один гориец увидел бы это – но этого никто не увидел. Не было даже элементарной охраны святыни: не забудем, что сам культ находился в глубочайшем минимуме. Перестав быть вселенским, он ещё не стал локальным, грузинским культом, как это имеет место последние 10-15 лет.

Постепенно, однако, в моём сознании росло чувство, созвучное чувству глубокого удовлетворения, – ведь моё отношение к одному из величайших извергов в истории человечества давно уже определилось. Я живо вспомнил ту острую ненависть, какую всегда питала к Сталину моя незабвенная мать – простая неграмотная женщина. Когда

я, желая умерить её слишком громкие проклятия в адрес Вождя Народов (кругом было полно соседей, могли донести), рассказал ей притчу Анатоля Франса о сиракузской старухе и тиране Дионисии, она задумалась, а потом очень серьёзно сказала:

– Нет, сынок, твой француз не прав. Хоть гиришь, да инший!

Помню, как меня тогда поразила мамина интерпретация забытой украинской пословицы.

Через неделю боржомская часть конференции закончилась, и её участники поехали в Ереван. По дороге я всё-таки остановился в Гори и опять посетил мемориальный музей – ведь, как известно, преступника всегда тянет на место преступления... В спокойной обстановке, не торопясь, я со смешанным чувством рассмотрел это учреждение. Прежде всего мною было обнаружено, что заведение, которое я так мучительно искал, находится не во дворе, как это почему-то представлялось моему воспалённому сознанию, а внутри музея (справедливости ради должен отметить, что оно сияло чистотой и комфортом – величайшая редкость для солнечной Грузии). После этого я занялся детальным осмотром музея.

Сама экспозиция довольно убогая и состоит преимущественно из разного рода копий и огромных аляповатых картин и олеографий. Меня поразила фотография отца Сосо – Виссариона Джугашвили, прикрепленная к двери их убогого жилья. Находящаяся рядом фотография матери, Екатерины Джугашвили, была мне давно знакома, а вот фотографию отца я увидел впервые. Бог ты мой, что за знакомое лицо! Где же я его видел? Приглядевшись внимательно (все же я

несостоявшийся художник-портретист), я понял причину необычного впечатления, производимого этой фотографией. Это была малоизвестная фотография самого Сталина в молодости, довольно грубо отретушированная. Фальсификаторы приделали ему бороду и напялили картуз, который явно был Вождю не по размеру.

Среди крайне малочисленных подлинных экспонатов меня поразила переписка Сталина с дочкой Светланой; несомненно, он её любил. Письма, адресованные девочке (он обращался к ней «моя хозяйнышка»), Сталин подписывал: «твой секретаришка». По-моему, было бы лучше «генеральный секретаришка». С годами письма писались всё реже, а их содержание становилось всё суше. Последнее письмо, вернее записка, вызвано рождением Светланой сына. Там есть такие запомнившиеся мне строчки: «...не огорчайся, что родила семимесячного. Государству нужны новые граждане, в том числе и недоношенные». Я очень был удивлён, почему последняя фраза не украшала фронтоны всех родильных домов нашего обширного отечества. В прошлом, 1980 году я в третий (!) раз посетил мемориальный музей в Гори. Экспозиция стала ещё беднее, так как, естественно, переписки со Светланой уже не было...

Возвращаясь мысленно к тому давнему «горийскому эпизоду», я всякий раз приходил к таким понятиям, как рок, судьба и даже божий промысел, – понятиям, в обычной жизни чрезвычайно далёким от меня, так как я занимался и занимаюсь науками физико-математическими. Но мне иногда начинает

казаться: а не был ли я в тот злополучный день всего лишь слепым орудием этого самого промысла?

ЛЁША ГВАМИЧАВА И РАББИ ЛЕВИ

Это случилось во время пражского конгресса Международной астронавтической федерации (МАФ) в конце сентября 1977 года. На этот раз советская делегация была весьма многочисленной – включая туристов, что-то около 100 человек. Поселили нас на окраине Праги в большом отеле «Интернациональ». Мы ещё не успели разместиться по номерам, как на меня накинулся глава нашей делегации председатель Интеркосмоса Борис Николаевич Петров (в прошлом году его угробила-таки наша печально знаменитая в этом смысле Кремлёвка), а также вновь испечённый академик Авдучевский и кто-то ещё. Они пылали благородной яростью по поводу моей только что опубликованной в «Природе» статьи «20 лет космической эры», где я обосновывал несколько парадоксальный тезис, что величайшим достижением этой самой эры явилось то, что ничего принципиально нового в Космосе не было открыто. Указанное обстоятельство блистательно подтверждает *правильность* тех представлений о Вселенной, которые были накоплены трудом нескольких поколений астрономов. Гнев наших космических деятелей был мне, конечно, понятен, но настроение они мне испортили изрядно.

Желая как-то рассеяться, я предложил проехаться в центр Праги небольшой группе членов нашей делегации,

впервые оказавшихся в этом прекрасном городе. Мы были совершенно свободны, так как конгресс начинал работать только на следующий день. Отправились трамваем, которого довольно долго ждали на конечной остановке напротив нашего отеля. Другого транспорта здесь не было.

Перед этим я был в Праге два раза – в 1965-м и в 1967-м. Мне особенно памятен был первый визит, когда я после 18-летнего перерыва достиг «1-й космической скорости» [17](#). Между 1947 годом, когда я впервые в жизни поехал за рубеж (да ещё какой – в Бразилию!), и 1965-м я много десятков раз оформлялся на разные научные конференции, конгрессы – и всё безуспешно. По-видимому, где-то в тайных канцеляриях «Министерства Любви» лежала некая «телега», которая делала мои жалкие, хотя и настойчивые, попытки принять участие в международной научной жизни совершенно несостоятельными. За эти годы я сделал немало работ, получивших международную известность, поэтому меня почти всё время приглашали, причём на самых выгодных для нас условиях. Боже, что может сравниться с унижительным состоянием человека, десятки раз понапрасну заполняющего оскорбляющие человеческое достоинство выездные анкеты! С трудом преодолевая естественное чувство тошноты и гадливости, я упрямо писал эту мерзость опять и опять – и каждый раз с нулевым результатом. В конце концов – ведь есть же всему предел – я уже был готов плюнуть на эту странную затею – пытаться общаться с зарубежными коллегами. Как вдруг в столовой МГУ со мной заговорил почти незнакомый мне человек, который весьма вежливо спросил, над чем я работаю. Только что без малейших

перспектив заполнив очередную выездную анкету, я мрачно буркнул:

– Занимаюсь своим хобби – безнадежно оформляю очередное выездное дело.

– Зайдите ко мне завтра – я работаю в иностранном отделе МГУ.

Я зашёл, и уже через три дня ехал поездом Москва-Прага. Мой благодетель подключил меня к какому-то мероприятию, позвонил кому-то – и всё было решено. Много раз меня уже приглашали чешские коллеги прочитать на Онджеевской обсерватории несколько лекций – и я наконец их прочитал.

После этого в течение шести лет я довольно часто ездил за рубеж, чему способствовало избрание моей персоны в Академию наук. Три раза был в Штатах, столько же – во Франции. Но поездка в Прагу в 1965 году навсегда останется в памяти как один из волнующих эпизодов в моей жизни.

Совершенно неожиданно для меня поезд на Прагу имел четырёхчасовую остановку в Варшаве. Все пассажиры высыпали из вагонов, и я в том числе. Что меня могло интересовать в польской столице? Ведь даже одного златого в моих карманах не было. Было, однако, одно место, единственное место, где я *обязан* был побывать. Но как его найти? И случилось чудо: поезд остановился на Гданьском вокзале, близко от центра Варшавы. Я прошёл под каким-то виадуком и в далёкой перспективе проспекта увидел нелепо большое здание Дворца культуры и науки, почти полностью копирующее московское творение Л. В. Руднева – Университет на Ленинских горах.

«Значит, этот проспект – Маршалковская», – догадался я.

Самое удивительное – я ни у кого из сновавших взад и вперед варшавян не спросил ни слова. Молча шёл я по правой стороне проспекта, даже не имея представления, где может находиться цель моей прогулки. Спрашивать поляков я просто не мог – как будто разучился разговаривать.

Я шёл по проспекту не дольше пяти минут и вдруг прочитал название пересекающей его узкой улочки. Она носила имя *Мордухая Анилевича* – этого имени, к стыду моему, я тогда не знал, но стало ясно, что я иду верной дорогой. Круто повернув на эту улочку, я быстро упёрся в небольшую площадь, посреди которой темнело сооружение, издали смахивающее на куб. Это поразительно, что, ни у кого не спрашивая, я шёл к этой площади кратчайшим путём. Я подошёл ближе – с четырёх сторон на мраморном кубе выделялись горельефы, изображающие моих уничтоженных на этом месте соплеменников. Надпись на кубе была на двух языках. Я разобрал польскую: «Народ жидовский – своим героям и мученикам». По-видимому, на иврите надпись звучала более патетически. Польская надпись мне понравилась, она с предельной краткостью выражала суть дела.

Я сел на каменную скамью и просидел так 35 часа – куда мне ещё было идти в этом чужом городе с такой страшной судьбой? Поражало безлюдье площади – лишь изредка сюда прибегали стайки детишек, играть во что-то похожее на наши «классы». Жизнь Варшавы шумела где-то за этой площадью, около 20 лет назад расчищенной от руин гетто. Раньше это место

называлось «Налевки». Кстати, узнать бы, что это слово означает по-польски? До отправления моего поезда оставалось 15 минут, и я вынужден был уйти от этого куба и от этой пустынной площади, где не осталось даже запаха гари от страшного своей безнадёжностью восстания варшавского гетто, вспыхнувшего на пасху 1943 года. Эти четыре часа, равно как и последующие, я не произнёс ни одного слова.

А Прага в ту весну 1965 года была просто чудесной. Я долго бродил по этому удивительному городу, впитывая в себя непередаваемый аромат старины. Полной неожиданностью для меня были еврейские древности в самом центре чешской столицы, в пяти минутах ходьбы от Староместской площади. На старом кладбище в невероятной тесноте лежат надгробия XIV-XVI веков, они никак не ориентированы – древние камни торчат вкривь и вкось, и кажется, что лежащие там мертвецы о чём-то спорят исступлённо и фанатически, о чём-то для них очень важном. При жизни, видать, не доспорили... Я не могу понять почему, но это кладбище, на котором я бываю каждый раз, когда посещаю Прагу, представляется мне символом моего народа и его нелёгкой судьбы.

Рядом с кладбищем – музей, где собрана редчайшая утварь старых синагог, не только чешских, но и всей Европы. Я никак не мог понять, почему это не было уничтожено немцами – ведь всё, что имело отношение к евреям, начиная с самих евреев, безжалостно уничтожалось. Все киевские, минские и вообще все синагоги в оккупированной Европе были сровнены с землей. Еврейские кладбища были перекопаны. А тут, в самом центре Европы, – извольте видеть – всё неприкосновенно! Разгадка простая и страшная: во время

наисекретнейшей конференции в Ваннзее в начале 1942 года, где с немецкой скрупулёзностью были запротоколированы все технические детали «окончательного решения еврейского вопроса – Endlösung'a (дислокация лагерей уничтожения, производство газа „Циклон-В“, подготовка кадров палачей, транспортные проблемы, связанные с депортацией, и многое, многое другое), был принят параграф, гласивший: после Endlösung'a учредить в Праге музей, куда свезти со всей Европы раритеты этого народа, чтобы будущие поколения учёных-этнографов с благодарностью вспоминали предусмотрительность германского командования. Что и говорить, немцы – культурная нация, не какие-нибудь дикари! И специальное ведомство, находящееся в подчинении у самого Розенберга, тщательно обирало синагоги по всей оккупированной Европе.

Потрясённый причиной сохранности этих древностей и сам чувствуя себя музейным экспонатом, я долго смотрел на золотые семисвечники и алтарные, шитые золотом покрывала. В музее никого, кроме меня, не было, и пожилая, высохшая немка давала мне соответствующие пояснения. Я спросил у неё, каково происхождение слова «голем», означающее гигантского робота, по преданию, изготовленного в XVI веке великим мудрецом, современником Тихо Браге, рабби Леви (см. неплохой чешский фильм «Пекарь императора», шедший у нас лет 20 тому назад). Немка стала что-то бормотать, мол, есть несколько версий, объясняющих происхождение этого слова, но точного объяснения нет. И в этот самый момент меня осенило – я понял происхождение этого загадочного слова! Из глубины памяти выплыла картинка из далёкого детства. Когда я

по неловкости совершал мелкую «шкоду», например, разбивал чашку, мама, с досадой всплеснув руками, привычно обзывала меня: «Лэйменер гейлом!». Гейлом – вот оно в чём дело! Гейлом – это и есть таинственный «толем». На древнееврейском это слово обозначает: «идол». «Лэйменер гейлом» – буквально «глиняный идол» – часто применявшаяся в еврейских семьях резкая «дефиниция» для растяп и неуклюжих, всё портящих и ломающих. Конечно, для средневековых евреев творение рабби Леви смотрелось как предмет религиозного поклонения, как *идол*. С немкой я своими историко-филологическими изысканиями не поделился.

Вот какие мысли проносились у меня в голове, пока трамвай вёз нас, участников конгресса МАФ 1977 года, через всю Прагу.

«Пожалуй, она стала заметно хуже», – думал я. Впечатление, как от заброшенной стройки. Особенно портил городской пейзаж пражский аналог наших строительных лесов – ржавые тонкие трубы, оплетающие ремонтирующиеся здания. Было на этих стройках безлюдно и как-то очень неуютно. Любимая Староместская площадь тоже была вся опутана каркасами ржавых труб.

Как старый «пржак», я показал своим спутникам знаменитые часы на ратуше с выходящими из оконца апостолами, за которыми чинно двигалась смерть с косой. Потом в соборе мы долго стояли у могильной плиты, под которой лежит Тихо Браге. Однако знаменитой автоэпитафии: «Жил как мудрец, а умер как глупец» мы почему-то не углядели. Я объяснил происхождение этого грустного изречения (великий астроном смертельно заболел на придворном балу,

постеснявшись своевременно сходить в туалет – сомневался, позволяют ли это придворные правила...). А потом мы пошли на старое еврейское кладбище. И тут только я обратил внимание на невыразимо-страдальческий вид одного из членов нашей группы – молодого, очень симпатичного Лёши Гвамичавы, ближайшего помощника Коли Кардашева по изготовлению космического радиотелескопа КРТ-10.

– Что с вами, Лёша? – спросил я.

– Зуб, – только и мог прошептать бедный парень.

Это надо же! Впервые выехал за границу – и такое невезение! Как же быть, неужели пропадать?

И вдруг меня осенила идея, которую я могу смело назвать великолепной! Мы как раз подходили к центральной части кладбища, где находился большой склеп рабби Леви. Я объяснил соотечественникам, чем был знаменит этот служитель древнейшего монотеистического культа.

– Есть поверье, связанное с могилой рабби Леви. Если изложить в письменном виде какую-нибудь просьбу, а записку сунуть в эту щель, – говорят, просьба исполняется. Не обратиться ли вам, Лёша, к рабби насчёт своих зубов?

Раздался смех. А Лёша только спросил:

– На каком языке лучше писать – на русском или на грузинском?

– Пишите на грузинском. Полагаю, что это будет единственная записка на столь необычном для средней Европы языке, поэтому она сразу привлечёт к себе внимание тени великого каббалиста.

Лёша вырвал из блокнота листок и стал что-то писать, после чего присоединил свою писульку к сотням бумажек, буквально выпиравших из щели склепа. Мы же все пошли дальше, к синагоге, стены которой покрыты каллиграфически выполненными фамилиями 147 000 чешских евреев, уничтоженных немецкими фашистами. Эту титаническую работу проделал один сошедший с ума художник, у которого в газовых камерах лагеря Терезин погибла вся семья. Увы, значительную часть надписей смысла непогода; дало себя знать и естественное разрушение – особенно в нижней части стен...

Вдруг я почувствовал, что в моей чуткой аудитории что-то изменилось. Я не сразу понял, в чём дело. До меня смысл случившегося дошёл только тогда, когда я увидел сияющие глаза Лёши, смотревшие в сторону от того невесёлого места, где мы были.

– Что, Лёша, перестал болеть зуб? – уверенно спросил я.

– Как рукой сняло. Это случилось внезапно, пять минут назад.

Вот какое чудо сотворил почтеннейший рабби! Десять дней шёл конгресс, мы с Лёшей вместе сделали доклад по КРТ, выступали в многочисленных дискуссиях. Лёша всё это время был как огурчик. Конгресс кончился, и мы все на пражском аэродроме ожидаем посадки на наш ИЛ-62.

И тут ко мне подходит Лёша – и такой жалкий, что смотреть на него было невыносимо.

– Зуб, – простонал бедняга.

– Ничего не попишешь, Лёша. Чары рабби Леви на территорию международного аэропорта не

распространяются. Единственное, что я могу вам посоветовать, – прямо из Шереметьева поехать в поликлинику.

Так он и сделал. Это подлинная история, случившаяся в славном городе Праге 28 сентября 1977 года в присутствии дюжины свидетелей. Полагаю, что её можно объяснить в рамках современной медицинской науки (самовнушение и пр.). А впрочем, бог его знает...

ПАРИЖ СТОИТ ОБЕДА!

Пожалуй, самые счастливые годы в моей жизни – 1966—1968. Начну с того, что 1 июля 1966 года, в день своего пятидесятилетия, я был (с пятой попытки) выбран в Академию наук. После безвыездного сидения (18 лет!) меня наконец-то стали пускать за границу на предмет общения с себе подобными. За один только 1967 год я побывал: зимой в Америке, в мае в Париже (боже мой, это была моя первая поездка в город, лучше которого нет на свете!), а в августе в Праге – на международном астрономическом конгрессе, где было столько незабываемых встреч! Казалось, после длительного анабиоза жизнь стала расстилаться передо мной ковровой дорожкой. И вдруг, уже на самом излёте этого удачнейшего года, я оказался в больнице Академии наук. Но счастливая полоса тянулась за мной, как шлейф, – мне и в больнице с моим первым инфарктом было хорошо и – я не боюсь этого сказать – весело! Меня – слабого и беспомощного – любили хорошие люди, и я это остро чувствовал. Ко мне приходило много друзей, может быть, даже слишком много! Особенно когда я пошёл на

поправку. Неожиданно среди моих знакомых оказалось немало инфарктников, и все они наперебой давали советы и рекомендации касательно моего постинфарктного существования. Увы, советы эти отличались однообразием и всегда начинались приставкой *не*. Слушая это обилие запретов, я приходил в отчаяние и понимал, что жизнь кончилась. К счастью, я ошибался.

Как-то раз пришёл знакомый математик Сергей Фомин. Он был на год моложе меня и уже к тому времени перенёс два инфаркта. Выглядевший весьма бодро, «обмениваясь опытом», он стал зудеть то же, что и прочие советчики. Видя, как я сразу же поскуchnел, умница Серёжа резко оборвал своё занудство и сказал:

– А в общем, жить можно. К слову, я расскажу тебе о карьере одного деятеля, которого наблюдал с близкого расстояния, когда работал в системе КГБ. Так вот, этот тип в рекордные сроки сделал там неслыханную карьеру – от майора до генерал-майора. Будучи весьма ограниченным чиновником, он на всякого рода собраниях и совещаниях произносил только одну из двух фраз: а) «Не надо усложнять!» и б) «Не будем упрощать!». На этой основе он приобрёл прочную репутацию надёжного, весьма положительного человека и глубокого мудреца и рос как на дрожжах. Так вот, – закончил Сергей, – я могу тебе, в твоём нынешнем положении, сказать то же самое: с одной стороны, не надо усложнять, с другой – не будем упрощать!

Это мудрое правило глубоко запало мне в душу, и до сих пор я стараюсь неукоснительно ему следовать.

В конце марта я выписался из больницы, а в начале лета мне позвонили из Советского комитета ЮНЕСКО:

– В августе во дворце ЮНЕСКО в Париже состоится конференция «круглого стола», посвящённая проблеме: «Разнообразии культур при наличии общности технологического прогресса». Устроитель конференции профессор Поликаров просит вас прореферировать несколько докладов.

– Присылайте доклады, разберусь, – сказал я.

Действительно, через несколько дней я получил довольно толстый пакет с перенасыщенными мутной водой машинописными рукописями преимущественно на непонятном мне французском языке. И вот тут мне в голову пришла счастливая мысль. «А почему бы мне самому туда не поехать? Давненько я не бывал в Париже, уже целый год...» Я набрал номер телефона Советского комитета ЮНЕСКО и небрежно сказал звонившему мне чиновнику:

– Я получил материалы конференции. Увы, в них совершенно не представлена космическая тема!

– Это нехорошо, ой как нехорошо! Как же быть?

– Пожалуй, я мог бы поехать и зачитать доклад!

– О'кей! Я вас быстренько оформлю.

До начала конференции оставалось менее двух месяцев, и я выразил сомнение, удастся ли в такие сжатые сроки оформить моё выездное дело.

– Это вам не Академия наук! Кстати, вы бывали в капстранах? – осведомился деятель ЮНЕСКО. – Ну тогда всё в порядке, можете не сомневаться!

И я действительно совершенно нахально не сомневался, абсолютно веря в свою счастливую звезду.

Между тем московское лето протекало обычным порядком. Я, конечно, не утруждал себя чтением присланных неведомым мне Поликаровым материалов. Что касается моего доклада, то я решил просто использовать рукопись находившейся тогда в печати в «Вопросах философии» статьи, не удосужившись даже перевести её. Смущало, правда, полное незнание французского языка и слишком уж скромные познания в английском. «Не беда, как-нибудь выкручусь», – думал я, усматривая перст судьбы в том, что устроитель конференции, доктор философии с болгарской фамилией, судя по теме – питомец Московского университета.

Как-то раз, отдыхая на даче у моего брата, я боковым зрением увидел зашедшую на участок соседскую дочку. «Это Лена, – подумал я, – она, кажется, преподаёт где-то французский язык». И тут же спросил её:

– Леночка, как будет по-французски «не надо усложнять»?

– Иль не фо па комплике, – удивлённо ответила она.

– А «не будем упрощать»?

– Иль не фо па симплифье, но зачем это вам?

– Надо, – не вдаваясь в подробности, ответил я, записывая русскими буквами французский перевод фраз, обеспечивших карьеру неизвестному мне кагэбэшнику. Эти же фразы должны были выручить и меня, решил я и, как показали дальнейшие события, не ошибся.

Между тем близился день отъезда. Всё шло совершенно тривиально, совсем как в нашей милой Академии наук. Конечно, разрешения не было. Я как

идиот сидел «с вымытой шеей» три дня у своего домашнего телефона. Деятель ЮНЕСКО весьма удивлялся молчанию Директивных Органов и говорил, что такого на его памяти не было. Я только потом понял, что Директивным Органам было не до моей персоны: это было начало августа 1968 года – канун чехословацких событий. Потеряв надежду, под вечер третьего дня своего глупейшего ожидания я, в который уже раз, позвонил своему чиновнику.

– Ничего нет, увы. Извините нас. Я должен через полчаса уезжать, а завтра ждать уже бессмысленно.

Вот тебе и Париж, идиотина! Много захотел... И вдруг через 10 минут – звонок, и мой чиновник спокойно говорит:

– Только что пришло разрешение. Вам надо немедленно хватать такси и ехать в кассу «Метрополя» за билетом. Самолёт в Париж завтра в 8 утра. Касса закрывается через 40 минут. Успеете – ваше счастье. Заграничный паспорт получите у постового милиционера в комитете ЮНЕСКО – здесь уже никого не будет, рабочий день кончился.

Я успел крикнуть в телефонную трубку:

– А как же деньги? Деньги – франки?

– Увы, я не мог выписать вам аттестат. Получите валюту в ЮНЕСКО. Я позвоню туда по телефону вечером.

Я стремительно выбежал из квартиры. О, счастье – прямо у дока стояло свободное такси. Не без труда я нашёл билетную кассу в холле гостиницы «Метрополь». Касса представляла собой рундучок, где обычно торгуют небогатой продукцией Союзпечати. Кассирша его уже запирала. Было довольно дико сказать ей: «Мне бы билет

в Париж». Она не удивилась, хотя для порядка поворчала. И вот билет в кармане. Чудесный московский летний вечер. Центр города, где я почти не бываю, показался мне особенно красивым. Не торопясь, пешочком, наслаждаясь жизнью, я прошёл до проспекта Калинина, где напротив Военторга в маленьком особнячке находится Советский комитет ЮНЕСКО – одно из многочисленных столичных учреждений класса «не бей лежачего». Странно было мне спрашивать у постового милиционера иностранный паспорт. Без тени удивления он выдал мне вождеденный документ, взамен которого я стал ему тыкать свой советский паспорт. Он не взял его – «не имею указаний». И вышел я из подъезда симпатичного домика с двумя паспортами. А на следующее утро уже был в аэропорту Ле Бурже. Радость – неизменная спутница всякого нормального советского человека, временно покидающего свою свободную родину, – была омрачена полным отсутствием в карманах даже самой мелкой французской монеты и неясностью ближайшего будущего.

Я до сих пор не понимаю, как в толпе прилетевших пассажиров меня заметил человек, который сразу же подошёл ко мне и уверенно сказал:

– Товарищ Шкловский будете?

Кстати, я его тоже ещё издали выделил в толпе встречающих. Мой благодетель оказался шофёром советского представительства ЮНЕСКО, он и доставил меня в «Пале». Встретил меня в советском представительстве, расположенном в двух небольших комнатках двухэтажного флигеля (там каждая держава занимает одинаково убогую площадь), представитель Белорусской ССР при ЮНЕСКО В. С. Колбасин. Бывают же

такие синекуры! Я попросил устроить меня в самый дешёвый отель и чтобы деньги платить не сразу. Подходящий отель оказался как раз вблизи Пале-ЮНЕСКО. В таких мебелирашках мне ещё не приходилось обитать. Комнатка метров восемь имела форму трапеции. По крайней мере половину площади занимала довольно монументальная кровать. Ни о каких «удобствах», конечно, не могло быть и речи.

Управившись с неотложными делами и оставив свой тощий чемоданчик в номере, я пошёл в гигантский дворец ЮНЕСКО. Не просто было новичку найти в его лабиринтах помещение, где уже четвёртый день заседала интересующая меня конференция «круглого стола». Это удалось сделать при посредстве секретарши болгарского представительства, в которую я буквально вцепился мёртвой хваткой. Я не рискнул сразу же войти в зал и попросил её вызвать доктора Поликарова. Тот оказался обходительным, круглым человечком, превосходно говорившим по-русски: мой расчёт оказался правильным – он, конечно, окончил философский факультет МГУ! Поликаров очень мне обрадовался и ввёл в зал заседаний. И тут я получил тяжёлый удар! Я ожидал попасть на более или менее обычную конференцию с парой сотен разноцветных участников, среди которых рассчитывал раствориться. Велик же был мой ужас, когда в небольшом зале за действительно круглым, правда, довольно большим, столом я увидел... всего лишь восемь человек! Каждый был на виду у каждого. Кресло с напечатанной на спинке моей фамилией пустовало уже четвёртый день, дожидаясь своего хозяина. Я сел, лихорадочно соображая, как бы выпутаться из идиотского положения с минимальными потерями. Сидя на председательском месте, речь держал

огромный негр. На спинке кресла было написано: «Нигерия».

– Биафра? – демонстрируя эрудицию, спросил я у соседа-американца.

– Что вы, какая Биафра – Лагос.

И вдруг нигериец стал часто-часто упоминать мою фамилию, явно приглашая меня с ходу произнести речь. Конечно, ни о какой речи не могло быть и речи! Но что делать? Мой рыскающий взор остановился на маленьком японце, которого, как я понял, профессионалы-трепачи, собравшиеся за этим круглым столом, совершенно затёрли. И тут же пришла спасительная идея:

– В этом году исполнилось ровно сто лет со времени революции Мейдзи, – сказал я. – Было бы очень интересно в этой связи, чтобы наш японский коллега осветил вопрос о взаимоотношении традиционной японской культуры и того бурного технологического развития, которое за это время претерпела его родина.

Японец, д-р Лео Эйсаку, радостно что-то зачирикал – видно было, что надолго, дорвался, голубчик! Я же получил тайм-аут. Решив углубить наметившийся контакт с соседом-американцем, я сказал ему, что сидящий напротив нас представитель ФРГ выглядит, на мой взгляд, странновато.

– Ещё бы, – прошептал американец. – Он еврей. Кстати, я тоже.

Дальнейший анализ этой проблемы привёл нас к выводу, что и бельгийский представитель – наш соплеменник. Стало совсем легко, как в доброе старое довоенное время в Киеве или Лохвице. В такой лёгкой беседе у нас прошёл час, а затем наступило время

обеденного перерыва. До чего же хотелось есть! Деваться некуда – я одолжил у Поликарова 25 франков. Он сказал, что деньги касса ЮНЕСКО будет платить завтра. После этого я пошёл в буфет. Вот это был буфет! Больше я так в Париже не едал (см. ниже). Перерыв ещё продолжался, и, сытый, в благодушнейшем настроении, я спросил у японца:

– Доктор Эйсаку-сан, меня крайне удивляет ваше имя Лео, ведь у японцев, насколько мне известно, звука «л» в языке совсем нет. Уж не японский ли вы еврей?

Лишённый чувства юмора в нашем понимании, он ответил мне странно:

– Моё имя всегда давало повод для шуток. Когда я, например, был у вас в Ленинграде, меня спрашивали, кем я прихожусь... Исаакиевскому (Эйсакувскому) собору – ха-ха.

Этому чудику-японцу я был весьма благодарен, так как он протрепался и всё послеобеденное время. На следующее утро со мной рассчитались, выдав мне от щедрот ЮНЕСКО денежки... точно на полтора дня! Вот он, волчий закон капитализма! Опоздал – соси лапу! У нас бы, конечно, заплатили сполна. Впрочем, и на том спасибо. Оставался ещё один день пытки, и было мне очень тяжело. Хорошо помню, как эти профессиональные трепачи, которых я уже успел люто возненавидеть, взяхлёб обсуждали важнейший вопрос о необходимости устройства каких-то библиотечных коллекторов в Танзании. И вдруг они хором накинулись на величественно молчавшего представителя величайшей сверхдержавы: мол, что думает означенная сверхдержава по поводу этих самых коллекторов? Положение начинало смахивать на губернаторское

(вернее, Остап-Бендеровское), и я вынужден был пойти с козырного туза. Соорудив мрачнейшую мину (а я это делать умею), представитель великой державы процедил:

– Иль не фо па симплифье!

Боже, что тут началось! Они затараторили на трёх языках, перебивая друг друга. Я сидел в мрачно-величественной позе. Заряда хватило до перерыва, во время которого они смотрели на меня с почтительным восхищением. Вот тут я ещё раз возблагодарил Серёжу Фомина!

Так или иначе, но я выдержал этот тяжелейший для меня день. Всё кончилось очень пристойно. Проблемы разнообразия культур при наличии общности технологического прогресса получили мощный стимул для своего дальнейшего обсуждения. А передо мной встала, конечно, не такая грандиозная, но вполне конкретная проблема: как быть дальше? Срок моей командировки был 14 дней, два дня прошло, осталось 12. Двенадцать дней в Париже, да ещё одному! Но, когда я подсчитал свои финансы, мой восторг быстро испарился. После того как я заплачу за отель и оставлю на чёрный день полсотни франков, у меня на прожитье останется... 7 франков на день. Чтобы понять, что это такое, скажу, что самый дешёвый обед в «селф-сервисе» стоил тогда 11 франков, а проезд в метро в один конец – один франк. Важнейшим обстоятельством был сезон моего визита: общеизвестно, что в августе все французы уезжают в отпуск. Следовательно, рассчитывать подкормиться путём хождения в гости к французским коллегам не приходилось. И уж совсем нельзя было

рассчитывать на помощь соотечественников из нашего посольства: меня бы немедленно отправили в Москву.

Но всякий понимает, что решение я мог принять только одно – остаться голодать в Париже весь мой срок. Ни хрена – с голоду не умру, а больше такой возможности в жизни не будет. И началась моя удивительная жизнь в великом городе. Эти 12 дней я не забуду никогда. Сперва решил было экономить на метро – всё-таки 2 франка! Но уже на второй день я понял, что этого делать нельзя, ибо из-за необходимости каждую ночь возвращаться в свой отель я всегда ходил бы по Парижу практически одним и тем же маршрутом. Значит, оставалось на жизнь 5 франков в день. Я их распределил таким образом: ежедневно на расположенном вблизи крохотном базарчике покупал у нормандских крестьянок кило превосходнейших яблок – это 2,5 франка. Оставшиеся 2,5 франка я тратил на покупку у одной старушки-торговки воткнутой в свежую булочку вкуснейшей горячей сосиски, обмазанной горчицей. Старушкин лоток находился на перекрестке двух знаменитейших парижских бульваров – Сен-Мишель и Сен-Жермен. Этим, собственно говоря, и объясняется, почему я выбрал именно данную старушку. Обычно, какой бы маршрут ни пропетлял в Париже, точно к 18 часам, голодный до судорог, я выходил на мою старушку. Скоро она меня стала узнавать и уже издали кричала: «Мсье Жозеф!». Прелесть, а не старушка! В прошлом году, спустя 13 лет, я снова побывал в Париже. Старушки, конечно, уже не было, но до боли знакомый перекрёсток совсем не изменился. И когда я подходил со стороны Нотр-Дам к этому столь памяtnому для меня перекрёстку, у меня, как у павловской собаки, началось обильное слюноотделение... Какая же это была

фантастическая жизнь! Уже уезжая из Парижа, я вычислил, что выходил по сотням различных авеню и рю великого города свыше 300 километров! За все свои поездки в Ленинград столько не выходил. И могу смело сказать теперь, что после Москвы из всех городов на свете я больше всего ходил по Парижу.

Очень болели ноги. Ведь всего лишь за полгода до этой поездки я перенёс инфаркт и заново учился ходить. Всё время хотелось посидеть, а это в Париже далеко не просто! Казалось бы, садись за столик в кафе на свежем воздухе – и дыши, вытянув гудящие ноги. Даже в сравнительно удалённых от центра районах города на каждые полсотни метров тротуара приходится по кафе. Днём обычно они пусты. Я выбирал самый далёкий столик и начинал невесёлую игру, засекая время. Не позже чем через 20 секунд передо мной (откуда?) появлялся молчаливый гарсон с блокнотом и карандашом и ставил на столик стакан холодной воды. Что, мол, мсье будет заказывать? А мсье вспоминал наши убогие московские рестораны и общепитовские заведения, где – о, счастье – можно дожидаться такую родную, грязноватую официанточку не меньше получаса! Глупец! Сколько раз я кипел в этих ожиданиях, и как бы славно сейчас подождать этого смотрящего на тебя так бесстрастно малого хотя бы 10 минут! Мсье считает каждый франк и не может позволить себе даже чашечку кофе. Преодолевая боль в ступнях, он поднимается и плетётся дальше. Вот так-то! Ничего не попишешь, жаловаться некому – капитализм, туды его в качель!

Когда становилось от бесконечных хождений совсем неважно, я спускался под один из знаменитых парижских мостов, прямо к кромке грязноватой Сены, и ложился, блаженно вытягивая ноги на камни

набережной. Обычно рядом располагались клошары – парижские бродяги. Они совершенно безопасны и добродушно-веселы. Клошары под мостами Сены едят – у всех корзинки, набитые снедью и вином. Запахи их трапезы невольно волнуют меня – ведь я гораздо беднее и, конечно, такой роскоши, как вино и всякого рода сэндвичи, позволить себе не могу. Мимо проходят деловитые парижане и слоняются туристы – основное население Парижа в августе. Им нет никакого дела до меня – это и хорошо и плохо. Иногда я остро чувствовал своё одиночество и заброшенность. Но гораздо чаще я просто лежал без всяких мыслей и смотрел на высокое безоблачное небо – все 12 дней стояла прекрасная погода.

Потребность в общении я удовлетворял случайными встречами. Так, однажды я решил посидеть в Люксембургском саду. Этот сад меня привлекал ещё и тем, что в нём на зелёных лужайках в кажущемся беспорядке были расставлены небольшие стулья с гнутыми металлическими ножками. Приятнее всё-таки сидеть отдельно, а не на общественно-казенной скамейке. По глупости я не сразу понял, что за это удовольствие надо платить (1 франк!) – дань собирала старуха, одна на всю территорию сада, что и ввело меня в заблуждение. Едва я успел, сидя на стульчике, блаженно расслабиться, как неожиданно за своей спиной услышал безупречно правильную, хотя и несколько архаичную, русскую речь. Беседовали три старые женщины, из них две – совсем древние. Не оборачиваясь, я спокойно заметил:

– Как приятно встретить в Париже соотечественниц!

Они вежливо согласились со мной, что действительно приятно. Я сделал галантный жест и, не ведая о собирающей дань старухе, попросил их присесть рядом.

– Спасибо, мы постоим, – сказали старые парижанки.

Хорош бы я был, если бы они сели!

– Откуда вы? – спросила самая старая.

– Из Москвы.

– И давно?

– Да вот уже неделя.

Они как-то странно-недоверчиво на меня посмотрели. И тут я понял, что эти женщины принимают меня за эмигранта, по-видимому, «второй волны».

– Да нет же, я действительно советский, неделю назад приехал из Москвы в командировку!

Не верят.

И одна из них стала меня испытывать:

– А где похоронен Паустовский?

(Паустовский накануне умер – естественно, что мои собеседницы всякого рода похоронные дела принимали близко к сердцу.)

– Кажется, на Новодевичьем, – неуверенно ответил я.

– А вот и неверно. Он похоронен в Тарусе.

Почувствовав, что окончательно разоблачён как самозванец и что надо выходить из идиотского положения, я стал лихорадочно шарить по карманам и

нашёл там два сильно помятых использованных билета на подмосковную электричку. Этим и реабилитировался.

– А вы откуда?

– Мы из Тифлиса! – с достоинством произнесли мои собеседницы.

– Из Тбилиси, значит?

– Только не произносите, пожалуйста, это ужасное слово. Мы из *Тифлиса!*

– Знайте же, что через две недели я буду в вашем Тифлисе!

Это была сущая правда: мне предстояла командировка в столицу солнечной Грузии на какую-то конференцию.

– У нас к вам огромная просьба: подойдите к нашему старому дому и внимательно посмотрите на него. Адрес мы дадим.

Взволнованный столь трогательной формой ностальгии, я обещал, и обещание своё, разумеется, выполнил.

Была ещё одна запомнившаяся встреча со старыми русскими эмигрантами. Как-то раз я сидел на скамейке напротив Эколь Милитер вблизи моего отеля. Рядом присел старик, довольно скоро признавший во мне советского человека. Он оказался русским эмигрантом, впавшим в крайнюю бедность. Я сказал ему, что очень бы хотел побывать на парижском русском кладбище Сент-Женевьев. Старик прослезился:

– В первый раз слышу такое от советского человека. Обычно вас почему-то тянет на Пер-Лашез. Сент-Женевьев – это очень далеко, метро туда не ходит,

можно только машиной. У меня машины нет, но у моего товарища, тоже русского, есть старенький «пежо». Приходите на это место завтра в восемь.

И вот я в обществе стариков-эмигрантов брожу по чистенькому и, несмотря на луковку церквушки, совсем не русскому кладбищу. Боже мой, кого здесь только нет! Строем похоронена белая гвардия – отдельно лежат корниловцы, марковцы, дроздовцы. Впрочем, Деникина здесь нет – он похоронен в Ницце А вот Кшесинская; неподалёку – Львов, Гучков и вообще всё Временное правительство. Туда, дальше – Мережковский, Гиппиус и трогательно простая могила Буниных. На другом конце кладбища похоронена Вика Оболенская. А рядом надгробие с лаконичной надписью: «Зиновий Пешков – легионер». Здесь похоронен родной брат Якова Свердлова, человек фантастической судьбы. Его, совсем молоденького, перед первой мировой войной усыновил Горький. В качестве секретаря Алексея Максимовича он уехал на Капри, где их застала война. Неожиданно в нём прорезался ярый оборонец, и, самоутверждаясь, он вступил в знаменитый французский иностранный легион. Участвовал в боях, был тяжело ранен. Пролив кровь за Францию, он получил французское подданство. Войну окончил майором, потерял руку. Затем – головокружительная карьера во французской армии. Дослужился до генеральского чина, был начальником отдела французского генерального штаба; друг де Голля, бывшего чином ниже его, один из организаторов Сопротивления. Благополучно скончался в начале шестидесятых. Я стоял у надгробной плиты старого легионера и думал о судьбе двух братьев. Кому же из них повезло больше?

Итак, я ходил по Парижу. «Ходил и ходил, не щадя каблука...» Кстати, о прекрасном стихотворении Маяковского, откуда взяты эти строки. Это – «Верлен и Сезан». Там написано:

...Мне тесно здесь
в отеле Истрия —
на коротышке
рю Кампань-Премьер.
Мне жмёт.
Парижская жизнь не про нас —
в бульвары
тоску рассыпай.
Направо от нас —
бульвар Монпарнас,
налево —
бульвар Распай.

Каждый раз, когда я бываю в Париже, я иду на эту действительно короткую улочку, соединяющую два знаменитых бульвара, и захожу в жалкий (всего одна звёздочка!) отель «Истрия». Странно, что этот нищий, даже непристойно нищий отель так любил Владимир Владимирович...

А в музеи, даже в самые знаменитые, я не любил ходить. Тогда, летом 68-го, я под музеи выделил две субботы и два воскресенья, когда посещения бесплатны.

Самое сильное впечатление было всё-таки от Венеры Милосской, перед которой я простаивал часами.

Само собой разумеется, что ни о каких специфических парижских развлечениях я не мог даже и помыслить. И всё же судьба рассудила по-своему. Как-то вечером я «прочёсывал» район Бульвар Клиши – подножие Монмартрского холма, – знаменитый своими дешёвыми злачными местами. Последние, конечно, по причине полного безденежья меня совершенно не интересовали – я больше наблюдал тамошнюю специфическую публику. Острый приступ голода напомнил, что время торопиться к моей старушке, чей лоток находится на противоположном, левом берегу Сены, то есть довольно далеко. И тут меня захватила одна простая мысль: «Какого чёрта мне, такому голодному, сейчас переть на тот берег Сены? Ведь в Париже на каждом шагу можно перекусить. Не сошёл ли свет клином на старушке?». Эту мысль, как показали дальнейшие события, мне несомненно нашёптывал сам дьявол. Я стал оглядывать окрестные лотки, благо они были здесь на каждом шагу. Тут я не имел права ошибиться! Я резонно решил остановить свой выбор на лотке, вокруг которого толпилось максимальное количество небогатых иностранцев – алжирцев, негров и ещё каких-то неопределённой национальности брюнетов. Меня поразила быстрота, чёткость работы продавца горячих котлеток, заложенных в булочку (порция – те же два с полтиной). Он действовал как автомат. Завороженный и голодный, я пробился к лотку и дал продавцу бумажку в 5 франков. Молниеносно я получил свой сэндвич, а продавец тут же стал обслуживать следующего. До меня не сразу дошло, что меня, нищего, эта скотина нагло обсчитала! Ком подступил к горлу,

котлетка потеряла свой первозданный восхитительный вкус. Некоторое время я стоял, смотря очень печальными еврейскими глазами на наглеца. Никакой реакции! Слава богу, я не стал выяснять с ним отношения, как это должен был бы сделать нормальный советский человек. Хватило ума понять, что дело могло дойти до скандала, а тогда хлопот бы мне не обернуться...

В мерзком состоянии духа я отошёл от опасного лотка. И поделом тебе, скотина! Не изменяй привычкам, уважай традиции. А как хорошо было у старушки! А вообще – противно! Ведь отказываешь себе буквально во всём. И между прочим, очень вероятно, что в Париже я больше никогда не буду, а если и буду, то, конечно, не один.

Тут мой взгляд скользнул по огненной рекламе «Перманент стриптиз» – такие заведения здесь буквально на каждом шагу, и я на них никакого внимания никогда не обращал. На этот раз я подошёл к двери ближе и прочёл: «2S франка». Всего лишь! Как раз та нищенская сумма, которую только что украл у меня торговец сэндвичами! Не раздумывая, я вошёл в тёмный «предбанник» и подошёл к кассе. Осторожно справившись у почтенного вида дамы – кассирши заведения – о цене, я купил билет (сдачу дала аккуратно) и вошёл в полутёмный зал, где как раз начиналось действие. Все места у прохода были заняты, пахло какой-то дрянью. Я спустился по довольно крутой лестнице амфитеатра прямо к сцене и в первом ряду сел на свободное кресло, очень близко от разоблачавшейся на сцене пышной блондинки. Мне бросились в глаза крупные капли пота, покрывавшие её полную розовую спину. Звучала музыка, какая-то нервная и «рваная». Эти капли пота на спине намертво убивали тот эффект, на

который вышеуказанное зрелище было рассчитано. Единственное, что оставалось, – это впечатление тяжёлой работы. Каково-то ей, бедняжке, вкалывать так шесть часов подряд!

Ко мне подошёл одетый в ливрею мальчик и, насколько я его понял, спросил:

– А что мсье будет пить?

Мсье ответил в том смысле, что пить он ничего не собирается. Тут до меня дошла простая механика, приводящая в действие это заведение: 2,5 франка – это цена входного билета, а дальше тут надо пить спиртное с огромной наценкой. Между тем потная блондинка приступила к кульминационной части своих разоблачений. И тут передо мной вырос волосатый здоровенный громила, который очень серьёзно спросил:

– А всё-таки, что мсье будет пить?

Дело оборачивалось скверно. Я пролепетал:

– Пиво!

– Пива нет, – прозвучал так хорошо знакомый москвичам ответ.

– Тогда я ничего не буду пить – здоровье не позволяет!

– В таком случае пусть мсье соблаговолит покинуть помещение!

Я поднял глаза на сцену – и как раз вовремя! После этого я с достоинством, хотя и не мешкая, оставил помещение.

Когда я вышел на сияющий огнями бульвар, меня буквально распирало – так я торжествовал и

злорадствовал! Ещё бы: негодяй лотошник обокрал меня на 2,5 франка, а я только что гениально и просто обставил владельца этого бардака минимум на десятку! Долго ещё у меня сохранялось лёгкое, хорошее настроение, и шёл я, почти не касаясь тротуара. Все оставшиеся дни я покупал свою порцию сосисок только у моей милой старушки.

АСТРОНОМИЯ И КИНО

Я хочу поделиться воспоминаниями о своих немногочисленных контактах с деятелями «важнейшего из всех искусств». По роду своей работы мне, в частности, приходилось давать консультации режиссёрам как научно-популярных, так и «настоящих» фильмов, а также писать рецензии на некоторые сценарии.

Первое воспоминание о моей деятельности в этой области относится ещё к 1946 году, когда я только начинал свою астрономическую карьеру и был молодым кандидатом наук. Уж не помню, как это получилось, но я консультировал одну довольно странную кинодаму по фамилии Нечволодова. Она написала сценарий науч. – поп. фильма о солнечной активности, который мне надлежало выправить и привести хоть в какое-то соответствие с наукой. Сценарий был ужасен, и я с ним изрядно помучился, главным образом по причине упорного сопротивления кинодамы. Я почему-то запомнил, что она никак не хотела называть протуберанцы своим именем.

– Они же *протубуронсы!* – упрямо твердила она, доводя неопытного консультанта до отчаяния.

Не знаю, дошла ли эта короткометражка до экрана.

Лет через 15 после этого я, уже полумаститый деятель, консультируя какую-то дипломную стряпню выпускницы ВГИКа, вёл себя как большой босс: потребовал у дипломницы, чтобы она организовала для моих сотрудников просмотр чаплиновской «Золотой лихорадки». По-видимому, девице организовать такой просмотр было далеко не просто: когда мы, затаив дыхание, смотрели, как голодному верзиле-старателю бедняжка Чарли мерещился гигантским цыплёнком, за дверью отчётливо слышались возмущённые голоса, требующие очистить помещение для некоторой кинонадобности. Как там выкручивалась наша бедняжка дипломница, я не знаю. Не знал я также, что был свидетелем чрезвычайно редкого явления в мире кино: верности данному слову и чувства ответственности. У неизмеримо более маститых кинодеятелей я неоднократно наблюдал полное отсутствие этих драгоценных качеств...

Наиболее сильное кинопечатление у меня связано со вторым Московским кинофестивалем, который проходил, если память мне не изменяет, летом 1963 года. Вся Москва была охвачена кинолихорадкой. Люди смотрели по 2-3 фильма в день. Достать – правдами и неправдами – билет на какой-нибудь остродефицитный фильм считалось делом чести. Какими только путями не добывались эти билеты! Особенно трудно было попасть на «Красную пустыню» Антониони, шедшую вне конкурса по закрытым кинозалам. Не помню уже, как я добыл билет на этот фильм в Дом дружбы, где до этого я никогда не был. Моя гордость по сему поводу не поддавалась описанию. Я специально утром пришёл в родной институт похвастаться этим билетом. Были у меня

ещё два билета на какие-то малобюджетные фильмы, которые начинались довольно рано. Между тем начало показа «Пустыни» было в 16 часов, почти через три часа после окончания программы в ЦДЛ.

Торопясь в ЦДЛ и спускаясь по деревянной институтской лестнице, я столкнулся со своим аспирантом Гаврилой Хромовым, здоровым малым с тогда ещё не модной бородой и в шортах. Я его не видел почти месяц – он совершал свой первый вояж по Европе в качестве автотуриста (впрочем, водитель он был далеко не классный). Он приехал в Москву только вчера, прямёхонько из Финляндии. Галантно улыбнувшись, Гаврила попросил у меня 20 копеек взамен презента, который тут же протянул мне. Это была самая настоящая, отличного качества финка в кожаных ножнах! Тронутый такой щедростью, я сунул финку в боковой карман пиджака и пригласил Гаврилу в ЦДЛ – у меня был лишний билет.

Помню, администрация Дома литераторов не хотела пускать бесштанного Гаврилу на просмотр. Но всё же эту непредвиденную трудность мы преодолели и какую-то полуавангардистскую киноленту посмотрели. По окончании просмотра, вместо того чтобы где-нибудь перекусить, я поспешил в Дом дружбы, решив прийти туда заранее, чтобы занять местечко хотя бы на ступеньках лестницы или на чём-нибудь в этом роде – у меня был всего лишь входной билет. Мне следовало бы обратить внимание на то, с какой тщательностью два милиционера изучали мой бедный билет, прежде чем впустить в Дом. Я это отнёс за счёт порядков в этом необычном для меня заведении, но, как показали дальнейшие события, ошибся. Зайдя в помещение, я быстро убедился в несостоятельности моей идеи –

заранее попасть в кинозал: там шёл более ранний сеанс той же самой «Пустыни». В этом довольно глупом положении я решил ждать целых полтора часа до начала моего сеанса – перспектива второго контакта с ретиво охраняющими помещением милиционерами меня почему-то не прельщала.

Потянулись долгие минуты ожидания. Попытка проникнуть в буфет успеха не имела. Тем временем зал, в котором я сидел в ожидании начала сеанса, стал быстро заполняться. Я невольно обратил внимание на специфический состав публики: очень много генералов и адмиралов, шикарно одетых женщин и явно выраженных «искусствоведов в штатском».

Вдруг вся эта фешенебельная толпа заволновалась, и сквозь частокол фигур я не столько увидел, сколько угадал некую персону. Быстро сообразив, что этот знатный гость в экзотических белых одеждах – какой-нибудь арабский король, шейх или по меньшей мере министр, я по старой московской привычке стал энергично работать локтями, проталкиваясь сквозь толпу, дабы поближе разглядеть этого, безусловно весьма прогрессивного, далёкого гостя. Ведь делать мне было абсолютно нечего! Я весьма преуспел в своём продвижении – сказался богатый опыт, приобретённый в московском городском транспорте, – и довольно скоро достиг первого ряда в очень узком живом коридоре, образовавшемся вокруг важно шествующего обладателя бурнуса. И в этот момент я почувствовал, что в давке какой-то предмет выпал из бокового кармана моего пиджака и, подчиняясь закону всемирного тяготения, скользнул по рубашке вниз. Это была финка, Гаврилин подарок, о которой я совершенно забыл! В последний момент у нижней кромки пиджака я зажал обнажённое

лезвие холодного оружия и, скрючившись, задом выдавился из толпы. И только тут ко мне пришёл страх. Я вдруг ясно вообразил, как бы всё это выглядело в глазах «искусствоведов», да и просто непосредственно следовавшей за важным гостем охраны в тот момент, когда они увидели бы в моих окровавленных пальцах финский нож в полуметре от высокой персоны. Или – если бы этот проклятый нож упал бы у ног араба из-под моего пиджака. Полагаю, что в лучшем случае я был бы задержан за «явную попытку инспирированного международным сионизмом террористического акта». А в худшем... В ожидании начала сеанса я пытался успокоить себя изречением из Талмуда: «Если ты думаешь о ничтожестве причин, приводящих к твоей гибели, подумай, что причины, приведшие к твоему рождению, не менее ничтожны...». Утешение было слабое. Содержания фильма «Красная пустыня» я, естественно, почти не помню.

Прошло ещё лет десять, и судьба свела меня с киноявлением уже другого порядка. Как-то раз мне позвонил мой хороший знакомый, литературный критик Лазарь Лазарев, и в характерной для него, старого фронтовика, шутливо-спокойной манере сказал:

– Слушай, пайщик (уважительно-вежливая форма обращения у части наших прогрессивных литераторов), надо выручать хорошего человека – Андрея Тарковского. Он написал сценарий и хочет ставить картину по лемовскому «Солярису» – это ведь по твоей, астрально-звёздной части. Негодяи на Мосфильме пытаются его забодать. Возвысь свой голос и быстренько напиши положительную рецензию, что, мол, насчёт звёзд и прочего в этом роде там полный порядок!

Я нежно люблю умницу и настоящего человека Лазаря. Я также в восторге от творчества Тарковского. И поэтому сразу же согласился, несмотря на одну – впрочем, пустяковую – деталь: эту вещь замечательного польского писателя я, увы, не читал. Сказано – сделано: через день после получения сценария я написал на него существенно положительную рецензию. По-видимому, она в ряду прочих средств поддержки помогла режиссёру отстоять свою работу.

Через некоторое время опять звонит мой приятель:

– Слушай, Андрей уже отснял фильм, но его опять хотят забодать эти гады. Организуй, пожалуйста, своих астрономических пайщиков и приведи их на Мосфильм послезавтра в 12, там будет обсуждение фильма. Подбери солидных людей – надо произвести впечатление. Пропуска будут заказаны.

Конечно, я опять бросился спасать незнакомого мне мастера экрана.

Стоял лютый мороз с обжигающим ветром. Не просто было собрать человек пятнадцать «пайщиков» и привезти их общественным транспортом к проходной Мосфильма. В качестве «свадебного генерала» я уговорил ехать Якова Борисовича Зельдовича – академика и трижды Героя. И тут вдруг случилась накладка: пропуска на нас не были заказаны, хотя накануне мне в институт звонили и настойчиво нас приглашали, заверяя, что организационная часть обеспечена. Минут 15 толкались мы в холодной проходной. Тщетно я метался от окошка к окошку, пытаюсь найти хоть какие-нибудь концы. Можно себе представить, как на меня смотрели мои коллеги! В отчаянии я шутя (хотя было не до шуток) попросил Якова

Борисовича подойти к окошку и щегольнуть своими тремя Золотыми Звёздами.

– Ничего не выйдет. Подумают, что муляж! – ответил Я.Б., обнаружив тонкое понимание специфики кино.

Так и ушли мы ни с чем. Через несколько дней я узнал, что в последний момент просмотр был запрещен комитетом Госкино, о чём нас не соизволили известить. Никто (в том числе и Тарковский) не извинился. Я невольно вспомнил ту девчущку-дипломницу ВГИКа – единственную из известных мне работников кино, с которой можно было иметь дело.

Прошло ещё несколько месяцев, и мне стало известно, что в клубе МГУ, так же, как и в некоторых других местах, идёт «Солярис».

«Хорош этот Тарковский! – подумал я. – Ведь мог бы и пригласить на просмотр, который, очевидно, уже был...»

Я пошёл в клуб МГУ, и здесь меня огорошила надпись на титрах: «Консультант И. С. Шкловский». Вот это да! Такого уговора не было. Это ведь чистый бандитизм! Что же делать? Подать в суд, чтобы сняли с титров мою фамилию? Ничего не выйдет – у нас так не принято. Гнев мой потихоньку остывал, а тут кто-то из моих друзей подсказал мне:

– Ведь эти киношники очень богатый народ. Потребуй у них денег за консультацию!

Ну что ж, с паршивой овцы хоть шерсти клок – и я стал искать какие-то концы на Мосфильме. Не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что все мои попытки найти упомянутые выше «концы», ведущие к

финансовым сосцам этого почтенного учреждения, окончились полным крахом. В конце концов я на это дело плюнул.

Вообще, в финансовом отношении мои контакты с миром киноискусства дали нулевой эффект. Вспоминается, например, история со сценарием братьев Стругацких – какая-то фантастическая бодяга. Был заключен совершенно официальный договор с Киевской студией. Я беседовал с одним из братьев, довольно добросовестно изучил сценарий, сделал ряд замечаний, написал и отправил в Киев развёрнутую рецензию. После этого последовало почти трёхлетнее молчание. На мой запрос студия без всяких мотивировок сообщила мне, что, мол, фильм ставиться не будет, и, как говорится, – общий привет. Кстати, по закону полагается мне, кажется, 60 процентов договорной суммы. В суд, что ли, на них подавать? «Не корысти ради», а из чисто корпоративных соображений: ведь если они так нагло обращаются со мной, всё-таки человеком с именем, так что же вытворяют с молодыми? Вполне понятно поэтому, что, когда года два тому назад меня позвали к институтскому телефону и чей-то женский голос сообщил мне, что это говорят из иностранного отдела Мосфильма, я ядовито засмеялся в трубку и в самой вежливой форме послал звонившую подальше. При этом я кратко, но энергично высказал ей своё мнение о кинодеятельности и кинодеятелях.

– Но мы-то здесь при чём? – резонно ответствовала мосфильмовская особа. – Я звоню вам по очень важному делу: гостящий в Москве маэстро Антониони очень хочет побеседовать с вами!

Я живо вспомнил эпизод с «Красной пустыней» и злосчастной финкой. Поэтому когда киношница сказала мне, что маэстро Антониони хотел бы со мной побеседовать в своих апартаментах в гостинице «Советская» и что он послезавтра улетает из Москвы, я нахально заявил ей, что, насколько я понял, синьор Антониони хочет встретиться со мной, я же отнюдь не жажду общаться с ним и поэтому в гостиницу не поеду. А если я ему очень нужен – пусть приезжает в Астрономический институт сегодня в 15 часов, то есть через 15 часа, я его буду ждать до 15 час. 15 мин. Киношница сбивчиво стала мне объяснять, что, мол, это нужно согласовать с маэстро и пр., а я повесил трубку.

Слышавшие этот разговор девицы-сотрудницы закудахтали:

– Ах, как вы разговариваете, ах, разве так можно!

– С этой публикой иначе нельзя, – отрезал я. – И вообще – отвяжитесь!

Девицы бросились в мой захламленный кабинет, где кроме моего стояло ещё три стола. И вдобавок огромное продавленное старое кресло. Они лихорадочно стали «наводить марафет», готовясь к приёму знаменитости.

– Отставить, – рявкнул я. – Мы его примем в стиле итальянского неореализма. Так сказать, под небом Сицилии.

Ровно в 15 часов во двор института въехал кортеж роскошных машин. Маэстро приехал со своей киногруппой. Антониони оказался очень симпатичным, немного грустным немолодым человеком, одетым с подчёркнутой простотой. По-английски он говорил

примерно так же плохо, как и я, что, конечно, способствовало взаимному пониманию.

– Чем могу служить? – спросил я.

– Видите ли, я задумал поставить фильм-сказку. По ходу действия дети, играющие в городском дворе – настоящем каменном мешке, – запускают воздушного змея, который улетает в Космос. Может это быть?

– Вы придумали, маэстро, прелестную сказку, а в сказке всё возможно!

По части сказок маэстро разбирался, во всяком случае, не хуже меня. Нет, его интересовало, может ли это быть с точки зрения *науки*!

– Я вынужден вас разочаровать: с точки зрения науки этого не может быть!

– Я понимаю, – сказал Антониони, – что этого не может быть с точки зрения науки *сегодняшнего дня*. Но, может быть, через 200—300 лет наука уже не будет исключать такую возможность?

– Боюсь, что и через тысячу лет позиция науки в этом пункте не изменится. Разве что детишки оснастят свою игрушку каким-нибудь аннигиляционно-гравитационным двигателем?

Нет, такой двигатель маэстро Антониони не устраивал, он разрушал его милую «задумку». Я стал ему объяснять, что только первобытные люди и современные, обременённые полужнаниями цивилизованные дикари *верят* (именно, верят) в безграничные возможности науки. На самом деле настоящая наука – это *сумма запретов*: а) нельзя построить перпетуум-мобиле первого и второго рода, б)

нельзя передать сигнал со скоростью большей, чем скорость света в пустоте, и в) нельзя одновременно измерить координату и скорость электрона.

Антониони помрачнел. Запреты ему явно были не по душе. Провожая его, я рассказал ему историю с «Красной пустыней», финкой и важной восточной персоной.

– Неплохой сюжет для сценария, не так ли? – сказал я.

Насколько я мог заметить, эта история не произвела ожидаемого впечатления на знаменитого режиссёра. Впрочем, может, я и ошибаюсь.

ЮБИЛЕЙНЫЕ АРАБЕСКИ

Ещё в середине уходящего в Лету, богатого разного рода событиями 1981 года я узнал о предстоящем юбилее моего родного учреждения – Государственного астрономического института им. Штернберга. Любители такого рода событий выискали, что старинная обсерватория Московского университета, бывшая одним из истоков ГАИШа, появилась на свет божий в 1831 году. Значит, предстоял полуторавековой юбилей!

С этим институтом связана вся моя жизнь. До мельчайших деталей помню июльский день 1938 года, когда я в первый раз оказался на залитом солнцем, совершенно поленовском «московском дворике» обсерватории. Где-то за переулком Павлика Морозова высился купол близкой церкви. Над жёлтым, довольно облупленным обсерваторским домом подымался купол башни старинного астрографа. На скамеечке, неподалёку от входа во двор, сидел, положив руки на палку,

совершенно прозрачный, с седенькой бородкой клинышком, вполне нестеровский старичок. Он удивительно гармонично вписывался в окружающий архаический пейзаж XIX века. Как я потом узнал, это был здешний патриарх Сергей Николаевич Блажко [18](#). В канцелярии царствовала Елена Андреевна – она и сейчас, спустя 43 года, там царствует.

В связи с юбилеем мне в голову лезут разные мысли и одолевают воспоминания. Как странно, например, что я знаю свой родной Институт почти треть его полуторавекового существования – а ведь в нём вполне мог бывать Александр Сергеевич Пушкин, будь у него хоть малейший интерес к физико-математическим наукам. А вот Александр Иванович Герцен был одним из первых студентов астрономического отделения Московского университета. 26 июня 1833 года он защитил диссертацию под названием «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника». По нынешним понятиям это была, конечно, не диссертация, а дипломная работа. Он очень огорчился, получив серебряную медаль, – рассчитывал получить золотую, которая, однако, была присуждена его однокурснику Драшусову – впоследствии профессору астрономии Московского университета и директору обсерватории. Герцен был знаком и с астрономом профессором Д. М. Перевощиковым – первым директором Московской обсерватории, с которым встречался в доме Щепкина [19](#).

Пожалуй, самым крупным астрономом, работавшим в обсерватории Московского университета, был знаменитый Федор Александрович Бредихин – человек живой и вспыльчивый. В превосходной по стилю изложения истории Московской обсерватории, написанной перед войной С. Н. Блажко, обстоятельства

ухода Бредихина из будущего ГАИШа описаны с волнующей непосредственностью (Вестник МГУ. 1940. Т. XVIII). «...Нет нужды сохранять далее таинственность в этом деле... У Бредихина был маленький сын. Когда однажды он играл во дворе обсерватории, его сильно уклюнул петух Швейцера, тогдашнего директора обсерватории. Тогда Бредихин схватил бывшую у него старую саблю, погнался за петухом и, догнавши его, отрубил ему голову. Это было началом недоразумения, в результате которого Бредихин покинул обсерваторию». Не правда ли, какая прелесть! Живо представляю себе, как озверевший создатель механической теории кометных форм гонится за несчастным петухом по так знакомому мне гаишевскому дворику!

Несомненно, самой героической фигурой в истории нашего Института был Павел Карлович Штернберг. Как учёный он был, конечно, величиной вполне средненькой – ординарнейший профессор из немцев. Но зато – какая судьба! Никто из сотрудников обсерватории, в том числе и его сосед Сергей Николаевич Блажко (он был моложе Штернберга всего лишь на 5 лет), понятия не имел, что Павел Карлович не только астроном и что вплоть до 1917 года само здание обсерватории было одной из явок ЦК партии большевиков. По заданию Центрального Комитета партии Штернберг на средства Московской городской думы, гласным которой он был, в течение многих лет готовил детальнейший план города с указанием всех проходных дворов и закоулков – незаменимое пособие для уличных боёв. После Октябрьской революции Павел Карлович явился перед потрясёнными сослуживцами в абсолютно новой ипостаси: был первым руководителем высшей школы во вновь созданном Наркомпросе, принимал активное

участие в разгроме Колчака в качестве политического комиссара Восточного фронта. Умер он молодым, в самом начале 1920 года, от сыпного тифа.

В те далёкие предвоенные годы, когда я поступал в аспирантуру ГАИШа, директором там был Василий Григорьевич Фесенков, личность яркая и самобытная. Сейчас, сквозь пелену ушедших лет, я, конечно, вижу его в правильном масштабе. Это был типичнейший представитель старой дореволюционной русской науки, перешагнувшей рубеж 1917 года. Общий уровень физико-математических наук в нашей стране оставался низким. Отставание от европейского и американского уровня прогрессивно росло со временем, хотя отдельные таланты, конечно, не переводились. Характерным стилем Василия Григорьевича (или, как его кратко называли, – Феса) было чистое экспериментаторство. Что-то в Василии Григорьевиче было от человека, ставшего учёным путем самообразования. В нём причудливо сочетались широта натуры и какой-то примитивный, даже детский эгоизм. В те годы я тихо любовался его монументальной фигурой и благоговел перед ним. Было в нём качество, ставшее в наши дни редким среди учёных: живое ощущение реальной природы, удивительным образом сочетающееся с недоверием к её видимым явлениям. Я навсегда запомнил чуть заметную усмешку, неизменно игравшую на его лице. К нам, мелюзге, он относился с благожелательной снисходительностью. Хорошо помню, например, как я предложил двум моим коллегам-аспирантам решить знаменитую задачу, которую чеховский гимназист-репетитор задал купеческому сынку Пете. Как известно, в этой задачке условие начиналось традиционной фразой: «Купец купил...». Её следовало

решать без «икса» – ведь папаша-купец посрамил гимназистика, решив её на счётах. Аспиранты никак не могли это сделать. В это время через аудиторию проходил Фес. Я набрался храбрости и попросил его решить эту задачу. Надо было видеть, с каким детским азартом Василий Григорьевич взялся за дело! И решил задачку, посрамив заучившихся аспирантов.

После Василия Григорьевича, ушедшего с директорского поста действительно по собственному желанию, шефом Института стал заведующий кафедрой небесной механики Николай Дмитриевич Моисеев. Колоритнейшая фигура – что-то в нём было от императора Павла. Калека, на костылях, которыми бравировал, в полковничьем мундире – по совместительству наш новый директор работал в Военно-воздушной академии им. Жуковского, – Н.Д. отличался ядовито-злобным остроумием. Выдаваемые им характеристики сотрудников отличались поразительной меткостью. Никогда не забуду его классификацию дураков. «Дураки бывают двух типов: *круглые* (типичный представитель – проф. Паренаго) и *треугольные* (типичный представитель – доцент Северный)». Удивительно точно! Конечно, каждый понимает, что треугольный дурак (мрачный, угловатый) – это совсем не то, что розовый, оптимистический круглый дурак!

При Николае Дмитриевиче наступили суровые времена. Началось всё, как обычно, – с подтягивания ослабевших при Василии Григорьевиче гаек трудовой дисциплины. Одним из первых погорел на этом я со своими приятелями Бакулиным и Полосковым. А дело в том, что мы трое, по причине непредставимой сейчас убогости наших жилищ, лишённых каких бы то ни было коммунальных удобств, по субботам (а это тогда был

полный рабочий день!) ходили в расположенные рядом Пресненские бани – естественно, в рабочее время (иначе туда не попадёшь – много народу желало помыться!). Банщики нас встречали как завсегдатаев – особенно дородного Сергея Матвеевича Полоскова – ведь у банщиков своя система ценностей! Благодать эта кончилась вскоре после воцарения Николая: кто-то из сотрудников настучал, и появился на стене родного ГАИШа исторический приказ, в немыслимо грозных выражениях запрещающий нашей троице мыться в рабочее время. Помню многообещающее начало приказа: «Мною замечено...». Впрочем, как и все прочие грозные приказы, и этот нами систематически нарушался.

Другой причудой нового владыки было крайнее рвение по части идейно-воспитательной работы. Наивысшего накала оно достигло после войны, что явилось отражением глобального похолодания. Именно в это время функционировал в ГАИШе знаменитый высокоидейный семинар.

Николай Дмитриевич, уже ушедший с поста директора, с невероятным энтузиазмом руководил этим семинаром. Помню многодневные абсолютно схоластические бдения на такую вполне гегелевскую тему: «*Наука-система и наука-метод*». Чем кончились эти пустопорожние сотрясения воздуха, я уже не помню. Но хорошо помню, как после заседаний кафедры небесной механики, сотрудники которой бесплодно разрабатывали некую лженауку под названием «динамическая космогония», кафедральное начальство во главе с Николаем Дмитриевичем шло в магазинчик на Пресне и прямо там «из горла» давило бутылку «Московской». «Что-то меня после космогонии на водку тянет!» – эта крылатая фраза Н.Д. была известна всему ГАИШу. Так

что если говорить о наиболее фундаментальных достижениях нашего Института, то я бы, пожалуй, назвал разработку метода «на троих», уходящую своими корнями ещё в далёкие довоенные времена.

Да, что и говорить – Николай Дмитриевич был колоритнейшей фигурой. С началом войны он переселился на обсерваторию, много пил и, когда в душные июльские ночи 1941-го фашисты буквально засыпали Пресню зажигательными бомбами, ходил по двору в роскошном халате, декламируя по-французски Альфреда Мюссэ, – я это всё видел сам. Он был смелый человек, хотя и большой позёр. После войны его ошеломили научные изыскания Корифея Всех Наук, и он на этом деле чокнулся. Николай Дмитриевич очень тяжело болел, героически переносил немыслимые физические страдания и умер в конце 1955 года, немного не дожив до разоблачения культа Сталина, которое, без сомнения, явилось бы для него огромным потрясением.

Ещё в войну, когда ГАИШ был в свердловской эвакуации, Моисеев был смещён с директорского поста (не помню уж, как это произошло – мне, лаборанту, не до того было). Директором стал Сергей Владимирович Орлов – милый старикан и астроном вполне нулевого уровня. Ему бы быть в доброе старое время преподавателем гимназии – да он им и был, – но почему-то пошёл в науку, где стал эпигоном механической теории кометных форм Бредихина. Был он человек скромный и незлобивый, за что ему спасибо. Всё держалось на его очень представительной, на редкость благородной внешности.

«Понтификат» С. В. Орлова продолжался вплоть до конца 1952 года. Это было трудное время в истории

нашей страны. Вместе со многими моими современниками я мог тогда вполне оценить знаменитое объяснение феномена атмосферного давления, данное Великим Комбинатором Шуре Балаганову. В конце 1951 года, в разгар борьбы с «космополитами», из ГАИШа были уволены мои старые друзья по аспирантуре Саша Лозинский, Абрам Зельманов (он потом устроился в планетарий), Валя Бердичевская. Меня тоже уволили. Остались в ГАИШе из этой категории лишь бывшие фронтовики – Липский и Косачевский. Увольняли под предлогом «сокращения штатов». Помню, как сочувственно-мрачно смотрел на меня замдиректора Института Куликов – «дядя Костя».

– Ничего нельзя сделать. Головы летят! – гудел он своим костромским басом.

Ничем не мог помочь и добрейший Сергей Владимирович.

Я был до удивления спокоен – понимал происходящее и был готов к худшему. Получив полный расчёт, с карманом, набитым пятью тысячами старых рублей, я пригласил своих друзей, сотрудников нашего института Ситника и Липского, на прощальный банкет в ресторан гостиницы «Москва». Послевоенная Москва тогда буквально сочилась всякого рода деликатесами – не то что в наши дни, после длиннейшей в истории России мирной, почти сорокалетней, передышки...

Вот тогда я напился. Напился смертельно, до потери сознания, хотя внешне это было не так уж заметно. Я помнил отчётливо две вещи: а) последняя электричка в Лосинку, где жила моя бедная мама, отходит в 1.20 ночи и б) метро прекращает работу в 1 час ночи. Щедро рассчитавшись с официантом, я простился с друзьями и

весь натянутый как струна прошёл через контролёра метро – тогда автоматов не было! Потом расслабился и долго не мог понять, почему под моими ногами пляшет лестница эскалатора. И почему я так долго спускаюсь по этой чёртовой лестнице – ведь эскалатор «Охотного ряда» короткий! Мое внимание привлекла смеющаяся девушка, которая на параллельной ленте эскалатора *спускалась*. «Не может быть, чтобы в столь поздний час две ленты эскалатора метро работали в одном направлении», – логично решил я, и как раз тут *подымающаяся* лента эскалатора, по которой я тщетно пытался спуститься, выбросила меня наверх. К счастью, контролёр уже не мог наблюдать эту сцену.

Я очнулся в зимней электричке, где, забившись в угол, услышал: «Мытищи. Следующая – Строитель». Впервые я проехал родную Лосинку. На пустынной платформе «Строитель» всё было бело от свежесвыпавшего снега. Я сообразил, что надо перебраться на противоположную платформу, где и пролежал на скамейке до полшестого. Из карманов сыпались сторублёвые купюры. Кругом бродили какие-то ночные тени. Странно, но меня не ограбили. А через две недели я был восстановлен. Это сделал ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский, по ходатайству моего бывшего шефа Николая Николаевича Парийского. Пока буду жить, я этой ночи не забуду.

В 1952 году к власти в Институте пришёл Борис Васильевич Кукаркин. Человек крайне беспринципный, он давно уже жаждал этой самой власти. Есть такая категория людей, по-моему, чрезвычайно опасная. На моих глазах, за какие-нибудь год-два, Кукаркин разворачивался на 180°. Например, сразу же после войны он призывал нас, молодых астрономов, печататься

только в англо-американских изданиях и тем утверждать и пропагандировать выдающиеся достижения отечественной науки. Спустя 2-3 года он с не меньшей яростью и во имя всё той же отечественной науки предавал анафеме тех жалких безродных космополитов, которые печатаются в иностранных изданиях. В нём было что-то от иезуита и очень много истерики. Его не любили и не уважали. Имел, например, глупость многократно хвастаться, что может 17 раз подряд повторить известный подвиг Геракла – брехал, конечно. Вообще, число «17» действовало на него почему-то гипнотически. Впрочем, человек он был не без способностей, астрономию любил, хотя систематического образования не получил, был самоучкой.

Его свергли в 1956 году, причём и я приложил к этому делу свою руку. А зря! Вообще, никому не советую принимать участие в «пронунсиаментах», то бишь дворцовом перевороте. Всегда на смену приходит нечто гораздо худшее [20](#). Впервые в практике ГАИШа «на княжение» был призван варяг (из Казани) – Дмитрий Яковлевич Мартынов.

До этого ГАИШ всегда был питомником директоров для других астрономических учреждений. Наступила более чем 20-летняя эпоха «дямократии» (сотрудники прозвали нового директора Дямкой). Определяющим в его облике и поведении было то, что он с 25-летнего возраста (!) занимал руководящие посты – одно время был даже ректором третьего в стране университета – Казанского. По этой причине он был буквально пропитан ощущением своей значимости и величия, что совершенно вскружило его слабую голову. Это был воинственный до самозабвения бюрократ, досконально знающий своё чиновничье дело. Мы сразу же невзлюбили друг друга.

Если бы это касалось только меня, всё было бы ещё ничего. Но начиная с 1953 года я по крупицам из талантливой молодёжи, остро ощущавшей происходящую в нашей астрономической науке революцию, формировал отдел, условно называемый «отделом радиоастрономии», хотя мы не ограничивались только радиоастрономией. Это было дьявольски трудно, но так увлекательно! А какой славный был у нас коллоквиум! Да и сам я переживал длительную полосу творческого подъёма – богиня удачи была ко мне благосклонна. А тут ещё был запущен первый советский спутник – началась космическая эра. Сразу же я предложил эффектный метод «искусственной кометы», позволивший проводить оптические наблюдения лунных ракет. Стал заседать на Миусах у Келдыша. Мои ребята с огромным энтузиазмом занялись Космосом. В разгар этих событий в ГАИШ пожаловал сам Сергей Павлович Королёв, пожаловал, так сказать, инкогнито. Зашёл в Дямкин кабинет, благо пропусков в ГАИШе не спрашивали. Кабинет был пустой, и С.П. с начальственной небрежностью расселся в одном из кресел. И тут появился Дямка, обалдело уставившись на дерзкого незнакомца, который, потешаясь над незадачливым хозяином кабинета, отнюдь не спешил представиться. Я, весь день ждавши С.П., пошёл как раз в это время в буфет. Положение спас Петя Щеглов, который, увидев Главного Конструктора, вытянулся во фронт и выразил тем самым своё особое уважение. И только тогда наш шеф сообразил, кто сидит у него в кабинете...

Отношения наши прогрессивно ухудшались, и, улучив момент, он провалил меня на конкурсе. Пришлось жаловаться Ивану Георгиевичу на недооценку директором ГАИШа важности космических исследований.

И опять меня спас незабвенный Ректор. Вообще, по всем делам, большим и малым, касающимся моего отдела и его сотрудников, я обращался непосредственно к Ивану Георгиевичу, что, конечно, нельзя было считать нормальным. Но что прикажете делать? Между тем Дямка был неистощим в мелких уколах, что отравляло наше существование. В конце концов, в 1968—1969 годах основная, творчески наиболее активная часть отдела радиоастрономии ГАИШа покинула стены Alma mater и перешла во вновь организованный Институт космических исследований Академии наук СССР, где получила более или менее нормальные условия существования. Впрочем, одной из причин ухода из ГАИШа для меня лично было активное нежелание лежать в положенный мне Богом час на многим хорошо известном большом дубовом столе в конференц-зале. Что-что, а ритуал гражданской панихиды отработан здесь до мельчайших деталей.

Оставшаяся в ГАИШе часть отдела всё ещё дышит — главным образом по причине создания лаборатории Института при величайшем радиотелескопе РАТАН-600, что около станции Зеленчукской. Создание этой лаборатории университету почти ничего не стоило, и я горжусь, что это была моя инициатива.

Важным стабилизирующим фактором было и то, что в ГАИШе в течение почти 20 лет работал незабвенный Соломон Борисович Пикельнер, являвший собой эталон порядочности, талантливости и самозабвенного служения науке. Нелепая его смерть в 1975 году существенно ускорила давно уже начавшийся процесс эрозии ГАИШа.

После 23 лет абсолютного царствования тов. Мартынов подал в отставку. Его понтификат привёл ГАИШ в тяжёлое состояние. Фактически коллектив

распался на отдельные разрозненные группы и группки. Новый директор Аксенов – не астроном, он небесный механик, а это почти чистая математика. В итоге почти четвертьвековой деятельности (антидеятельности) Дямки оказалась утраченной *связь поколений*, потеряны традиции, без чего научный коллектив жить не может. С уходом основной части отдела радиоастрономии, служившей как бы «ферментом брожения», ГАИШ потерял настоящую перспективу развития.

Но, как известно, свято место пусто не бывает – и в эти же годы в Институте пышным цветом расцвела релятивистская астрофизика – детище на редкость энергичного академика Я. Б. Зельдовича, привыкшего к «средмашевским» масштабам. По четвергам в столь памятном мне конференц-зале заседает ихний семинар – «Театр одного актёра», то есть Рашида Сюняева, которому невероятно мирволит сам Я.Б. Когда-то здесь проходили занятия нашего коллоквиума...

Никто не против такой важной области современной теоретической астрофизики, как релятивистская астрофизика, но имейте же чувство меры! Гипертрофированное развитие одного органа в ущерб другим – верный признак тяжёлой болезни. Студенты быстро поняли, что попасть в орбиту релятивистской астрофизики – верный способ в «домашних условиях» и с гарантией защитить в срок кандидатскую диссертацию. А эксперимент, наблюдения (иными словами, реальная, а не выдуманная астрономия) – дело хлопотное и при нашем бардаке ненадёжное. Что и говорить – нынешняя молодёжь всё это «просекает» мгновенно! В результате вот уже почти 10 лет идёт процесс «отсоса» всего способного и толкового в релятивистскую астрофизику. Их накопилось уже немало, а перспективы

трудоустройства мрачны – таков итог бесконтрольного размножения никому не нужных, хотя вполне квалифицированных теоретиков. Такое патологическое развитие научного коллектива вполне аналогично раковой болезни, возникающей от бесконтрольного размножения некоторых патологических клеток. Ведь с точки зрения каждой такой клетки всё обстоит прекрасно, но вот организм почему-то гибнет.

Я не исключаю, конечно, возможность излечения затянувшейся болезни. Это потребует разумного применения медикаментозных средств, в том числе и хирургических. Но кто это будет делать? А между тем в виде разрозненных очагов в ГАИШе существуют пока ещё вполне жизнеспособные ячейки. Эти ячейки связаны с наблюдательными станциями Института. Справедливости ради надо сказать, что организация таких станций, особенно Крымской, – пожалуй, заслуга Д. Я. Мартынова. Но спасение Института возможно только тогда, когда в Институте появится новый, *настоящий* директор, лидер коллектива, коренной астроном, желательно помоложе. А где найти такого? И наконец – правомочно ли рассматривать перспективы маленького института в отрыве от основных тенденций в развитии нашего государства?

Я был погружён в эти невесёлые мысли, когда ко мне зашёл мой сотрудник Володя Заболотный, который живёт на Пресне в доме старой обсерватории, и поведал мне удивительную историю. Юбилеи ГАИШа отпраздновали 9 декабря, причём довольно пышно. В третьем часу ночи Заболотный проснулся от страшного лязга и грохота.

– Впечатление было такое, что идёт бомбёжка, – заметил Володя.

Грохот стоял непрерывный, и многие жильцы дома, в том числе и Володя, выбежали во двор. И тут они увидели страшную картину: под холодным дождём, смешанным со снегом, медленно вращался проржавевший купол большого астрографа. По двору металась испуганная сторожиха в поисках куда-то затерявшегося ключа от башни – по причине ненастной погоды несколько недель ни одна душа на башню не заходила. Было от чего прийти в испуг – сильно отдавало совершенно гоголевской чертовщиной. Покрутившись минут 20, купол вдруг остановился. На следующее утро случившееся странное явление получило своё объяснение: оказывается, рубильник, включающий мотор, который вращает купол, был замотан... половой тряпкой! Напитавшись грязной влагой от почти непрерывно шедших дождей, тряпка приобрела конечную проводимость и замкнула цепь. Всё же символично, что это случилось точно в юбилейную ночь. Какой-то высший смысл в этом усмотреть можно. По крайней мере, я так полагаю.

«НА ДАЛЁКОЙ ЗВЕЗДЕ ВЕНЕРЕ...»

Позвонила Женя Манучарова:

– Мне срочно нужно вас видеть. Не могли бы вы меня принять?

Манучарова – жена известного журналиста Болховитинова – работала в отделе науки «Известий». Только что по радио передали о запуске первой советской ракеты на Венеру – дело было в январе 1961 года. Совершенно очевидно, что Манучаровой немедленно нужен был материал о Венере – ведь «Известия» выходят вечером, а «Правда» – утром, и органу Верховного Совета СССР представилась довольно редкая возможность опередить центральный орган... «Известия» тогда занимали в нашей прессе несколько обособленное положение: ведь главредом там был «зять Никиты – Аджубей» (цитирую популярную тогда эпиграмму – начинались звонкие шестидесятые годы – расцвет советского вольномыслия).

Когда я усадил гостью за мой рабочий стол, она только сказала:

– Умоляю вас, не откажите – вы же сами понимаете, как это важно!

Не так-то просто найти в Москве человека, способного «с ходу», меньше чем за час накатать статью в официальную газету. Осознав своё монопольное положение, я сказал Манучаровой:

– Согласен, но при одном условии: *ни одного слова* из моей статьи вы не выбросите. Я достаточно знаком с журналистской братией и понимаю, что в вашем положении вы можете наобещать всё что угодно. Но только прошу запомнить, что «Венера» – не последнее наше достижение в Космосе. Если вы, Женя, своё обещание не выполните – больше сюда не приходите. Кроме того, я постараюсь так сделать, что ни один мой коллега в будущем не даст в вашу газету даже самого маленького материала.

– Ваши условия ужасны, но мне ничего не остаётся, как принять их, – без особой тревоги ответствовала журналистка.

И совершенно напрасно! Я стал быстро писать, и через 15 минут, не отрывая пера, закончил первую страницу, передал её Жене и с любопытством стал ожидать её реакции. А написал я буквально следующее: «Много лет тому назад замечательный русский поэт Николай Гумилёв писал:

На далёкой звезде Венере

Солнце пламенней и золотистой,

На Венере, ах, на Венере

У деревьев синие листья...»

Дальше я уже писал на привычной основе аналогичных трескучих статей такого рода. Правда, вначале пришлось перебросить мостик от Гумилёва к современной космической эре. В качестве такового я использовал Гавриила Андриановича Тихова с его дурацкой «астроботаникой». Что, мол, согласно идеям выдающегося отечественного планетоведа, листья на Венере должны быть отнюдь не синие, а скорее красные – всё это, конечно, в ироническом стиле. После такого вступления написание дежурной статьи никаких трудов уже не представляло.

Прочтя первые строчки, Манучарова схватилась за сердце.

– Что вы со мной делаете! – простонала она.

– Надеюсь, вы не забыли условия договора? – жёстко сказал я.

Отдышавшись, она сказала:

– Как хотите, но единственное, что я вам действительно реально могу обещать, – это донести статью до *главного*, ведь иначе её забодают на самом низком уровне!

– Это меня не касается – наш договор остаётся в силе!

Ещё с довоенных времён я полюбил замечательного поэта, так страшно погибшего в застенках Петроградского Большого Дома, главу русского акмеизма Николая Степановича Гумилёва. Как только мне позвонила Манучарова, я сразу же сообразил, что совершенно неожиданно открылась уникальная возможность через посредство Космоса почтить память поэта, да ещё в юбилейном для него году (75-летие со дня рождения и 40-летие трагической гибели). Все эти десятилетия вокруг имени поэта царило гробовое молчание. Ни одной его книги, ни одной монографии о творчестве, даже ни одной статьи напечатано не было! Конечно, Гумилёв в этом отношении не был одинок. По-видимому, Россия слишком богата замечательными поэтами... Всё же случай Гумилёва – из ряда вон выходящий.

«Известия» тогда я не выписывал. Вечером я звонил нескольким знакомым, пока не нашёл того, кто эту газету выписывает.

– Посмотри, пожалуйста, нет ли там моей статьи?

– Да, вот она, и какая большая – на четвёртой полосе!

– Прочти, пожалуйста, начало.

Он прочёл. Всё было в полном ажуре. Более того, над статьей «сверх программы» – огромными буквами шапка: «На далёкой планете Венере...». Они только гумилёвское слово «звезда» заменили на «планету». Ведь для чего-то существует в такой солидной газете отдел проверки: посмотрели в справочнике – нехорошо, Венера не звезда, а планета! Поэт ошибался – решили глухие к поэзии люди. Ну и чёрт с ними – это, в сущности, пустяки. Главное – впервые за десятилетия полного молчания имя поэта, и притом в самом благоприятном контексте, появилось в официальном органе! Забавно, что я потом действительно получил несколько негодующих писем чистоплюев – любителей акмеизма – с выражением возмущения по поводу замены *звезды* на *планету* ...

А через несколько дней разразился грандиозный скандал. Известнейший американский журналист, аккредитованный в Москве, пресловутый Гарри Шапиро (частенько, подобно слепню, досаждавший Никите Сергеичу), опубликовал в «Нью-Йорк таймс» статью под хлётским заголовком «Аджубей реабилитирует Гумилёва». В Москве поднялась буча. Аджубей, как мне потом рассказывали очевидцы, рвал и метал. Манучарову спасло высокое положение её супруга. Всё же каких-то «стрелочников» они там нашли. А меня в течение многих месяцев журналисты всех рангов обходили за километр. Забавно, например, вспомнить, как мы в феврале 1961 года успешно отнаблюдали с борта самолёта-лаборатории полное солнечное затмение. Стая

журналистов набросилась на моих помощников, окружив их плотной толпой, как бы совершенно не замечая меня, стоявшего тут же...

Я был чрезвычайно горд своим поступком и, распираемый высокими чувствами, послал Анне Андреевне Ахматовой вырезку из «Известий», сопроводив её небольшим почтительным письмом. Специально для этого я узнал адрес её московских друзей Ардовых, у которых она всегда останавливалась, когда бывала в столице. Долго ждал ответа – ведь должна же была обрадоваться старуха такому из ряда вон выходящему событию! Прошли недели, месяцы. Я точно установил, что Ахматова была в Москве. Увы, ответа я так от неё и не дождался, хотя с достоверностью узнал, что письмо моё она получила. Кстати, как мне передавали знающие люди, она читала мою книгу «Вселенная, Жизнь, Разум» и почему-то сделала вывод, что «этот Шкловский, кажется, верит в Бога!».

Причину молчания Анны Андреевны я узнал через много лет. Оказывается, цикл стихов «К синей звезде» Гумилёв посвятил *другой женщине!* Это просто поразительно – до конца своих дней она оставалась женщиной и *никогда* не была старухой.

С тех пор прошло очень много лет. Ни одна, даже самая тоненькая, книжка стихотворений Гумилёва пока ещё в нашей стране не напечатана. Между прочим, как я случайно узнал, Аджубей в 1964 году очень старался, чтобы книга стихов погибшего поэта вышла – видать, история с Венерой пошла ему впрок, тем более что отгремел XXII съезд партии. Увы, даже запоздалое

заступничество зятя не помогло, ибо в том же году тесть прекратил своё политическое существование.

По-видимому, для того чтобы стихи этого поэта стали доступны нашему читателю, нужна значительно более энергичная встряска нашей застоявшейся жизни, чем удачный запуск первой венерианской ракеты.

АНТИМАТЕРИЯ

Зазвонил телефон. Незнакомый женский голос:

– С вами будет говорить Мстислав Всеволодович.

Дело было в 1962 году – кажется, в декабре – помню, дни были короткие. Никогда до этого президент Академии и главный теоретик космонавтики не баловал меня своим вниманием – отношения были сугубо «односторонние». что-то, значит, случилось экстраординарное.

– Так вот, Иосиф Самуилович, – раздался тихий, брюзгливый, хорошо мне знакомый голос, – чем говорить в кулуарах всякие гадости о Борисе Павловиче, поехали бы к нему в Ленинград и изучили бы его работы на месте. Вы поедете «Стрелой» сегодня. С Борисом Павловичем я уже договорился. Вас встретят. И, пожалуйста, разговаривайте там вежливо – представьте себе, что вы беседуете со своим иностранным коллегой. Ясно?

Я только ошалело задал Келдышу идиотский вопрос:

– А кто же будет платить за командировку?

Я тогда ещё не работал в системе Академии наук.

– Что? – с удивлением, смешанным с омерзением, произнёс президент.

– Простите, глупость сказал. Сегодня же еду.

Раздались короткие телефонные гудки.

Это он неплохо поддел меня с «иностранным коллегой» – что называется, ударил «между рогашвили», как выражался когда-то студент-фронтовик Сима Миттельман. Дело в том, что звонку президента предшествовало поразившее меня событие. Я получил через первый отдел предписание явиться в определённый час в президиум Академии наук, в кабинет президента, дабы присутствовать на некоем совещании, о характере которого не было сказано ни одного слова. Значит, особо секретное дело должно обсуждаться. Я тогда с большим азартом занимался космическими делами и частенько заседал в Межведомственном совете, где председателем был Мстислав Всеволодович. Обычно заседания проходили у него в кабинете на Миусах.

«Почему на этот раз в президиуме?» – недоумевал я.

Весьма заинтригованный, я прибыл туда минут за десять до начала. Первое, что удивило, – это присутствие совершенно незнакомых мне людей. Попадались, конечно, и знакомые лица – помню, в углу сидел Амбарцумян, за всё время заседания не проронивший ни слова. Кажется, там был и Капица. Из незнакомых персон меня поразил грузный пожилой человек с абсолютно голым черепом, необыкновенно похожий на Фантомаса. Это был Анатолий Петрович Александров, будущий президент Академии. Однако центральное место на этом небольшом, сугубо элитарном сборище занимал мужчина средних лет – тоже, кстати,

совершенно лысый! – отдававший своим помощникам какие-то приказания. Сразу было видно, что этот человек привык к власти. Кроме того, он был на самой короткой ноге с высшим начальством – это бросалось в глаза. На стенах кабинета сотрудники незнакомца развешивали большие листы ватмана, на которых тушью были изображены какие-то непонятные мне графики.

Президент открыл собрание, и я сразу же почувствовал себя не в своей тарелке, ибо только я один абсолютно не понимал происходящего. Слово было предоставлено Борису Павловичу – так звали важного незнакомца. Впрочем, незнакомцем он был только для меня, чужака и явно случайного человека в этой комнате. Все его знали настолько хорошо, что *ни разу* его фамилия не произносилась.

Борис Павлович тотчас же приступил к делу, суть которого я понял далеко не сразу. Он напомнил присутствующим, что два года назад было принято Правительственное постановление, обеспечивающее проведение ленинградским Физтехом особо секретных работ важнейшего государственного значения. За это время была проделана большая работа и получены весьма обнадеживающие результаты. Поэтому он просит высокое собрание одобрить проделанную работу, продлить срок Постановления и, соответственно, выделить дополнительно ещё несколько миллионов рублей. Когда докладчик очень кратко излагал полученные результаты, он довольно туманно пояснял висевшие на стенах графики. Это дало мне возможность постепенно понять смысл проводимых на Физтехе работ. Когда этот смысл наконец дошёл до меня, я едва не упал со стула. Первое желание было – расхохотаться. С немалым трудом подавив смех, я начал накаляться.

Оглянувшись вокруг, я увидел очень важные лица пожилых, обременённых высокими чинами людей, с видом крайней заинтересованности внимавших докладчику. На миг мне показалось, что это какой-то дурной сон или я сошёл с ума.

И действительно, было от чего тронуться: Борис Павлович, как нечто само собой разумеющееся, утверждал, что астрономы уже давно и окончательно запутались в вопросе о происхождении комет и метеоров. Они, астрономы, будучи невежественными в современной ядерной физике, не понимают, что на самом деле кометы и продукты их распада, то есть метеорные потоки, состоят из *антивещества*. Попадая в земную атмосферу, крупницы антивещества там аннигилируют и тем самым порождают гамма-кванты. Вот эти атмосферные вспышки гамма-излучения, якобы совпадающие с попаданиями в атмосферу отдельных метеоров, и наблюдали – совершенно секретно! – во исполнение Правительственного постановления, сотрудники Физтеха! Что и говорить, дело было поставлено с огромным размахом. Пришлось заводить свою радарную службу наблюдения метеоров, организовывать полёты специально оснащённых самолётов-лабораторий и многое, многое другое. Одновременно по этой тематике работало до сотни человек! Моему возмущению не было предела. Ещё бы: ведь на всю метеорную астрономию в нашей стране тратилось в несколько сот раз меньше материальных средств, чем на эту, более чем странную затею! И потом – какой тон позволил себе этот чиновник, дремучий невежда, по отношению к астрономам! Хорош гусь и этот Амбарцумян – уж он-то знает, что на Физтехе занимаются бредом, а молчит! Не хочет, видать, портить

отношения с важными персонами. Господи, куда же я попал?

Собрание длилось недолго – не больше 30 минут. Деятельность Физтеха одобрили, деньги выделили, докладчика весьма хвалили. Мне подымать шум на таком фоне было просто немыслимо. Когда стали расходиться, я спросил знакомого работника Президиума, молодого Володю Минина:

– А кто он, собственно говоря, такой, этот Борис Павлович?

– Как кто? Это директор Физтеха академик Константинов!

Эта фамилия была для меня что звук пустой – я такого физика просто не знал. Тут я дал волю своим долго сдерживаемым чувствам и в самой популярной форме, усвоенной мною в юности, когда я работал десятником на строительстве БАМа, объяснил Минину, что я думаю об этих «особо секретных работах», о товарище Константинове, об идиотах, которые участвовали в этом балагане, и ещё кое о чём. Объяснения давались довольно громко, в «предбаннике» президентского кабинета, и, несомненно, были услышаны не одним Володей. А через несколько дней мне позвонил президент.

Получив приказ Келдыша, я понял, что влип в малоприятную историю. Ехать в Ленинград, естественно, не хотелось. Тем более что метеорами и кометами никогда в жизни я не занимался.

«А там, у Константинова, – думал я, – в лучшем в стране Физическом институте, как-нибудь уж есть люди, в метеорном деле разбирающиеся получше, чем я –

полный дилетант. Но ведь *истина* – то, что называется «истина в последней инстанции», – на моей стороне! Ведь то, что там делается, – полный горячечный бред! И неужто я не выведу их на чистую воду? Грош мне цена тогда. Значит – в бой!»

Оставшиеся несколько часов до отъезда в Ленинград я потратил на штудирование популярной брошюры о метеорах, написанной канадским специалистом этого дела Милманом. Вся брошюра – 35 страниц, как раз то, что требуется для понимания сути дела.

Было ещё темно, когда на Московском вокзале меня встретили два сотрудника Физтеха, усадили в машину и повезли на Лесной. В своём кабинете, увешанном теми же самыми графиками, что висели за несколько дней до этого в президиуме Академии, меня уже ожидал Борис Павлович. На стульях вдоль стен сидела дюжина его ближайших сотрудников, искателей антиматерии в земной атмосфере. Встретили меня с холодной вежливостью.

С места в карьер я перешёл в решительное наступление, взял инициативу в свои руки и больше её не выпускал. Даже теперь, спустя более чем двадцать лет, я с удивлением вспоминаю об этой баталии.

Сражение развивалось приблизительно по следующему сценарию:

Вначале, демонстрируя эрудицию, почерпнутую у Милмана, я очень доходчиво объяснил им, что астрономы – отнюдь не такие лопухи, как их пытается изобразить Борис Павлович, и в метеорно-кометном деле кое-что понимают. Кстати, тут выяснилось, что я зря боялся эрудиции ленинградцев в этом самом деле – как и у

подавляющего большинства физиков, их знания в астрономии были вполне примитивными. Милмановская компиляция была для них просто откровением. Само собой разумеется, что из тактических соображений источника своей эрудиции в кометно-метеорном деле я не открывал...

После этой вводной части я нанёс удар, который мне представлялся сокрушительным. Я назвал количество ежесуточно выпадающего на Землю метеорного вещества (500 тонн), умножил его на квадрат скорости света и чётко показал, что если считать это вещество антивеществом, то мощность облучения нашего бедного шарика аннигиляционным гамма-излучением была бы эквивалентна ежесуточным взрывам многих сотен миллионов мегатонных водородных бомб.

– Я не буду вам объяснять, что это значит, – это ведь, кажется, по вашей части? – нахально закончил я.

Казалось бы – всё. Но не тут-то было! Изловчившись, Борис Павлович парировал:

– Ваша оценка массы основана на производимом метеорами оптическом эффекте и в предположении, что они состоят из *вещества*. Но я считаю, что они состоят из *антивещества*, а в этом случае для производства такого же количества вспышек нужно неизмеримо меньше материала!

«Соображает начальничек», – подумал я.

Мне сразу стало легче – я ведь колебался в оценке директора Физтеха – одержимый или мошенник? Я всегда предпочитал одержимых, к числу которых, как мне стало совершенно ясно, принадлежал Константинов. Поняв это, я долбанул его второй раз:

– Но, Борис Павлович, имеются многие тысячи метеорных спектров. По ним можно буквально *сосчитать* количество падающих на Землю метеорных атомов (я, конечно, преувеличивал, но в принципе был абсолютно прав). Эти расчёты дают примерно то же самое количество массы для падающего на Землю метеорного материала, что и по световым вспышкам. Вам не надо доказывать, что спектр антиатомов абсолютно такой же, как у обычных атомов?

О да, это они понимали! Удар был слишком силён, и в рядах противника наступило замешательство. По лицам сотрудников Б.П. я понял, что для них уже всё стало ясно – всё-таки это были первоклассные физики. Больше они уже ни слова не вякнули. Но не таков был Борис Павлович! Немного оправившись от нокдауна, он стал ловчить:

– Видите ли, я вовсе не считаю, что *все* метеоры состоят из антивещества. Например, спорадические метеоры вполне могут состоять из обычного вещества. Я полагаю, что только метеоры – продукты распада комет – состоят из антивещества. Вы же не можете по спектру сказать, какой это был метеор – спорадический или кометный?

Вот тут-то мне пригодился Милман!

– Именно могу! – сказал я, торжествуя. – Метеорный спектр определяется относительной скоростью, с которой происходит столкновение соответствующего потока с атмосферой. Спектры «догоняющих» метеорных потоков имеют несравненно менее высокое возбуждение, чем «встречные», так как их относительные скорости весьма отличаются. Специалист сразу же отличит спектр метеора, принадлежащий какому-нибудь потоку

Драконид, от метеора из потока, скажем, Леонид. Излишне напоминать вам, что метеорные потоки имеют *кометное* происхождение!

Победа была полная. Время было уже далеко за полдень. Б.П. отпустил сотрудников. Меня тошнило от голода – во рту со вчерашнего вечера маковой росинки не было, о чём я прямо и сказал хозяину.

– Сейчас организуем.

Секретарша принесла чай и какие-то приторно-сладкие пирожные. За чаем Б.П. продолжал долдонить своё – ведь он был фанатик. Я же, смертельно усталый, мечтал о хорошем куске мяса и молчал. Расстались очень мило. Поехал на Московский вокзал (вернее, меня отвёз туда шофёр академика), где в полудремоте долго ждал поезда. В Москве никто не спросил у меня отчёта о поездке. Конечно, за командировку тоже никто не заплатил...

Эта история впервые заставила меня серьёзно задуматься о путях развития и о судьбах нашей науки. Мне стало очень грустно. То есть умом я, конечно, понимал, какие безобразия у нас зачастую происходят. В случае с «антиматерией» судьба бросила меня, что называется, в самую гущу наших «великих проектов». В этом случае, как и в ряде других, всё решала власть невежественных чиновников.

А Борис Павлович Константинов вскоре стал первым вице-президентом нашей Академии, не оставляя директорства ленинградским Физтехом. Он был, ей-богу, совсем неплохим человеком и весьма квалифицированным физиком-*акустиком*. Однако главная его заслуга – весомый вклад в создание ядерной мощи нашей страны. Науку Борис Павлович любил. А что

касается антиматерии – может быть, по-человечески его даже можно было понять – очень хотел прославить своё имя в науке. Не случайно он часто повторял: «Настоящий физик – это тот, чьё имя можно прочесть в школьных учебниках». И опять-таки не случайно Борис Павлович рекомендовал своим коллегам никогда не отказываться от договорной тематики прикладного характера. Кстати, легализацию своих «антиматерийных» исследований Константинов пробил через Хрущёва, которого охмурил военно-прикладным аспектом этой чудовищной идеи. Человек кипучей энергии, он сжигал себя на малопродуктивной организаторской работе и преждевременно, в 59 лет, скончался в 1969 году.

А на развалинах группы, искавшей антиматерию, возник на Физтехе сильный астрофизический отдел, где есть толковые молодые люди и выполнен ряд важных исследований, в том числе экспериментальных. Так что нет худа без добра...

Перед зданием Физтеха, внутри уютного дворика, на довольно высоком постаменте установлен бюст Бориса Павловича. Рядом доска, на которой надпись: «Здесь с 1927 по 1969 г. работал выдающийся русский физик Борис Павлович Константинов». Когда я бываю на Физтехе, я всегда останавливаюсь перед этим бюстом и вспоминаю тот далёкий зимний день 1962 года. Неподалёку стоит бюст основателя Физтеха Абрама Федоровича Иоффе. Никакой мемориальной доски там нет. А вот около третьего бюста – Курчатова – такая доска есть. На ней много лет красовалась надпись, что-де здесь работал выдающийся *советский* физик. В прошлом году слово «советский» переделали на «русский». Полагаю, что это случилось после моих язвительных

комментариев по поводу столь странной иерархии эпитафий...

О ЛЮДОЕДАХ

В январе 1967 года в Нью-Йорке собрался второй Техасский симпозиум по релятивистской астрофизике – пожалуй, наиболее бурно развивающейся области астрономии. За 4 года до этого были открыты квазары, и границы наблюдаемой Метагалактики невероятно расширились. Всего только немногим более года прошло после открытия фантастического реликтового радиоизлучения Вселенной, сразу же перенёсшего нас в ту отдалённую эпоху, когда ни звёзды, ни галактики в мире ещё не возникли, а была только огненно-горячая водородно-гелиевая плазма. Тогда расширяющаяся Вселенная имела размеры в тысячу раз меньшие, чем сейчас. Кроме того, она была в десятки тысяч раз моложе. Я очень гордился, что сразу же получивший повсеместное признание термин «реликтовое излучение» был придуман мною. Трудно передать ту атмосферу подъёма и даже энтузиазма, в которой проходил Техасский симпозиум.

Погода в Нью-Йорке стояла для этого времени года небывало солнечная и тёплая. Впечатление от гигантского города было совершенно неожиданное. Почему-то заранее у меня (как и у всех, никогда не видевших этого удивительного города) было подсознательное убеждение, что в красках Нью-Йорка преобладает серый цвет. Полагаю, что это впечатление происходило от чтения американской и отечественной литературы («город жёлтого дьявола», «каменные

джунгли» и пр.). На самом деле, первое сильнейшее впечатление от Нью-Йорка – это красочность и пестрота. Перефразируя Архангельского, пародировавшего Маяковского, я бы сказал, что это наша Алупка, «только в тысячу раз шире и выше».

Итак, Нью-Йорк – это тысячекратно увеличенная Алупка или, может быть, десятикратно увеличенный Неаполь, которого я, правда, никогда не видел. Завершает сходство Нью-Йорка с южными городами и даже городками поразительная узость его улиц. Я сам, «собственноножно», измерил ширину Бродвея и знаменитой блистательной 5-й авеню: ширина проезжей части этой *улицы* – 19 шагов, а у Бродвея – всего 17!

Как известно, Нью-Йорк – один из немногих городов Америки, где на улицах царствует пешеход. До чего же колоритна эта толпа! Удивительно интересны своим неожиданным разнообразием негритянские лица. В этой толпе я себя чувствовал как дома – может быть, потому, что в гигантском городе живёт три миллиона моих соплеменников?

Но совершенно ошеломляющее впечатление на меня произвели нью-йоркские небоскрёбы, прежде всего – сравнительно новые. Как они красивы и красочны! Временами было ощущение, что эти здания выложены такими же плитками, что и знаменитые мечети Самарканда! Все участники симпозиума жили и заседали в 40-этажном отеле «Нью-Йоркер», это на углу 8-й авеню и 32-й стрит. На той же стрит, в четырёх коротких «блоках» от нашего отеля, взлетал в небо ледяной брус Эмпайр-Стэйт-Билдинга.

В первый же вечер после нашего приезда в огромном конференц-зале отеля состоялся, как это

обычно бывает, приём, где в невероятной тесноте, держа в руках стаканы с виски, участники учёного собрания, диффундируя друг через друга, взаимно «обнюхивались». Нас собралось свыше тысячи человек – цвет мировой астрономической науки.

– Хэллоу, профессор Шкловский, как идут дела? – передо мною стоял немолодой, плотный, с коротко подстриженными усами Джесси Гринстейн – директор крупнейшей и знаменитейшей в мире Калифорнийской обсерватории Маунт Паломар. – Что бы вы хотели посмотреть в этой стране, куда, как я знаю, вы приехали впервые?

У меня, как и у других советских делегатов, разрешение на командировку имело длительность один месяц, хотя симпозиум (а вместе с ним и наши мизерные валютные ресурсы) кончился через пять дней. Не растерявшись, я сказал Джесси, что хотел бы, если это, конечно, возможно, посетить его знаменитую обсерваторию, а также Национальную радиоастрономическую обсерваторию Грин Бэнк и Калифорнийский технологический институт в Беркли. Атмосфера приёма была такая, что я даже не ужаснулся собственной дерзости.

– О'кей! – сказал Гринстейн и растворился в толпе.

Каждые несколько секунд меня в этой «селёдочной бочке» приветствовал кто-либо из американских коллег, чьи фамилии мне были хорошо известны. Просто голова кружилась от громких имён! Через каких-нибудь 15 минут из толпы вынырнул Гринстейн, на этот раз очень серьёзный и деловитый. Он передал мне довольно большой конверт, попросив ознакомиться с его содержимым. В конверте была книжечка авиабилетов с

уже указанными рейсами (Нью-Йорк – Лос-Анджелес; Лос-Анджелес – Сан-Франциско; Сан-Франциско – Вашингтон; Вашингтон – Нью-Йорк) и напечатанное на великолепной машинке расписание моего вояжа («тайм-тэйбл»), где чётко указывались дата, рейс, кто провожает и кто встречает в каждом из пунктов моего маршрута.

– Деньги на жизнь вам будут выдаваться на местах. Может быть, вы хотите ещё куда-нибудь?

Совершенно обалдевший, я только бормотал слова благодарности. Мой благодетель опять растворился в толпе. Ко мне подошёл наблюдавший эту сцену член нашей делегации Игорь Новиков.

– И.С., а нельзя ли и мне?

Окончательно обнаглев, я нашёл в толпе Гринстейна и стал просить его оказать такую же услугу моему молодому коллеге. Не смущаясь присутствием Игоря, Джесси спросил:

– А он *настоящий* учёный?

Я его в этом заверил, и очень скоро у Игоря был такой же, как у меня, конверт. Кроме нас с Игорем американцы благодетельствовали ещё и Гинзбурга, который действовал самостоятельно. Остальные участники нашей делегации (например, Терлецкий), имеющие к релятивистской астрофизике, да и к астрономии вообще весьма далёкое отношение, несмотря на некоторые попытки, получили «от ворот поворот» и через несколько дней отправились восвояси.

Между тем приём продолжался. Я изрядно устал от обилия впечатлений (как-никак это был только первый день на американской земле) и присел на какой-то

диванчик. И тут ко мне в третий раз подошёл Гринстейн в сопровождении грузного пожилого мужчины, протянувшего мне свою мясистую руку и отрекомендовавшегося:

– Эдвард Теллер. Я знаю ваше расписание – вы будете в Сан-Франциско 6 февраля. Я жду вас в этот день в своём доме в 18 часов тихоокеанского времени.

Я что-то хрюкнул в ответ, и Теллер исчез. События развивались настолько стремительно, что я даже не удивился столь необычному приглашению. Быстро промелькнули страшно напряжённые пять дней симпозиума. У меня остались от них какие-то отрывочные воспоминания. Хорошо помню странный разговор с Джорджем, то бишь Георгием Антоновичем Гамовым, выдающимся физиком-невозвращенцем (с 1933 года), впервые, ещё в 1948 году, предсказавшим реликтовое излучение [21](#). На этом симпозиуме он был именинником. Увы, он уже доживал свои последние месяцы, хотя годами был далеко не стар. Мне оказали честь, предложив быть «черменом» заседания, посвящённого реликтовому излучению – это с моим-то знанием английского! Во время дискуссии Гамов с места что-то быстро стал мне говорить по-английски.

– Георгий Антонович, говорите по-русски, веселее будет!

Под хохот всего собрания Гамов немедленно перешёл на родной язык... И много было других эпизодов – забавных и не очень весёлых.

А потом, фигурально выражаясь, я был поставлен на рельсы непревзойдённого американского делового гостеприимства и покатился по великой заокеанской сверхдержаве. Меня захлестнуло невиданное доселе

обилие впечатлений, встреч, дискуссий, экскурсий. Голливуд. Диснейлэнд. Ночная поездка по шестиполосной «хай-вэй» от Сан-Диего (вблизи которого находится Маунт Паломар) до Пасадены, где назад, по соседним путям автострады, убегала сплошная рубиновая полоса от задних фар потока машин. А водителем был Мартен Шмидт – человек, открывший квазары.

И вот я в Сан-Франциско, городе моей детской мечты, когда я зачитывался Джеком Лондоном, полное собрание сочинений которого шло как приложение к выписываемому мною чудесному журналу «Всемирный следопыт». Город-сказку показывал мне Вивер, за год до этого вместе с Нэн Дитер открывший космические квазары, «работающие» на когда-то рассчитанной и предсказанной мной радиолинии межзвёздного гидроксила с длиной волны 18 см. Я упивался видом мостов через залив, особенно красавцем Голден Гейт Бридж, удивлялся смешному трамваю «Кейбл Кар», восхищался рыбным базаром. И тут Вивер озабоченно сказал:

– Не забудьте, пожалуйста, в 18 часов вы должны быть у профессора Теллера!

Бог ты мой, я об этом, конечно, начисто забыл – слишком много было всего. Видя мою растерянность, Вивер успокоил меня, сказав, что ещё есть время и он подкинет меня к дому Теллера точно в срок.

– А вы, конечно, пойдёте со мной? – неловко спросил я.

– Что вы, Теллер слишком крупная для меня, персона, я с ним совершенно не знаком.

Было уже пять минут седьмого, когда я вошёл в залитый светом роскошный коттедж знаменитого физика, «отца американской водородной бомбы». На приёме у Теллера блистала американская научная элита. Нобелевских лауреатов было по меньшей мере шесть. Двоих я знал лично – Чарлза Таунса и Мелвина Келвина. К моему крайнему смущению, как только я вошёл в дом, Теллер кинулся ко мне и стал выпытывать, что я думаю об этих непонятных квазарах. Тем самым он поставил меня в центр внимания, между тем как единственное моё желание было стушеваться. Хозяин дома явно плевал на этикет, требующий от него более или менее равномерного внимания ко всем гостям. Эта пытка продолжалась не меньше четверти часа. И тогда я решил каким-нибудь неожиданным образом отвязаться от него. Без всякой связи с проблемой квазаров я сказал:

– А знаете, мистер Теллер, несколько лет тому назад ваше имя было чрезвычайно популярно в нашей стране!

Теллер весьма заинтересовался моим заявлением. А я имел в виду известный «подвал» в «Литературной газете», крикливо озаглавленный «Людоед Теллер». Пытаясь рассказать хозяину дома содержание этой статьи, я, к своему ужасу, забыл, как на английский язык перевести слово «людоед». На размышление у меня были считанные секунды, и я, вспомнив, что родной язык Теллера – немецкий, сказал: Menschenfresser.

– О! – радостно простонал Эдвард, – Каннибал!

Позор – как же я забыл это знакомое мне с детства французское слово – пожалуй, первое французское слово, которое я узнал.

Но как это звучит по-русски?

– Лю-до-ед, – отдельно произнёс я.

Теллер вынул свою записную книжку и занёс туда легко произносимое русское слово.

– Завтра у меня лекция студентам в Беркли, и я скажу им, что я есть – лью-до-лед!

Гости, мало что понимая в нашем разговоре, вежливо смеялись. Я рокировался в угол веранды. У меня было время обдумать реакцию Теллера на обвинение в каннибализме.

Удивительным образом эта реакция напомнила мне мою первую встречу с советскими физиками-атомщиками лет за десять до этого. Бывшая сотрудница Отто Юльевича Шмидта Зося Козловская как-то затащила меня на день рождения к своему родственнику Кире Станюковичу («Станюк» – фигура довольно известная в физико-математических кругах Москвы; человек эксцентричный и большой любитель выпить). Квартира была наполнена незнакомыми и малознакомыми мне людьми, преимущественно физиками. Притомившись от обильного застолья, все принялись петь. Пели хорошо и дружно, сперва преимущественно модные тогда среди интеллигенции блатные песни. Почему-то запала в память хватаящая за душу песня, где были такие слова: «...но кто свободен духом, свободен и в тюрьме» и дальше подхваченный десятком голосов лихой припев: «...а кто там плачет, плачет, тот баба, не иначе, тот баба, не иначе – чего его жалеть!» И тут кто-то предложил:

– Братцы, споем нашу атомную!

Все гости, уже сильно пьяные, сразу же стали петь этот удивительный продукт художественной

самодетельности закрытых почтовых ящиков. В этой шуточной песне речь шла о некоем Гавриле, который решил изготовить атомную бомбу, так сказать, домашними средствами. С этой целью он залил свою ванну «водой тяжёлой», залез туда и взял в обе руки по куску урана.

«... И надо вам теперь сказать,

Уран был двести тридцать пять»,

– запомнил я бесшабашные слова этой весёлой песни.

«Ещё не поздно! В назиданье

Прочти стокгольмское воззванье!»

– предупреждали хмельные голоса певцов. Тем не менее результат такой безответственной деятельности пренебрёгшего техникой безопасности Гаврилы не заставил себя ждать: последовал ядерный взрыв, и злосчастный герой песни испарился.

«Запомнить этот факт должны

Все поджигатели войны!»

– этими словами под всеобщий гогот песня заканчивалась.

Среди веселящихся физиков выделялся явно исполняющий обязанности «свадебного генерала» Яков Борисович Зельдович. С близкого расстояния я видел его в тот вечер впервые.

Бесшабашный цинизм создателей атомной бомбы тогда глубоко меня поразил. Было очевидно, что никакие этические проблемы их дисциплинированные души не

отягощали. Через шесть лет после разговора с Теллером, лежа в больнице Академии наук, я спросил у часто бывавшего в моей палате Андрея Дмитриевича Сахарова, страдает ли он комплексом Изерли [22](#).

– Конечно, нет, – спокойно ответил мне один из наиболее выдающихся гуманистов нашей планеты.

В моей стране я знаю только одного человека, который достойно держал себя с самым главным из атомных (и не только атомных) людоедов. Человек этот – Пётр Леонидович Капица, нынешний патриарх советской физической науки, а обер-людоед – Лаврентий Павлович Берия, бывший тогда уполномоченным Политбюро по атомным делам. История эта давно уже стала легендарной. Увы, я не знаю подробностей из первоисточников [23](#). Но факт остаётся фактом: в мрачайшую годину сталинского террора академик Капица проявил величайшее мужество и силу характера. Его сняли со всех постов, превратив в «академика-надомника», но несгибаемый дух Петра Леонидовича не был сломлен. Полагаю, однако, что в немалой степени поведение Капицы определялось тем, что он – плоть от плоти Кавендишевской лаборатории славного Кембриджского университета. Он показал себя как достойный ученик своего великого учителя Резерфорда, который, как известно, будучи главой комитета помощи бежавшим из гитлеровской Германии учёным, не подавал руки эмигранту Фрицу Габеру по причине его решающего вклада в разработку химического оружия. Подчеркнём, однако, что положение Петра Леонидовича было неизмеримо труднее, чем у сэра Эрнеста.

С отголосками этой истории я недавно познакомился, читая любопытнейшие «Воспоминания» Хрущёва, изданные в Нью-Йорке. Где-то в начале шестидесятых Никита Сергеевич прямо спросил Петра Леонидовича:

– Почему вы не берёте оборонную тематику?

Последовал ответ:

– Я не люблю заниматься военной тематикой; я учёный, а учёные подобны артистам – они любят, чтобы об их работе говорили, показывали в кино, писали в газетах... А военная тематика – это секрет...

Неприятности, последовавшие после этого разговора, были вполне умеренные: академика (в который уж раз!) не пустили за границу, куда он был приглашён. Всё-таки времена уже были не сталинские.

Дальше в том же произведении следуют весьма любопытные комментарии Хрущёва: «Сахаров тоже к нам обращался, чтобы не взрывать водородную бомбу (по-видимому, в самом начале шестидесятых годов, перед серией испытаний многомегатонных „игрушек“. – *И.Ш.*), но всё-таки он дал нам водородную бомбу. Это патриотизм, это вклад, и какой вклад!.. Он чувствовал раздвоение. Он чувствовал, что должен помочь стране получить нужное вооружение против агрессора. С другой стороны, он боялся, что применение этого оружия будет связано с его именем...». Это свидетельство экс-премьера весьма любопытно. Я полагал, что трагическая ошибка Андрея Дмитриевича состояла в том, что, как он думал, с людоедами можно играть в разные игры и даже пытаться их обмануть. Впрочем, он был тогда молод и не имел за

плечами жизненного опыта Петра Леонидовича. Потом он поумнел...

Два месяца назад счастливый случай привёл меня в знаменитый музей Лос-Аламоса. Долго я смотрел на опалённую адским пламенем стальную колонну, перенёсшую первый на земле ядерный взрыв в находящейся неподалёку пустыне Аламогордо. Стоящая рядом копия хиросимской бомбы показалась мне маленькой. Но больше всего меня поразила вывешенная на стене фотокопия деловой переписки между дирекцией лаборатории и некоей очень высокой инстанцией, возможно Пентагоном. В этой деловой переписке повторно напоминалось о необходимости отдать распоряжение вбить гвоздь в стену кабинета мистера Оппенгеймера, дабы последний мог на него вешать шляпу. Как видно, жизнь лос-аламосской лаборатории в её «звёздный» период протекала вполне нормально и «физики продолжали шутить»...[24](#)

Всё же я лично знаю американского учёного, который проявил настоящее мужество и гражданскую доблесть в своих отношениях с людоедами. Это Фил Моррисон, в настоящее время один из ведущих американских астрофизиков-теоретиков. Тяжело больной, фактически калека, он ещё тогда, в далёкие сороковые годы, понял, что порядочность учёного и его честь несовместимы со служением Вельзевулу. Моррисон со скандалом ушёл из лос-аламосской лаборатории, громко хлопнув дверью. Он имел серьёзные неприятности, однако сломлен не был. Сидя с ним за одним столиком мексиканского ресторанчика в старой части Альбукерка, в какой-нибудь сотне миль от Лос-Аламоса, я смотрел в его синие, совершенно детские,

ясные глаза – глаза человека с кристально чистой совестью. И на душе становилось лучше.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ

Неделю назад меня провалили на очередных выборах в Академию наук. Я подсчитал, что за 25 минувших лет я баллотировался 10 раз и только один раз удачно. Это даёт мне основание выступить с некоторыми соображениями по поводу академических выборов, так сказать, «с позиции профессионала». Собственно говоря, в последний раз баллотироваться мне не следовало. Я очень отчётливо понимал, что являюсь «шансонеткой» [25](#). Было ещё и дополнительное обстоятельство, заведомо исключающее моё избрание. Речь идёт о той литературно-мемуарной деятельности, которой я безудержно предавался в течение последнего года. Я крайне неосторожно задел не подлежащий критике посмертный авторитет Ландау и позволил высказать своё недвусмысленно-отрицательное отношение к одному неблагоприятному поступку, некогда совершенному Зельдовичем. По этой причине совершенно испортились мои отношения с так называемым «прогрессивным», «левым» флангом нашей академической элиты, что вообще лишало меня каких бы то ни было шансов на избрание, поскольку отношения с правым флангом моих учёных коллег-выборщиков (Амбарцумян, Северный) давно уже были в состоянии, близком к насыщению. Я согласился баллотироваться, будучи на отдыхе (что расслабляет) и трезво полагая, что провал на выборах в академики развяжет мне руки.

Из сказанного следует, что я при оценке ситуации исходил из чисто тактических, «парламентских» соображений. В принципе меня, как и каждого другого кандидата, могли избрать – Партия и Правительство совершенно этому не препятствовали.

Провален я был чисто парламентским способом, путем честного тайного голосования. Здесь мы подходим к сути проблемы: назовите мне какой-нибудь другой институт в нашей стране, где важное дело решалось бы столь демократично! Где это видано, чтобы несколько десятков немолодых мужчин, прихватив баллотировочные списки с фамилиями многих десятков кандидатов на 2-3 места, разбредались бы по углам зала и, тщательно обдумав, вычеркивали стоящие против этих фамилий сакраментальные слова «согласен» – «не согласен»? Обычно выбор даже не связывают с эмоциями, которые голосующий испытывает к кандидатам, – многих он совсем не знает. Выборщики, как правило, руководствуются глубокими тактическими соображениями, причём разыгрываются комбинации не хуже шахматных. Уединиться и что-то черкать в бюллетенях – абсолютно необходимо, иначе никаких выборов не получится. Так что со стороны совершенно непонятно, что же происходит в конференц-зале Института физических проблем, где обычно проводит выборы наше отделение физики и астрономии. Короче говоря, это вам не выборы в Верховный Совет, где всё значительно проще [26](#).

Было бы, однако, грубой ошибкой считать, что выборами управляют законы теории вероятности и математической статистики. Этой важнейшей, так

сказать, финальной процедуре предшествует несколько существенных этапов.

Начальный, или, лучше сказать, «нулевой», этап всегда глубоко скрыт от научной общественности. Речь идёт о пробивании вакансий Президиумом Академии наук у т. н. «Директивных Органов» (проще говоря, у Партии и Правительства). Уже само распределение вакансий по отделениям, а в пределах отделения по специальностям – итог скрытой от посторонних глаз весьма хитрой комбинационной и позиционной игры. Довольно часто, уже при первой официальной публикации в «Известиях», опытный глаз видит, что та или иная вакансия выделяется под определённую персону. Например, в течение ряда выборных кампаний объявлялись вакансии академиков по специальности «физика и астрономия», так сказать, вместе. Тот факт, что астрономическая вакансия отдельно не объявлялась, почти наверняка означал, что в академики будет избран физик.

Прежде чем продолжить наш анализ академических выборов, необходимо хотя бы кратко остановиться на важном вопросе – почему наш учёный (и даже не всегда учёный) люд так рвётся в академические кресла? Я начну с одного далёкого воспоминания. Это было, кажется, летом 1960 года. В Москву приехала делегация Королевского Общества во главе с вице-канцлером, химиком, профессором Мартином. По причине летних отпусков в столице было мало академической публики, и Президиум бросил клич по всем институтам – собрать по возможности больше сотрудников для заполнения конференц-зала Президиума (в таких случаях горящие театры обычно обращаются за выручкой к

милиционерам). Такими мерами конференц-зал удалось заполнить; пришёл туда и я.

Ввиду отсутствия президента и главного учёного секретаря обязанности председателя исполнял известный лысенковец, малоинтеллигентный Сисакян. Доклад Мартина, насыщенный юмором и богатый фактическим материалом, осветил деятельность Королевского Общества в весьма выгодном свете, особенно по контрасту с хорошо знакомой присутствующим замшелой, косной бюрократической системой нашей Академии. И тогда Сисакян, желая сбить это впечатление, через переводчика попросил Мартина растолковать один, оставшийся ему, Сисакяну, неясным вопрос: каковы права и обязанности члена Королевского Общества? Подтекст вопроса хитрого Сисакяна был примитивен: мол, советские академики – слуги народа, а британские – лакеи империализма. Ответ Мартина продемонстрировал присутствующим отличный образец знаменитого английского юмора:

– Я вас понял, профессор Сисакян. Начну с обязанностей: каждый член Королевского Общества обязан ежегодно платить в казну Общества 5 фунтов. Теперь поговорим о правах: каждый член означенного Общества имеет право совершенно бесплатно получать периодические издания своего отделения. В среднем выходит фунтов на 7 с половиной. Так что быть членом Королевского Общества – выгодно, джентльмены! – закончил под громовой хохот собравшейся публики британец.

Эта история имеет продолжение. Года два спустя меня выбрали членом Королевского Астрономического Общества. Почти сразу же я стал получать ведущие

английские астрономические журналы: «Monthly Notices of Roy. Astron. Soc.» и «Observatory». Радость от получения столь дефицитных у нас изданий была несколько омрачена невозможностью платить ежегодно 5 фунтов. Вскоре в Москву с визитом прибыл известный английский физик профессор Бэйтс. После того как он поздравил меня с избранием, я поделился с ним неловкостью в связи с 5 фунтами.

– О! – сказал Бэйтс. – Я вижу, что Мартин вам не всё сказал! Иностранцы члены Королевского Общества освобождены от этой неприятной обязанности – платить 5 фунтов. Так что особенно выгодно быть иностранным членом Королевского Общества!

Как известно, советский академик получает, так сказать, «за погоны» ежемесячно 500 рублей, а член-корреспондент – 250. Как видим, суммы немалые, вполне соизмеримые с хорошей зарплатой. Насколько мне известно, иностранные академии своим членам денег не платят. Исключение составляют академии соцстран и, кажется, весьма элитарная Французская академия, члены которой («бессмертные») получают за посещение каждого заседания по луидору, специально для этой цели отчеканенному. До войны, при Муссолини, платили и в Итальянской академии.

С гораздо большим основанием, чем профессор Мартин, мы можем сказать, что быть членом Советской академии *очень выгодно!* Помимо денег, академики получают немалые блага в других формах. Прежде всего – хорошие условия в больнице АН, куда, увы, время от времени приходится попадать уже далеко не молодым деятелям науки. Дают там нашему брату отдельные палаты – сам лежал три раза, а это в наших условиях

далеко не пустяк! Важнейшая привилегия академиков и членкоров та, что их никогда не выгонят на пенсию. А сколько жизненных трагедий приходится видеть, когда крепкого, здорового 60-летнего доктора наук переводят сперва в консультанты, а вскоре – на пенсию, на нищенские 160 рублей. Кажется, такая мелочь – академическая столовая в Москве, а как это удобно и, что греха таить, вкусно! Это уже специфика нашей хронически голодающей, одолеваемой разного рода дефицитами страны.

Не меньшее значение имеет и резкое повышение социального статуса советского учёного после его избрания в Академию. Ведь, кажется, человек после избрания не стал ни умнее, ни значительнее. Но это только кажется. Совсем по-другому начинает к тебе относиться своё и чужое начальство и разного рода академические и министерские службы. В результате дела в твоей лаборатории пошли заметно лучше, и это сразу же становится всем видно. Вокруг «избранника» создаётся какая-то особая атмосфера, если угодно – благоприятный микроклимат. Как видим, оснований стремиться быть избранным в Академию наук более чем достаточно. Таким образом, если говорить откровенно («без булды», как любит выражаться мой сотрудник Валя Есипов), главный стимул к избранию – соображения сугубо материального порядка. Соображения признания заслуг, научного престижа и пр. при выборах в нашу Академию (в отличие, скажем, от западноевропейских и американских академий) играют сугубо подчинённую роль.

Реальные научные заслуги кандидата при выборах, как правило, не имеют серьёзного значения. Какие же факторы решающие? Об этом мы ещё поговорим. Пока

же остановимся на одном любопытном обстоятельстве. Ни одна академия в мире (исключая, конечно, соцстраны, во всех деталях копирующие нашу структуру) не имеет двухступенной системы членства, то есть академиков и членов-корреспондентов. Такое деление имело смысл в прежние времена, когда императорская Академия находилась в Петербурге, а высокопоставленные чиновники-академики должны были состоять при ней. Не жившие в столице империи учёные, естественно, имели статус членов-корреспондентов. В наших условиях первоначальный смысл такого деления давным-давно утерян, но зато приобретён новый: есть *настоящие* академики и есть *полуакадемики*, которым, чтобы дорасти до «полного генерала», надо пройти через чистилище новых выборов. При этом делается предположение, что учёный в промежутке между его избранием в члены-корреспонденты и действительные члены якобы может сотворить что-то новое и очень для науки ценное. Но каждый компетентный человек понимает, что это предположение – сущий вздор. Это относится прежде всего к близким мне физико-математическим наукам, но я уверен, что то же самое справедливо и для прочих наук. В члены-корреспонденты, как правило, выбирают деятелей, возраст которых в среднем 50 лет. Это давно уже сформировавшиеся исследователи, и всё, что им положено свершить в науке, – они свершили. Бывают, конечно, исключения, но они редки, да и не выбирают в Академию таких исключительных особей. Редко, очень редко после избрания в члены-корреспонденты учёный сотворит что-нибудь стоящее. Он обычно к этому времени давно уже стал «деятелем» – директором института, начальником крупного отдела или КБ и т. д.

Поэтому, когда на выборах расписывают выдающиеся достижения какого-нибудь такого деятеля, баллотирующегося в академики, можно не сомневаться, что точно те же достижения фигурировали и при избрании его в члены-корреспонденты. Это все прекрасно понимают, но молчат – ведь и сами выборщики были в таком же положении.

В чём же коренная причина этого архаического и, безусловно, вредного для развития науки двухстепенного членства? Оказывается, это имеет очень глубокий смысл. Двухстепенная система членства в Академии делает учёных хорошо управляемыми. Уже сразу после избрания в члены-корреспонденты такой деятель начинает подумывать о следующей ступени академической иерархии. Он отлично понимает, что для того, чтобы быть избранным в действительные члены, у него должны быть наилучшие отношения с академиками своего отделения, которые будут за (или против) него голосовать. И он многие годы *строит* с ними отношения. Излишне подчеркивать, что такая атмосфера в Академии приводит к застою, к отсутствию настоящей критики, которая не взирает на лица, к загниванию подлинной науки. Но зато с такими деятелями можно делать решительно всё – они весьма понятливы. Такой член-корреспондент вполне подобен зайцу, который до конца своих дней бежит в упряжке за морковкой, маячащей перед ним на шесте... Домогаться чего-то всю жизнь есть важная особенность советского человека. И невольно вспоминаются строчки талантливого поэта Алейникова, впрочем, никогда не печатавшиеся:

...Когда ему выдали сахар и мыло —

Он стал домогаться селёдки с крупой!

Типичная пошлость царила

В его голове небольшой!..

Не следует, однако, понимать ситуацию слишком упрощённо. И среди членов-корреспондентов попадаются независимые характеры, а тут ещё это странное тайное голосование... Это приводит иногда к весьма любопытным неожиданностям, составляющим одну из прелестей нашей Академии.

Описанные выше весомые, грубые и зримые академические привилегии, естественно, сделали её центром притяжения для разного рода деятелей, часто имеющих весьма косвенное отношение к науке. Если со времён начала в нашей стране НТР бытует выражение: «средняк пошёл в науку», то с неменьшим правом можно сказать, что в Академию наук пошёл начальничек. Обстоятельство, чрезвычайно благоприятствующее попаданию всякого рода начальства в де-сяянс-Академию, – происшедшее в послевоенные годы изменение самого характера научного творчества. Это факт, что экспериментальные науки стали *коллективным* процессом, где роль творческой личности непрерывно уменьшается. На самые видные места выдвигаются так называемые *организаторы* науки – лица, зачастую с научным творчеством ничего общего не имеющие, но зато прекрасно разбирающиеся во многом другом, и прежде всего – в тонкостях субординации. Вот этот-то контингент и составляет основное число кандидатов на академические кресла. Их привлекает в Академию стабильность положения, ну и, конечно,

перечисленные выше материальные блага и престижность.

На примере моего, самого крупного в Академии, отделения я в течение последнего десятка лет наблюдаю, как изменилась сущность этой организации. Получивший могучее самостоятельное развитие в нашей стране (так же, как и в Америке) военно-промышленный комплекс захлёстывает Академию на всех её уровнях, начиная с её президента Анатолия Петровича Александрова – типичного представителя этого комплекса. Он приходит на собрания отделения с единственной целью – «пробить» очередного кандидата комплекса на академическое кресло. С точки зрения руководства Академии и отделения, наука – это то, что стреляет, взрывается, регулирует, самонаводится. Уже давно наше отделение, по существу, стало отделением технической физики. Им мало, что в стране имеются могучие отраслевые институты и «почтовые ящики», забирающие львиную долю средств и кадров. Они хотели бы всю Академию превратить в некий аппендикс к сверхгигантскому почтовому ящику. Глупцы – они не ведают, что творят!

Среди прущих в Академию «организаторов науки» особое место занимают «сынки» и «зятья». Речь идёт о сыновьях и зятях членов Политбюро ЦК. На последних выборах по нашему отделению, правда не без скрипа, прошёл сынок Устинова – его сильно вытаскивал Александров. Правда, по отделению механики и процессов управления крупно погорели зятья Кириленко и Сулова [27](#). В этой ситуации указанное отделение продемонстрировало, что оно не соответствует своему названию. Но ничего! На следующих выборах положение там будет нормализовано. Ещё один сынок стал

членом-корреспондентом – это директор Института стран Африки Громыко.

Итак, тяга широких слоев учёной и начальственной общественности в Академию представляется вполне понятной. Но мы уже видели на приведённых выше примерах, что перешагнуть её порог всё же нелегко, даже для высочайших сыновей и зятьев. На этом тернистом пути их подстерегают многочисленные ухабы. И первым барьером служат отборочные комиссии при отделениях. Их задача – из числа заявленного великого множества кандидатов отбирать для ориентировки голосующих малую часть, из расчёта 1-2 человека на вакансию. Практика, однако, показывает, что сверх объявленных вакансий часто удаётся получить 1-2 дополнительные. Часто, в явном противоречии с Уставом, такие дополнительные вакансии жёстко закреплены за кандидатами, предлагаемыми Директивными Органами. Так было, например, с Устиновым-младшим. В таких случаях вся эта комбинация прикрывается флером «секретности» – удобнейшая штука! Заметим ещё, что члены отборочной комиссии голосуют тайно. Решение отборочной комиссии (по существу являющееся решением партийной группы) имеет очень большое значение для исхода выборов. По моим многолетним наблюдениям, свыше 50 процентов рекомендуемых этой комиссией избирается. Это, конечно, сужает свободу манёвра во время голосования, но всё же кое-какие возможности остаются.

Следующий круг предвыборной карусели – знаменитый «президентский чай». По традиции члены отделения приглашаются президентом для оглашения результатов работы отборочной комиссии, после чего начинается предварительный обмен мнениями по поводу

кандидатур. Тем временем обслуга разносит довольно жиденький чай с лимоном и вазончики с печеньем. Сперва в присутствии всех членов отделения обсуждаются кандидатуры в членкоры, после чего членкоры постыдно, наподобие школьников, приглашённых на педсовет, изгоняются из зала. А ведь это пожилые деятели, многие из них – директора! Оставшиеся академики обсуждают кандидатов в действительные члены: при выборе последних голосуют только академики. Уже на стадии президентского чая разыгрываются первые авангардные стычки между враждующими группировками. Бывают ситуации, когда решающие выборные маневры осуществляются как раз на президентском чае. В качестве примера приведу случай на выборах 1946 года, когда в члены-корреспонденты баллотировался директор Пулковской обсерватории Григорий Николаевич Неуймин. Его надо было выбрать – предстояло восстановление разрушенной до основания Пулковской обсерватории, да и по традиции директор Пулковской обсерватории должен иметь академическую позицию. Неуймин был «крепким» астрономом старой школы, известным своими исследованиями комет и астероидов. Выступавшие на чае у президента Вавилова не знали, конечно, работ Неуймина – это были физики. И каждый из них, желая поддержать кандидата, что-то долдонил о кометах. Из астрономов на чае присутствовал один Амбарцумян, который всю дискуссию молчал. Наконец Сергей Иванович не выдержал и обратился к Виктору Амазасповичу:

– Что же вы молчите – ведь Неуймин достойный кандидат, он открыл кометы...

И тут Амбарцумян, впервые нарушив молчание, очень серьёзно сказал:

– Да, но моя тёща тоже открыла три кометы!

Послышались смешки. Получалось, что человека будут выбирать за дело, которое может выполнить тёща... И через несколько дней, на выборах, Неуймина завалили! А ведь прав был Амбарцумян! Он только не добавил, что его тёща – Пелагея Федоровна Шайн, известнейшая женщина-астроном!

Во время выборов 1976 года я боролся за кандидатуру моего талантливейшего ученика Коли Кардашева. Его экспертная комиссия не рекомендовала совсем, и вообще практически его никто не знал. В этой ситуации моя задача на чае сводилась к привлечению внимания к его кандидатуре, что я и сделал путем реплики скандального характера. Цель была достигнута – кандидатура Кардашева запала в память! На том же чае покойный М. А. Леонтович вдребезги завалил некоего деятеля военно-промышленного комплекса.

Но вот наступает финал (и главная часть) драмы выборов. И вот тут мы сталкиваемся с основными движущими силами, управляющими течением этого, казалось бы, стихийного процесса. На самом деле основное содержание выборов на уровне отделения – это столкновения и сделки между разного рода входящими в его состав мафиями. Но прежде всего необходимо само это понятие прояснить. Известный американский рентгеновский астроном Рикардо Джиаккони как-то заметил:

– У вас, русских, совершенно ошибочное представление о мафии. Вы наивно представляете какого-нибудь мафиози как злодейского вида малого в

маске, с кинжалом в зубах и с «машинганом». Это дикая чушь! Лучше всего перевести на русский язык слово «мафия» словом «блат». Услуга за услугу! И всё это окрашено в оптимистические тона добрых семейных отношений!

Говоря о мафии, я как раз имею в виду приведённый только что комментарий тонко разбирающегося в этом вопросе Джиаккони.

Имеется и довольно обширное «болото» с неустойчивыми очертаниями берегов. Первая заповедь кандидата: чтобы из «шансонеток» попасть в «проходимцы», надо быть либо членом одной из лидирующих групп, либо примерным поведением заручиться их поддержкой. Я, в частности, всегда горел на том, что никогда не принадлежал ни к одному из кланов и ни перед кем не лебезил. В членкоры я был избран в 1966 году в общем-то случайно: в нарушение Устава в тот год ввели довольно жёсткий возрастной ценз, уже на следующих выборах отменённый.

Забавно слушать процедуру обсуждения кандидатов, предшествующую голосованию. По иезуитской традиции не принято ругать обсуждаемых – это почему-то считается плохим тоном. Есть, однако, богатейший арсенал средств унижения нежелательного кандидата и возвеличения своего. Не все, однако, владеют этой изощрённой техникой, и довольно часто мне приходилось наблюдать смешные «ляпы». О научных заслугах кандидата говорят очень кратко; часто пользуясь невежеством основной массы выборщиков, несут демагогический вздор. Членство кандидата в иностранных научных обществах и академиях чаще всего работает против него. «Ишь, какой приткий! Он член, а

мы нет; у нас ты ещё подождёшь!» Много зависит от обстановки в отделении. Например, отделение математики хорошо известно своими антисемитскими традициями. Именно там неоднократно проваливали члена ведущих академий мира, нашего крупнейшего математика – И. М. Гельфанда [28](#). На последних выборах он даже не баллотировался – вот молодец! Тот факт, что я член тех же академий, также работал против меня. Лучшего нашего астронома С. Б. Пикельнера пять раз проваливали и так и не выбрали по нашему отделению.

Означает ли это, однако, что в Академию не выбирают настоящих учёных? Ни в коем случае! В этом как раз и состоит парадокс. Если мы составим список действительно крупных российских учёных, живших и творивших в течение последних двух веков, мы увидим, что подавляющее их большинство было избрано в Академию наук. Возникает естественный вопрос: как же так? Ответ состоит в том, что Академия наук время от времени *обязана* выбирать настоящих учёных – иначе этот институт перестанет быть престижным. Быть членом учреждения, основанного Петром Великим, где жили и работали Ломоносов, Павлов, Чебышёв, Крылов, Ландау, где сейчас работают Капица и Сахаров, – весьма лестно!

Настоящих учёных очень мало. Их особенно мало – было и есть – в нашей стране, которую уже очень давно захлестнул чиновничье-бюрократический поток. Поэтому можно (и даже нужно!) позволять время от времени выбирать в её состав этих безобидных чудаков. Сравнительно большие шансы быть избранными имеют молодые, талантливые, по характеру покладистые учёные. Здесь важно ещё и то, что по молодости лет они ещё не нажили настоящих врагов. Каждый из них оправдывает безбедное существование в стенах

Академии по крайней мере десятка личностей, которых мы называем балластом. Иначе – увы! – нельзя!

При всех уродствах и несуразностях, о которых я попытался дать только самое бледное представление, Академия наук – хорошее учреждение, где всё-таки кое-что можно сделать. За это ей спасибо!

ИСКУССТВО И ВЛАСТЬ

На этот раз с кино в Малеевке дело обстояло даже хуже, чем в прошлом году. К ставшему уже привычным убогому репертуару добавилась ещё одна беда: окончательно испортилась проекционная аппаратура. Самое скверное – это, конечно, звук. Нечленораздельные громкие вопли, доносившиеся с экрана, практически невозможно было отождествить с человеческой речью. На робкие жалобы отдельных тружеников пишущей машинки (перьями писатели сейчас уже не пишут) хам директор (говорят, в недалёком прошлом – провалившийся заграничник, а ныне – переводчик с голландского и член Союза писателей) отвечал, что-де «я в кино не хожу».

И всё же один фильм произвёл на меня неизгладимое впечатление. Это был «Мефистофель», поставленный совместными усилиями киношников ФРГ и Венгрии, отличная экранизация одноименного романа Клауса Манна. Смысл романа – талантливый, но беспринципный и бесхарактерный художник (в данном случае актёр), поставивший своё искусство на службу тоталитарной власти (в данном случае это немецкий фашизм), губит своё дарование. Хорошо известно, что в

романе и фильме речь идёт о выдающемся немецком актёре Грюндгенсе. Жизнь, однако, богаче всяких теоретических схем. Этот актёр приезжал в нашу страну в 1958 году – кажется, в составе Гамбургского драматического театра – и имел у советской публики огромный успех. А до прихода к власти Гитлера он был ведущим актёром Веймарской Германии. Так что Грюндгенс процветал и был кумиром публики в течение нескольких десятилетий при трёх режимах! Кстати, в фильме (в отличие от романа) никакой творческой деградации актёра и нет.

Со всякого рода теоретическими схемами всегда надо быть осторожным. Следует помнить, что художники неповторимы – так же как неповторимо время, в котором они живут. Возвращаясь к проблеме «художник и власть», нужно вспомнить и примеры, противоречащие концепции Клауса Манна. Например, Наполеон и Давид, римские папы XVI века (кстати, редкостные негодяи) и великаны живописи эпохи Возрождения. Всё же история учит нас (если она только способна чему-нибудь научить), что куда чаще реализуется ситуация, описанная Клаусом Манном.

Эти мысли приходили мне в голову после просмотра фильма «Мефистофель». И всё время передо мной возникал образ великого советского кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна. А всё потому, что за две недели до этого случай столкнул меня с творчеством этого удивительного мастера, притом в самой неожиданной обстановке. Меня уже давно просили прочитать полупопулярную лекцию в Обнинске для высококвалифицированной аудитории научных работников. Я охотно согласился, хотя и редко читаю подобные лекции. И каждый раз, в зависимости от

аудитории, строю их по-новому. Вместе со мной в Обнинск поехала моя жена Шура, смертельно уставшая от московской домашней суеты и желавшая просто встряхнуться.

Машину для этой поездки организаторы лекции подали вечером прямо к подъезду нашего дома. В ней уже сидел незнакомый человек, тоже оказавшийся лектором, и притом для той же самой аудитории. Тема его лекции – творчество Эйзенштейна. С показом второй серии «Ивана Грозного» и статических кусков «Бежина луга», склеенных из случайно уцелевших обрезков. В монтаже последних самое активное участие, как я тут же выяснил, принимал наш спутник-искусствовед по фамилии Клейман, большой знаток Эйзенштейна и фанатичный поклонник его творчества. Лекция Клеймана должна была состояться в тот же вечер, между тем как моя – на следующий день, что меня вполне устраивало.

Всю довольно длительную дорогу мы мило беседовали и время текло незаметно. Но нелёгкая дернула меня заметить, что-де Эйзенштейн, конечно, великий художник, но всё его творчество после возвращения из затянувшейся американской командировки – это апологетика средствами искусства Сталина и сталинщины. Я выразился со свойственной мне резкостью, назвав этого классика кино сталинским холуем. Боже мой, что началось с нашим спутником!

– Мне дико слышать ваши архаические высказывания, – простонал Клейман. – Так думали некоторые не в меру ретивые «критики» этак лет 20 назад! Вы несёте вздор и вскоре сами убедитесь в этом!

Остаток пути прошёл в тягостном молчании, к тому же в кромешной тьме.

Кинопередача началась часа через два после нашего прибытия в Обнинск. Прямо с эстрады Клейман – кстати, великолепный оратор – рассказал, не называя меня, про эпизод в машине и патетически закончил:

– Вот вы сейчас увидите, сколь неосновательно и даже кощунственно обвинение великого режиссёра в холуйстве перед Сталиным.

И действительно, 400 человек, собравшиеся в зале, увидели!

Обе серии картины «Иван Грозный» я смотрел лет 20 тому назад, так что воспоминания о ней у меня почти совсем стёрлись, но и сейчас подтвердилось то, давнее, впечатление пышно поставленной, очень условной оперы. Суть же этого действия – безмерная, безудержная хвала тирану, убийце и патологическому монстру, кровавыми руками строившему сильное централизованное государство. Во имя этой «высочайшей» цели дозволены любые, самые чудовищные преступления. И надо быть совершенно слепым, чтобы этого не увидеть! Самые витиеватые в своём лукавстве критики-искусствоведы никогда не смогут доказать, что-де Эйзенштейн в этом фильме вопреки прямой директиве Сталина (а ведь эта картина была, как известно, поставлена по указанию Сталина и под его неусыпным наблюдением) проводил какую-то свою, чуть ли не «гуманистическую» линию. Какой вздор! Я имею против этой, с позволения сказать, «концепции» аргумент почти математической строгости. Ведь актёров на роли выбирал Эйзенштейн. И он выбрал на роль палача, «без лести преданного» своему владыке, пресловутого Малюты Скуратова, самого обаятельного киноактёра страны – Михаила Жарова! Известно, какую

высокую оценку дал Лучший Друг Советских Кинематографистов личности Малюты. Выбором Жарова на роль Малюты Эйзенштейн практически доказал, что он неукоснительно следовал руководящим указаниям Вождя. И делал это на совесть, даже с некоторым сладострастием. Конечно, обаятельный актёр может играть и роль негодяя – тому немало примеров. Но в том-то и штука, что роль палача Малюты Жаров играл в «своём ключе», отнюдь не перевоплощаясь. Что за душка этот Малюта, какой шарм (всё-таки Жаров)! А что касается «гуманизма», то я вспоминаю собственную невесёлую шутку: в 1948 году я сказал моему незабвенному другу Владимиру Михайловичу Туроку, что, мол, жду не дождусь, когда у них в Институте истории будет защищаться диссертация под названием «Малюта Скуратов как основоположник российского гуманизма». Турок мрачно смеялся – особенно года через два, когда действительно близкая по названию диссертация была защищена...

После «Ивана Грозного» нам показали очень впечатляющие фрагменты «Бежина луга». Как известно, этот фильм должен был прославить «подвиг» Павлика Морозова. В плане режиссёрском и операторском фильм, по-видимому, был отснят отменно. По статическим фрагментам, конечно, нельзя судить об уничтоженной ленте. Но дух картины вполне можно прочувствовать. Запомнились звериные, заросшие «диким волосом» хари (по режиссёрскому замыслу символизирующие «тёмное, уходящее прошлое доколхозной деревни»). Очень странно было смотреть на варварский разгром церкви озверелыми крестьянами, обращёнными в колхозную веру. Особенно тяжёлое впечатление производила группа снятых крупным планом (это Эйзенштейн умел!)

очень страшных и безобразных старух, глядящих на этот погром и ощеривших беззубые пасти в кощунственном одобрительном смехе. Сцена чудовищно лживая, но зато необыкновенно идеологически выдержанная.

Как известно, Сталину не понравились ни «Грозный», ни «Бежин луг», что имело вполне естественные последствия для автора этих выдающихся произведений. Критики и историки кино разное говорят о причинах этой немилости. Как дилетант, я мог бы по этому поводу сказать следующее: перестарался Сергей Михайлович в своём угодничестве, перемудрил. Он хотел решать свою холуйскую задачу методами высокого искусства, искал какие-то новаторские формальные решения, «ходы» – ведь он же был действительно выдающийся художник! А примитивный, грубый вкус Вождя требовал чего-то более простого и понятного. Эйзенштейна же высокое искусство время от времени куда-то заносило совсем «не в ту степь» (вспомним знаменитую сцену с немецким ландскнехтом Штаденом, где, может быть, вопреки воле режиссёра очень ярко и наглядно проявляется дикий деспотизм грозного царя). Сталину ещё не нравилось, что после очередных казней Грозный замаливал свой грех. Бывший семинарист, конечно, этим комплексом не страдал...

Здесь намечается интересная коллизия между мещански-примитивным вкусом всесильного деспота-заказчика и рвущимся изо всех творческих сил выполнить этот заказ талантливым художником. Положение последнего всегда опасно – его не поймут!

Как известно, в сезон 1940 года Эйзенштейн, выполняя очередной нелёгкий заказ Вождя, незадолго до этого и совершенно для всех неожиданно подписавшего

зловещий советско-германский договор, поставил в Большом театре любимую фюрером оперу Вагнера «Валькирия». Согласие Эйзенштейна поставить «Валькирию» на самой большой сцене страны было тем более удивительно, что за несколько лет до этого он создал весьма понравившийся Вождю фильм «Александр Невский», гневно бичующий псов-рыцарей, прямым наследником которых объявил себя бесноватый фюрер [29](#).

Всё-таки тонкая штука – диалектика! Какое значение имело, например, что реальный Александр Невский был, по свидетельству Михаила Михайловича Герасимова (см. новеллу «К вопросу о Федоре Кузмиче»), очень мал ростом – всего 147 см. Последнее обстоятельство Эйзенштейн просто игнорировал, выбрав на роль Александра одного из длиннющих актёров – Черкасова. Конечно, важна не «правда фактов», а общая идея, которая была, безусловно, прогрессивной. Уж, казалось бы, холуйский смысл постановки «Валькирии» сомнений не вызывает! Так нет же – Клейман что-то лепетал о каких-то гуманистических задачах, которые будто бы ставил и решал при этом Сергей Михайлович! Опять этот пресловутый «гуманизм». А вот присутствовавшие на премьере высокопоставленные офицеры вермахта и чины германского посольства остались явно недовольны:

– Жидо-большевистские штучки! – отчётливо сказал какой-то лощёный оберст.

Опять не поняли! Опять перестарался! Трагедия, что и говорить! Впрочем, вполне закономерная. Очень скоро не понравившуюся новым друзьям Корифея Всех Искусств оперу сняли с постановки. Что касается

«Бежина луга», то этот фильм было не просто запрещено демонстрировать, он был уничтожен. Смыт. Последняя кара, однако, вряд ли была сделана по прямому указанию Вождя. Здесь сработали другие обстоятельства, пожалуй, чисто случайные, но вполне наглядно характеризующие нравы отечественного кино, так сказать, на самом высоком уровне.

По возвращении из Америки – так, по крайней мере, рассказывал Ромм, – Эйзенштейн долго не мог получить от киновластей заказ, достойный его дарования. Много раз он обивал пороги соответствующих учреждений, и в частности кабинета тогдашнего председателя Госкинокомитета тов. Шумяцкого. Этот чиновник принимал Сергея Михайловича неизменно вежливо и предлагал ему разные киноподелки – например, помогать окончательно зашившемуся Александрову в постановке «Весёлых ребят» или, отталкиваясь от «Бесприданницы» Протазанова, поставить «Грозу». Подобного рода предложения Эйзенштейн неизменно, и притом в самой резкой форме, отвергал. Надо полагать, что обстановка во время их собеседований была довольно тягостная. И вот однажды, когда разговор в своей деловой части уже закончился, Эйзенштейн как бы вскользь заметил, что ещё с юности мечтал об экранизации запрещённой царской цензурой поэмы некоего одарённого поэта по фамилии Барков. Поэма называется «Лука» – очень талантливое, хотя и довольно резкое, произведение. Высокопоставленный чиновник, разумеется, и понятия не имел о подвигах легендарного героя этой весёлой поэмы. Более того – Шумяцкий обнаружил явный интерес к «голубой мечте», как ему казалось, слишком капризного режиссёра. И он изъявил желание познакомиться с этой поэмой, дабы изучить возможность её экранизации.

Эйзенштейн быстро вошёл в роль и, развивая розыгрыш, заметил, что, мол, как он уже говорил, поэма никогда не печаталась (о, эта ужасная царская цензура!), но, конечно, списки её хранятся в Ленинской библиотеке, и если тов. Шумяцкий пожелает, он сможет её оттуда достать.

Новая идея Эйзенштейна привлекла к себе самое серьёзное внимание кинопомпадур, и после ухода Сергея Михайловича он тут же вызвал к себе секретаршу и попросил достать ему список означенной поэмы через Ленинскую библиотеку. В отличие от него секретарша прекрасно была осведомлена о «Луке» и почувствовала себя крайне неудобно – не могла же она прямо объяснить своему умному шефу, в чём дело. По-видимому, она ограничилась туманным обещанием. Между тем Шумяцкого на этой идее прямо-таки заколодило: он неизменно спрашивал у бедной секретарши, когда же поэма будет у него на столе. Та что-то мямлила несуразное. Почувствовав неладное, Шумяцкий вызвал своего помощника и повторил просьбу – подать ему «Луку»! Ну, тот был мужчина грубый и прямолинейный и быстро и доходчиво объяснил начальству суть дела. Шумяцкий пришёл в неопишумую ярость, велел немедленно подать машину и помчался напрямиком на Старую площадь – просить там, чтобы примерно наказали зарвавшегося насмешника. Он уже вышел из машины и направил свои стопы к соответствующему подъезду – и только тут до него дошло, в каком идиотском положении он окажется, когда начнёт излагать свою обиду. В сердцах махнув рукой, он понуро поплёлся обратно. Обиды, однако, не простил и через несколько лет сполна рассчитался с шутником, велел смыть не понравившийся Вождю «Бежин луг».

Предаваясь необузданной фантазии, можно, конечно, представить себе роскошную инсценировку Эйзенштейном «Луки». Можно, например, вообразить, как была бы поставлена вводная часть фильма – родословная Луки. Эрудированные читатели, наверное, помнят отдалённого предка героя этого эпоса: «...Порфирий при Грозном службу царю нёс и, подымая... гири, не раз смешил царя до слёз...». Вы чувствуете, как проклёвывается столь любившийся в будущем Эйзенштейну образ Ивана Васильевича.

Но, как часто говорил один мой знакомый, «шутки в сторону, а всё остальное – в другую». Этот эпизод с Лукой и его последствия – только иллюстрация к известному древнему закону: опасно художнику (шуту) работать в слишком уж непосредственной близости к власти. Конечно, судьба нашего великого режиссёра глубоко трагична. Он понимал своё положение и, по достоверным свидетельствам, очень страдал. Вполне возможно, что это и свело его в могилу в 50-летнем возрасте. Но, право же, он сам выбрал свой путь...

ИСТОРИЯ ОДНОЙ НЕНАВИСТИ

В хорошо известный всем астрономам конференц-зал Астрономического института имени Штернберга в начале мая 1971 года влетел, быстро оглядываясь, Валерьян Иванович Красовский. Шёл какой-то занудный учёный совет. Вряд ли, однако, это мероприятие явилось причиной появления в зале такого редкого гостя, каким был профессор Красовский, ведавший в Институте физики атмосферы её самыми верхними слоями. Он явно кого-то искал. Через

несколько секунд выяснилось, что меня. Он сел в пустое, соседнее с моим кресло и темпераментно прошептал мне в ухо:

– ...Наконец-то я узнал, кто он такой!

– Кто? – спросил я.

– Как кто? Прохвостиков!

Валерьян Иванович, конечно, имел в виду своего заклятого врага профессора Ивана Андреевича Хвостикова.

– Бога бы побоялись, – сказал я, – ведь вы же всё-таки сын священника. Сколько уже лет прошло, как умер Иван Андреевич, а вы всё ещё его грызёте!

Валерьян Иванович досадливо отмахнулся:

– Вот ещё... А я всё-таки узнал, кто он такой.

Здесь я должен сделать отступление в своём рассказе. Судьба столкнула меня со столь незаурядной личностью, каков, несомненно, Валерьян Иванович, очень давно, ещё в 1949 году. Симеизская обсерватория лета 1949 года была аномально богата яркими личностями. Чего, например, стоил один только Николай Александрович Козырев, реликт довоенной Пулковской обсерватории, фактически уничтоженной репрессиями 1937 года. Или безраздельно владевший сердцами и умами астрономической молодёжи (а я был тогда на тридцать пять лет моложе) незабвенный Григорий Абрамович Шайн [30](#). Валерьян Иванович не был астрономом. Он тогда работал в некоем «почтовом ящике» и приехал на обсерваторию внедрять высокочувствительные приёмники инфракрасного излучения – электронно-оптические преобразователи

(ЭОПы). Дело это было окутано строжайшей секретностью – Валерьяна Ивановича сопровождали два довольно мрачных типа, которых мы, молодёжь, сразу же окрестили «жеребцами Красовского».

Работа Валерьяна Ивановича оказалась чрезвычайно успешной, особенно в части изучения свечения ночного неба, в спектре которого в ближней инфракрасной области им были открыты ярчайшие полосы излучения. На этой почве между мною и В.И. произошёл весьма острый конфликт. Не будучи искущён (во всяком случае, тогда) в теоретической спектроскопии, он отождествил открытые им полосы с запрещёнными электронными переходами молекулы кислорода O_2 , между тем как я буквально «с ходу» отождествил эти полосы с вращательно-колебательными переходами молекулы гидроксила OH . Ситуация создалась острейшая, тем более что всё это случилось во время Всесоюзной конференции по спектроскопии в Симеизе.

Дело доходило до попытки применить против меня такой сильный и испытанный «полемический» приём, как обвинение в разглашении государственной тайны. Всё это я узнал много позже, а тогда я и не подозревал, на краю какой бездны прыгаю, подобно птичке божьей. А всё «разглашение» сводилось к тому, что я показал аспиранту, как работает ЭОП. В попытке уничтожить меня с помощью недозволенного (в нормальном обществе и в нормальное время) приёма ведущая роль принадлежала тогдашнему зам.директора, а нынешнему директору Крымской обсерватории А. Б. Северному, кстати, за год до этого пригласившему меня на эту обсерваторию работать. От неминуемой кары (дело-то ведь происходило не в каком-нибудь, а в достопамятном

1949 году) меня спас, как я узнал много позже, сам Шайн, в те годы директор обсерватории.

Прошло несколько лет. Отождествление инфракрасного свечения ночного неба с вращательно-колебательными линиями гидроксила стало общепризнанным. Валерьян Иванович, к этому времени вырвавшийся из своего «ящика» и ставший сотрудником Института физики атмосферы, полностью признал «гидроксильную» теорию и немало способствовал её торжеству, получив с помощью ЭОПов превосходные инфракрасные спектры ночного неба, на которых видна вращательная структура полос ОН. От старого конфликта ничего не осталось, и между нами установились ничем не омрачённые до сих пор дружеские отношения. Валерьян Иванович пригласил меня работать на полставки в Институт физики атмосферы, где он только что стал заведовать отделом верхней атмосферы.

Последнему обстоятельству предшествовали весьма драматические события. Заведующим этим отделом до Красовского был довольно хорошо тогда известный Иван Андреевич Хвостиков, который, кстати, и пригласил к себе работать Валерьяна Ивановича. Очень скоро, однако, отношения между ними осложнились.

Трудно представить себе две более несходные человеческие судьбы и два полярно различных характера, чем у Валерьяна Ивановича и Ивана Андреевича. Последнего с полным основанием можно было считать баловнем судьбы. Исключительно представительная, благородная осанка, красивая внешность, приятные «джентльменские» манеры. Говорили, что он в каком-то родстве с самим С. И. Вавиловым. Конечно, член партии, конечно, на

хорошем счету у начальства. Да и сам «с молодых ногтей» начальник. Короче говоря, образцовый герой для соцреалистического романа о передовом учёном.

Совсем иначе складывалась жизнь Валерьяна Ивановича. Прежде всего, и это покалечило ему всю её первую половину, он был сыном провинциального священника. Молодёжь сейчас уже этого не понимает, но в двадцатые годы быть сыном священника в нашей стране было, может быть, хуже, тяжелее, чем в наше время быть евреем. Где-то в середине двадцатых отца Красовского репрессировали, и большая, дружная семья была развеяна ветром. Валерка Красовский стал человеком, скрывающим своё социальное происхождение. О поступлении в вуз не могло быть и речи. Более того, необходимо было как можно дальше удрать от родных льговских мест, и юноша едет в не совсем ещё советизированную Среднюю Азию – без профессии, без денег, – короче говоря, без средств к существованию. Голодный, бродит он по обильному и экзотическому Чарджуйскому базару и натывается на спившегося фельдшера, пользующего прямо здесь, на базаре, хворых и немощных. Наиболее распространённая болезнь – бытовой сифилис, и шарлатан-фельдшер в своём «медпункте – грязной палатке – лечит несчастных... электрофорезом. Для этой цели ему служит самодельный элемент Гренэ. Успех у лекаря большой – по здешним понятиям, чем больше средство, тем оно действеннее. Смышлёный паренёк устраивается у этого фельдшера ассистентом, чем немало способствует процветанию медицинского бизнеса. Дело даже дошло до того, что предприимчивый лекарь командировал Валерку в Москву за какими-то нужными для дела белыми мышами. Любопытная деталь: мальчишка получал этих

мышей в старом здании мединститута, что около зоопарка, где через тридцать лет он будет заведовать отделом академического института. Я полагаю, что для будущего историка советской электроники начало научной карьеры В. И. Красовского представляет несомненный интерес.

После Средней Азии был Ленинград, где В.И. работал лаборантом на Физтехе. Снизу, «из подполья», скрывавший своё происхождение сын священника мог только наблюдать взлёт своих более счастливых ровесников, через десятилетия ставших корифеями отечественной физики. Он так и не получил высшего образования. Потом работал в промышленности, в «почтовых ящиках». В войну незаурядные экспериментальные способности В.И. нашли себе должное применение, но это уже другой сюжет [31](#).

Итак, под крышей Института физики атмосферы в одном отделе встретились два полярно противоположных характера. Коллизия между ними представлялась если не неизбежной, то весьма вероятной. И она произошла! В это время (около 1950 года) Иван Андреевич с большой рекламой стал заниматься довольно эффектной тематикой – зондированием, с помощью прожекторов, серебристых облаков. Как известно, последние изредка наблюдаются на рекордно большой (для облаков) высоте – 80 км. Используемая для зондирования прожекторная установка находилась на загородной станции института, под Звенигородом.

На всю эту тему был наведён густой туман секретности. И вдруг стало известно, что Хвостиков по закрытой линии получил за эту работу Сталинскую премию, кажется, первой степени, причём единолично,

без своих сотрудников; вернее, сотрудниц – Иван Андреевич всегда предпочитал работать с дамами. Старый армейский волк Валерьян Иванович, отлично представлявший себе возможности работавших на Звенигородской станции списанных военных прожекторов (с которыми он во время войны немало поработал), сразу же понял, что ни о каком зондировании столь «высокой» цели, как серебристые облака, не может быть и речи. Тут был какой-то мухлёр! Проявив незаурядную хитрость, помноженную на настойчивость и крайнюю неприязнь к предполагаемому респектабельному мошеннику, Красовский тщательно изучил подлинные материалы наблюдений и «строго математически» изобличил Хвостикова в сознательной фальсификации и жульничестве. Особенно эффектным было доказательство мошенничества на основе анализа фотографий (основной материал!), на которых были изображены размытые пятна – якобы отражённые серебристыми облаками прожекторные блики. Красовский доказал, что фотографировалась с помощью расфокусированной оптики с большими экспозициями... Полярная звезда! Доказательством этому были неполные круги, окружающие размытые пятна – треки околополярных звёзд, которые и были отождествлены Валерьяном Ивановичем с помощью атласа Михайлова!

После бурного собрания несчастный «лауреат» раскололся. Результат был впечатляющ: Хвостикова изгнали из института и лишили Сталинской премии (точнее, «бляшки» – денежки возвращать не положено). Кажется, из партии его всё же не исключили. И он исчез из моего поля зрения, осев в одном из институтов научной информации. Лишь через много лет, уже к концу жизни, он потихоньку стал оправляться от нанесённого

ему сокрушительного удара, даже стал участвовать в работе каких-то комиссий...

В нашей литературе, а также в кино и на телевидении довольно часто муссируются проблемы, касающиеся науки. К сожалению, как правило, – и тут я повторяю – эти худосочные и лживые произведения дают совершенно искажённую картину взаимоотношений между работниками науки. На самом деле благодаря специфическим условиям советской жизни коллизии и конфликты между учёными чрезвычайно драматичны. Здесь в причудливый клубок переплетаются как чисто академические, так и совсем не академические линии...

Но вернёмся в конференц-зал Астрономического института.

– Знаете ли вы, кто отец Хвостикова? – спросил меня сын священника и выдержал (правда, с большим трудом) многозначительную паузу.

– Кто же? – нехотя, из вежливости, спросил я.

– Великий князь Николай Константинович Романов, двоюродный дядя Николая Второго!

Я выразил тупое удивление.

– А знаете ли вы, – решил добить меня Валерьян Иванович, – что сын Хвостикова работает у вас в отделе?

– Нет у меня Хвостикова, – вяло возразил я.

– А его фамилия вовсе не Хвостиков, – торжествуя, выдохнул В.И., назвав другую фамилию.

Вот тут я, к полному удовольствию В.И., даже растерялся. Я очень хорошо и давно знал нашего инженера Мишу. Бог ты мой, если В.И. прав, то...

– Подождите меня здесь, – сказал я В.И. и пошёл в 1-й отдел к незабвенной Вере Васильевне.

– Я хочу ознакомиться с одним личным делом, – сказал я удивлённой заведующей 1-м отделом, до этого ничего подобного от меня не слышавшей. Как заведующий отделом, я имею право знакомиться с личным делом своего сотрудника. Быстро устанавливаю, что отец Миши – Хвостиков Иван Андреевич, родился в Ташкенте в 1906 году. Пока всё сходится. Когда я вернулся в конференц-зал к торжествующему В.И., меня пронзила простая мысль: «В отсутствие прямых наследников, убитых в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге, Мишка вполне может претендовать на корону Российской империи!».

Через две недели после разговора с Валерьяном Ивановичем я побывал на выездной сессии Академии наук в Ташкенте. Там я нашёл старых ташкентцев, которые полностью подтвердили изыскания В.И.! При этом выявились забавные подробности. Великий князь Николай [32](#) был болен... kleptomанией (украл ожерелье у своей матушки и мог в принципе на дипломатическом приёме стащить какую-нибудь бесценную безделушку у супруги иностранного дипломата). По этой причине пребывание в столице империи стало просто невозможным, и его отправили в Ташкент – по существу, это была почётная ссылка. Между прочим, Николай Константинович Романов был неплохой человек, много сделавший для благоустройства Ташкента и смягчения царивших там со времен «господ ташкентцев» диких нравов. Старожилы всегда вспоминали его с благодарностью. Имел, впрочем, ещё одну, кроме kleptomании, слабость: обожал хорошеньких женщин (Мишина бабушка была одной из первых красавиц

Ташкента). Эта черта характера великого князя вполне проявилась и в его сыне: Иван Андреевич был весьма женолюбив, и подчас на этой почве с ним происходили крупные неприятности. Но что поделаешь – против генов не попрёшь!

Переваривая ташкентскую информацию, я живо представил себе забавную ситуацию, имевшую место несколько лет тому назад, в 1968—1969 годах. Тогда Миша довольно много времени провёл во Франции (у нас там была совместная с французами работа).

«Небось, приятно, – думал я, – ходить по мосту Александра Третьего и сознавать, что этот мост (довольно, впрочем, безвкусный) подарен славному городу Парижу твоим двоюродным прадедом».

А ещё Мише приходилось бывать в доме своего французского коллеги Леонида Вельяшева, чей отец – живой тогда! – старый казачий полковник.

«Интересно, – думал я, – если бы старик знал, что у него в гостях праправнук Николая Первого – вытянулся бы он во фронт?»

Через год после описываемых событий в плохоньком кафе «Берёзка», что в Черёмушках, состоялся традиционный банкет нашего отдела, вернее, двух отделов – ГАИШ и ИКИ. Я пригласил танцевать немолодую даму – вдову Ивана Андреевича и мачеху Миши, работавшую конструктором в моём отделе. Танцуя, я ошарашил её абсолютно неожиданным вопросом:

– А как вы полагаете, у кого больше прав на корону Российской империи – у ваших детей или у Миши?

– Конечно, у моих детей! – не задумываясь ответила она.

ТОСТ

Летом 1960 года во Львове состоялся выездной пленум Комиссии по звёздной астрономии Академии наук СССР. Я никогда до этого во Львове не был, что и было причиной моего участия в работе этого пленума. Более веских оснований у меня не имелось. Во Львове тогда работал мой старый товарищ Самуил Аронович Каплан, так нелепо погибший под колёсами экспресса декабрьской ночью 1977 года на станции Бологое. Первые два дня, когда пленум ещё не начался, мы с ним бродили по городу, который он, будучи ленинградцем, считал как бы своим и очень им гордился. Львов действительно хорош, особенно летом. Старинные, богато украшенные лепниной дома времен ещё до сих пор весьма почитаемого в Галиции императора Франца-Иосифа придают ему специфический среднеевропейский колорит. Украшают город построенные с пышной роскошью массивные костёлы. И всё это утопает в тяжёлой, сочной зелени каштанов и лип.

Однако главная достопримечательность Львова – старое польское кладбище. Затенённое пышной зеленью деревьев, оно действительно великолепно. Боже мой, сколько здесь мраморных усыпальниц польских магнатов! Нет среди них похожих – каждый фамильный склеп заносчиво, прямо-таки вызывающе оригинален. А какие аллегорические скульптуры, какие роскошнейшие распятия, крылатые мраморные ангелы, бесчисленные

«Матки Боски»... Хорошо ухоженное кладбище как бы окутано атмосферой благородной скорби. Да, львовяне очень любят своё кладбище и единодушно, с какой-то наивной трогательностью считают его *вторым в Европе*. Все, конечно, понимают, что первое европейское кладбище находится в Вене. Там похоронены Моцарт, Бетховен и другие великаны немецкой музыки. Что касается второго кладбища, то – увы – здесь ясности пока нет. Дело в том, что многие города претендуют на эту высокую честь. Я, например, совершенно точно знаю, что рижане уверены, что второе в Европе кладбище, конечно, находится в их прекрасном городе [33](#).

Итак, первые два дня и значительную часть следующих я с помощью моего добровольного гида изучал город. Хорошо помню, что в один из вечеров на его казённую холостяцкую квартиру, где мы обсуждали разного рода мировые проблемы (С.А. был склонен к такого рода философии), пришёл комендант обсерватории, коренной львовянин, по фамилии Кабко. За бутылкой венгерского он разговорился и поведал нам историю, которую я никак не могу забыть.

История эта на первый взгляд кажется простой и незамысловатой. До войны Кабко работал лифтьером в местном отеле. Когда 17 сентября 1939 года произошло историческое воссоединение Украины, бóльшая часть её жителей ликовала, в то время как другая часть замерла в настороженном молчании. Что-то принесёт с собой новая власть? На следующий день после исторического события в отеле, как и в других более или менее значительных учреждениях, появился советский комиссар. Старые служащие отеля затаились: что будет дальше? А дальше комиссар стал вызывать в свой кабинет всех служащих по одному и о чём-то беседовать с ними. О чём – никто

толком не знал, так как прошедшие собеседование подавленно молчали. Напряжение в отеле достигло кульминации. Наконец, к концу этой «операции» был вызван и Кабко, занимавший в служебной иерархии отеля одно из последних мест.

– Вы кем работаете? – грозно спросил комиссар.

– Лифтёром, – скромно ответил лифтёр.

– Ну так смотрите – чтобы лифт работал! – и комиссар недвусмысленно дал понять, что аудиенция окончена.

Кабко вышел из кабинета в совершенно подавленном состоянии. Что он хотел вообще сказать – этот важный киевский начальник? Как это прикажете понимать? Разве может быть так, чтобы лифт *не работал*? Тут что-то не то. Или он, тёмный человек, сути разговора не понял? Увы, очень скоро, став полноправным советским человеком, Кабко усвоил: для того чтобы лифт *работал*, за ним нужно постоянно *следить* (желательно опираясь на указания вышестоящих инстанций).

Мне кажется, что эта простенькая история полна глубокого смысла. Я, например, уже давно дошёл до научного открытия величайшей важности. Увы, я не могу его опубликовать – по этой причине моё тщеславие остро воспалено. Суть дела упирается в вековечную тайну движения. Великий Аристотель, как известно, считал, что движение (конечно, равномерное и прямолинейное) может происходить только потому, что на движущееся тело *непрерывно* действует *некоторая сила*. Перестанет сила действовать – и рано или поздно тело остановится! Великий Галилей, а после него не менее великий Ньютон пришли к радикальному выводу, что равномерное и

прямолинейное движение любого тела для своего поддержания *не требует никакой силы!* Это знаменитый закон инерции, который без должного понимания зубрят многие миллионы школяров на всех континентах. Так вот, суть моего открытия состоит в том, что наша великая страна живёт по *законам механики Аристотеля*, законы же Ньютона действительны только на разлагающемся Западе. В самом деле, хорошим примером формального действия механики Аристотеля является движение какого-нибудь тела в вязкой среде. Чтобы тело (дело!) двигалось, его непрерывно надо толкать – вот суть механики Аристотеля! Случай с лифтом, так удививший ещё неопытного Кабко, есть всего только ничтожная частность в действии всеобъемлющего закона, установленного великим греком.

Но я, как и полагается всякому неудачливому изобретателю, увлёкся этим, к делу не относящимся, хотя и строго научным лирическим отступлением. А между тем пленум уже шёл полным ходом. Всем заправлял директор Львовской обсерватории, в прошлом – видный пулковчанин Морис Семёнович Эйгенсон. Астрономы старшего поколения его презирали и фактически бойкотировали. После войны он уже не мог долго оставаться в Ленинграде и переехал во Львов. Смотреть было противно, как он вылизывал столичное астрона начальство, как извивался, как лебезил. Ему ещё надо было нажать политический капиталец у своего нынешнего, Львовского, начальства («С самим Амбарцумяном на короткой ноге!»). Короче говоря, экс-пулковчанин, что называется, лез из кожи.

Он, например, устроил запомнившуюся всем участникам пленума экскурсию по Галиции. Никогда не

забуду Троицын день в одном гуцульском селе. На обширном зелёном майдане вокруг изумительной красоты деревянной маленькой церковки стояла многотысячная толпа гуцулов, одетых в праздничные национальные костюмы. Поражали чинность и полный порядок толпы крестьян, пришедших на любимый праздник. А как они торжественно, абсолютно без толкотни, по какому-то им одним известному порядку входили и выходили из церковки, одновременно вмещавшей не более 30-40 человек! Ни одного пьяного! Вот бы нам так...

А ещё была ночёвка на хуторе у одного гуцула, на редкость красивого, довольно молодого человека, который на удивление хорошо говорил по-русски – величайшая редкость в этих местах. Из разговора выяснилось, что хозяин провёл 10 лет на колымской каторге. Взяли его ещё в 1946 году молоденьким хлопчиком – он был связным одного из отрядов Степана Бандеры. Мы спали на сеновале и, откровенно говоря, наслушавшись о зверствах и необыкновенном коварстве бандеровцев, чувствовали себя не совсем уютно. Но всё обошлось благополучно – видать, Колыма окончательно перековала нашего хозяина. Заехали мы и в знаменитое огромное село Жабье – столицу бандеровского движения («побратим» пресловутого Гуляй-Поля – «Махнограда» времён гражданской войны).

И как всегда это бывает на подобного рода выездных, показушных мероприятиях, венчал наш пленум банкет. К нему готовились с особенной тщательностью. Для Эйгенсона это была единственная в своём роде возможность продемонстрировать значимость своей персоны как перед чиновными гостями, так и, что особенно важно, перед местным начальством, от

которого он, как и любой в его положении, был в полной зависимости. Вполне естественно, что на этом банкете роль свадебного генерала играл Амбарцумян. Бог ты мой, какую атмосферу отвратительного холуйства создал вокруг академика юркий распорядитель! Какие только слова не говорились, какие фимиамы не курились! Всё время, без передышки, он буквально умолял Амбарцумяна, выклянчивая у него тост. Наконец, вняв мольбам хозяина банкета, Виктор Амазаспович поднялся из-за стола и очень серьёзно, не торопясь, произнёс тост, который я никогда не забуду. Привожу его буквально:

«По моим обязанностям президента Армянской Академии наук мне часто приходится принимать глав иностранных научных делегаций. Как-то раз ко мне в кабинет врывается с горящими глазами глава гостившей у нас делегации итальянских вулканологов.

– Вы счастливые люди, – закричал он, – вы живёте на вулкане!

Я сказал ему, что это относительное счастье – жить на вулкане.

В другой раз у нас гостила делегация западногерманских зоологов. Десять дней они путешествовали по нашей республике, на одиннадцатый ко мне в кабинет врывается глава этой делегации, очень возбуждённый:

– Во всей Европе обитает 163 вида змей и разных гадов. Вы счастливые люди: у вас, в такой маленькой республике, насчитывается 216 видов змей и гадов!

Я ему сказал, что это очень относительное счастье – жить среди такого большого количества змей и гадов.

Так вот, я могу вам сказать, – тут Амбарцумян обернулся к Эйгенсону, – вы счастливые люди: вы живёте на втором в Европе кладбище!»

Я никогда не забуду выражения лица Эйгенсона. Он совершенно не понял, какой знак имеет тост высокого гостя, тем более что Амбарцумян был убийственно серьёзен. На всякий случай одна половина лица Мориса Семеновича (кажется, левая) расползлась в подобострастной улыбке, в то время как другая выражала горестное недоумение.

Через 21 год после львовского пленума в Ленинграде с большой торжественностью отмечалось столетие обсерватории ЛГУ. Особо почётным гостем на этом юбилее был Амбарцумян – основоположник известной ленинградской школы теоретической астрофизики. И, разумеется, опять был банкет в роскошном зале нового помещения ЛГУ около деревни Мартышкино, что вблизи Петергофа (пардон, Петродворца). Выпито было немало, тосты шли один за другим. Я не предполагал произносить тосты, тем более что отношения со школой Амбарцумяна у меня всегда были сложные. Но меня все стали просить толкнуть речь – точно так же, как 21 год тому назад просили академика... Внимая гласу народа, я поднялся и при гробовой тишине (а было народу человек 300, и все уже довольно весёлые) после краткого предисловия слово в слово повторил львовский тост Амбарцумяна. Похоже, он был доволен моей хулиганской выходкой, только поправил число видов змей и гадов, обитающих на его родине. Моя неожиданная импровизация имела полный успех, хотя публика недоумевала, что я хотел этим сказать? Я тоже разделял это недоумение. Выступил я просто потому, что весь этот спектакль действовал мне

на нервы. Что делать – с годами у меня портится характер.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В конце апреля 1972 года я снова оказался в столице Грузии. На этот раз причиной моего визита было советско-французское совещание (вернее, встреча), посвящённое обсуждению совместных проектов разного рода экспериментов в Космосе. Наше сотрудничество началось ещё в 1967 году, и я имел удовольствие и честь быть у его истоков. Именно тогда я впервые побывал в Париже (см. новеллу «Париж стоит обеда!»). Иначе никогда бы я не увидел этого великого и прекрасного города. В ту далёкую весну 1967 года мы обсуждали некий совместный проект, которому интеллигентные хозяева-французы дали кодовое название «Розо» («Roseau»), что в переводе означает «тростник». Имелось в виду знаменитое определение Паскаля: «Человек – это мыслящий тростник». Кодовые названия отечественных научных проектов такой утонченностью не отличаются: чаще всего почему-то они носят птичьи имена. С тех пор советско-французские научно-космические встречи происходят регулярно, но постепенно по разным причинам моё участие в них как бы замирало, и я уже давно там не кручусь. Но тогда, весной 1972 года, я ещё в этом плане функционировал.

Настроение моё было препаршивое. Начиналась очередная полоса тяжёлых испытаний. За пару месяцев до этого, в начале февраля, меня за день до моего очередного отъезда в Малеевку буквально поймал Андрей Дмитриевич Сахаров и попросил, чтобы я

подписал вместе с ним бумагу, адресованную Прокурору СССР. В бумаге содержалась просьба дать нам ознакомиться с делом некоего Кронида Любарского, дабы изучить возможность отпустить его на поруки до суда по причине плохого состояния здоровья.

«Ну что же – значит, такая у меня судьба!» – мгновенно сообразил я.

Андрей мне доказывал, что мы действуем в строгом соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. А подписей почему-то надо две.

– Вроде двух ориентаций спина электрона, – не совсем уместно пошутил академик. – Одна подпись моя, а вторая, естественно, будет твоя, ведь он же астрофизик, твой коллега!

Что и говорить, Андрей большой знаток закона! Этого Любарского я немного знал, занимался он полупрофессиональным образом планетами в небезызвестном секторе марсианской астроботаники у Г. А. Тихона в Алма-Ате. Я перестал бы себя до конца моих дней уважать, если бы не поставил своей подписи рядом с подписью высокоуважаемого мною человека. И, ясно понимая, что попал в аварию, – подписал.

– Ничего же из этого не выйдет, Андрей! – сказал я.

– Я тоже так думаю, – довольно спокойно ответил он.

Последствия не заставили себя ждать. Я должен был ехать в Италию – мечта моей жизни! Уже всё было оформлено – и вдруг дело остановилось. Чиновники из Управления внешних сношений АН СССР искренне недоумевали – почему нет решения о моей поездке – ведь всё готово! Я-то знал почему... Началась серия

неприятностей в Институте – короче говоря, я вступил в пятилетний период «глубокого минимума».

...Итак, весной 1972 года я оказался в Тбилиси. Жили мы в центре, в гостинице «Сакартвело». Прямо на центральной лестничной клетке стоял намалеванный каким-то местным художником огромный, высотой не меньше 5-6 метров, портрет Вождя. Лучший Друг Международного Научного Сотрудничества был изображён во весь рост. Мы со Славой Слышем, с которым я жил в одной комнате, фотографируясь у подножия этого произведения искусства, не дотянулись даже до высочайших лодыжек.

Несмотря на весну, погода стояла довольно жаркая. Днём было душно, а ночами нельзя было спать по причине невыносимого грохота разного рода дорожных машин, при свете мощных ламп ковырявших мостовую точно под нашими окнами.

– Чёрт подери, и чего это им приспичило? – возмущался я.

Очень скоро пытливый экспериментатор Слава установил причину столь необычного для здешних мест трудового энтузиазма.

– Они готовятся к большому событию – 70-летию ихнего первого секретаря Мжаванадзе. Церемониальный кортеж проедет по этой улице, поэтому она должна быть в полном порядке!

«Вот уж действительно – если не везёт, то не везёт», – подумал я, содрогаясь от лязга бульдозеров и тщетно пытаясь заснуть.

В такой обстановке я по-настоящему обрадовался, когда местный человек, мой давнишний почитатель

Лулли Шаташвили, пригласил меня к себе домой на торжественный ужин. Вино было отменное, стол ломился от всякого рода вкуснятины, хозяева были само радушие и любезность. В перерыве между возлияниями мы с Лулли стали по телевизору смотреть программу местных новостей, в то время как женщины возились на кухне, колдуя над каким-то очередным экзотическим блюдом. Между тем телевизор сообщил нам пять захватывающе интересных новостей:

Трудящиеся Чаквинского района с колоссальным энтузиазмом что-то сделали по части чая;

Трудящиеся Чиатурского района перевыполнили что-то такое по линии марганца;

В Кобулетском районе чрезвычайно успешно вырастили какой-то фрукт с не совсем приличным названием;

Завтра Первому секретарю ЦК КП Грузии тов. Мжаванадзе исполнится 70 лет.

Пятую новость я уже не слушал.

– Лулли, что тут у вас происходит?

– Что происходит? Ничего не происходит, – безмятежно ответил хозяин.

– Ну, это вы бросьте – я знаю наши порядки! Если сообщение о юбилее *такого* человека идёт в четвёртую очередь, то случилось нечто необыкновенное.

– Да ну, бросьте, ничего не случилось, – легкомысленно и не мотивированно возражал Лулли.

Вернулся я в гостиницу поздно. Меня поразила непривычная тишина – проклятые бульдозеры впервые не работали! Вся техника была в живописном беспорядке

разбросана на улице – и ни одного работяги! Я поделился своими наблюдениями со Славой, который в отличие от беспечного сибарита Лулли полностью оценил важность этих, казалось бы, пустяковых событий. Всё-таки он астрофизик высокого класса!

Однако приметы приметами, а интересно было получить точное подтверждение. И я его получил к концу следующего дня, когда в помещении Тбилисского университета состоялось заключительное заседание нашего совещания. Это заседание происходило в небольшой аудитории, своим амфитеатром напомнившей мне незабвенную Малую физическую аудиторию в моей Alma mater на Моховой. Совещание должен был подобающим образом закрыть великий мастер подобного рода мероприятий, здешний астроном № 1 Евгений Кириллович Харадзе, который тогда ещё не был президентом Грузинской Академии наук. Перед началом своей заключительной речи он подошёл ко мне – благо я сидел в первом ряду – и рассыпался в извинениях:

– Ах, Иосиф Самуилович, простите меня великодушно, что я не уделял вам должного внимания, но я так был занят. Так занят! Вот, например, вчера – до 3-х часов утра сидел в ЦК!

Вот оно в чём дело!

– У вас перемены, Евгений Кириллович?

– Да, – кратко ответил Харадзе.

– И как – большие перемены? – навязчиво спросил я вдогонку удаляющемуся от меня будущему президенту тутошней академии.

– О, да! – не глядя на меня, ответил тот.

Всё стало ясно.

Заключительное заседание закончилось очень быстро. Все встали и направились к выходу из аудитории (как это всегда бывает, единственному). По этой причине около входной двери образовалась некая толчея. Впрочем, участники встречи вели себя очень интеллигентно, вежливо пропуская друг друга вперед.

– Как вам понравился Тбилиси? – кто-то очень почтительно спросил сзади. Я узнал Манагадзе – сотрудника моего института, очень ловкого малого (он позже защитит свою докторскую диссертацию в родном Тбилиси).

– Видите ли, – издали начал я, – я заметил, что каждый раз, когда мне доводится бывать в вашей прекрасной республике, здесь обязательно что-нибудь происходит. В июне 1953 года я впервые приехал к моему товарищу в Сухуми – и тут же «сгорел» Берия. В другой раз я приехал в Тбилиси в 1956 году – и пожалуйста, произошли памятные всем грузинам события. В середине октября 1964 года я отдыхал в Сухуми – и сразу же, буквально рядом, в Пицунде, окончилась политическая карьера Хрущёва...

– Ну а сейчас! Что сейчас? – с каким-то жадным любопытством спросил Манагадзе.

– Ваш Мжаванадзе – тю-тю! – медленно и как бы равнодушно процедил я.

В тот же миг Манагадзе исчез – его как ветром сдуло. Видать, смертельно перепугался. Я его увидел часа через два на традиционном грузинском банкете, посвящённом закрытию нашего совещания. Когда все отклеились от столов, пошли пляски. Странно, но

лезгинку танцевали только французы – хозяйева уныло подпирали стенки – интеллигенты, что тут говорить! А вот солиднейший президент Международного Космического Союза месье Денисс, мой старый коллега-радиоастроном, зажав в зубах столовый нож, отчебучивал просто немыслимые коленца.

Я уже давно заметил в толпе веселящихся участников совещания Манагадзе, который по сходящейся спирали кружился вокруг меня. Наконец он подошёл вплотную и прошептал:

– Неужели это правда?..

Я равнодушно пожал плечами:

– Можете не сомневаться!

Он по той же спирали стал от меня удаляться. Спустя некоторое время Манагадзе повторил свой маневр:

– Неужели вы не шутите?..

В третье своё прохождение по хорошо проторенной орбите он, уже освоившись со сногшибательной новостью, спросил:

– А кого назначили вместо него?

Я, конечно, не имел об этом ни малейшего понятия. Тем не менее нагло ответил:

– Мне называли какую-то фамилию, но я не запомнил...

– Шеварднадзе? – радостно выдохнул мой московский сослуживец.

– Кажется, да, – соврал я, хотя до тех пор никогда не слышал эту ныне известную фамилию.

– Очень хороший, очень умный человек!

– Вполне возможно, – закончил я наш необычный диалог.

Через несколько лет в ожидании вечно капризничающего лифта в своём родном Институте космических исследований я стоял рядом с Манагадзе. Про давешний эпизод в Тбилиси я уже успел забыть – мысли были устремлены на мой 7-й этаж, где меня уже ожидали представители некоей дружественной организации.

– Вы не собираетесь в Тбилиси? – очень вежливо спросил меня Манагадзе.

– Нет. Нечего мне там делать, – буркнул я.

– Жаль, жаль! Пора бы вам туда приехать.

Только на 7-м этаже я понял глубокий смысл сентенции моего грузинского коллеги...

«КОСМОГОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

Не приходится доказывать ту простую истину, что каждая область науки имеет своих специфических психов. Возьмём, к примеру, математику. Для этой древнейшей из наук характерным типом сумасшедших были и остаются так называемые «ферматисты». Эти несчастные всю жизнь маниакально пытаются доказать знаменитую теорему Ферма. Простота формулировки («...не существует таких трёх целых положительных чисел x, y, z , чтобы выполнялось равенство $x^n + y^n = z^n$,

если $n > 2$) толкает на безуспешные попытки доказательства этой теоремы даже лиц с более чем скромной математической подготовкой.

Решение проблемы до сих пор не найдено [Найдено в 1995 году Эндрю Уайлсом. – *E.G.A.*], и вообще похоже, что, утверждая в краткой записи на полях Диофантовой «Арифметики», что он эту теорему доказал, великий французский математик ошибся.

Мне рассказывали прелестную историю о том, как учёный секретарь Математического института им. Стеклова, проводя свой отпуск в маленьком молдавском городке, в местной районной газетке (использованной им как кулёк при покупке на базаре вишен) случайно прочёл, что какой-то тамошний школьный учитель доказал Великую теорему Ферма. И тут учёному секретарю пришла в голову блестящая идея. Он вырезал заметку и по приезду в Москву положил её под стекло своего письменного стола в служебном кабинете. Следует сказать, что приходящие в институт со своими гениальными идеями психи попадают прежде всего к учёному секретарю. Теперь представьте, что приходит очередной «ферматист» и излагает свой часто довольно хитроумный и не просто «ловящийся» бред. Учёный секретарь молча его выслушивает и указывает на лежащую под стеклом газетную вырезку. И таково уж магическое воздействие печатного слова на советского человека: по крайней мере 80 процентов недостаточно устойчивых психов понуро уходили восвояси – очень жаль, но с доказательством великой теоремы они малость опоздали! Перед нами редкий по эффективности пример рационализации производства, в данном случае – делопроизводства, так как настырные психи обычно

втягивают учёных секретарей в изнуряющую переписку с разными партийными и советскими инстанциями.

В моей астрономической науке дела с психами обстоят не так «одномерно», как в математике, где, как я слышал, чуть ли не с их сочинений приходится на доказательство Великой теоремы Ферма. Характер психизысканий в астрономии – весьма чувствительная функция моды и поветрия в реальной науке о небе. Не могу себе простить, что лет 30 назад я не завёл специальную папку под названием «Нам пишут». Боже мой, чего только они не писали! Помню, например, как меня, так же как и всех московских астрономов, одолевал один особо одержимый псих, который изобрёл уникальную оптическую систему под названием «телескоп-микроскоп» («посмотришь с одного конца – телескоп, с другого – микроскоп»). Дело тянулось несколько лет, и чем оно кончилось, я просто не помню. Запуск первого советского искусственного спутника Земли и последовавшие после этого бурные события подействовали на них примерно так же, как валерьянка на кошек. В конце концов, ведь и Циолковский тоже был гениальным психом-самоучкой и вполне годился в магистры этого удивительного ордена. Атаки на мою персону стали особенно ожесточёнными после запущенной по моему предложению искусственной кометы – облака паров натрия, выпущенного с борта спутника. Опыт действительно производил впечатление, особенно когда такая комета образовывалась в верхних слоях атмосферы, Хорошо помню, например, отклик на этот эксперимент одного психа-баптиста, содержащий такие удивившие меня строчки: «Куды пущаете ракету! Забыли церкву и собор!». А когда в 1962 году вышла моя

книга «Вселенная, Жизнь, Разум», для меня настали совсем тяжёлые времена.

Но из всех моих контактов с одержимыми, пожалуй, наиболее сильное впечатление на меня произвела эпопея Шварцмана. История эта началась в 1950 году. Это было примечательное время. Незадолго до этого, в 1948-м, прогремела пресловутая сессия ВАСХНИЛ, когда фанатичный и одновременно примитивно хитрый агроном Лысенко с полного одобрения Сталина разгромил и на долгие годы превратил в пустыню биологическую науку. «Почин» Лысенко вызвал аналогичные «движения» и в других науках. Благо и там «лысенковцев» было более чем достаточно. Это тогда Бошнян «доказывал», что микробы возникают из каких-то кристаллов, а старая большевичка Лепешинская проповедовала содовые ванны как панацею от всех болезней и несла ещё какой-то бред. В химии банда Шахпаронов и К° громила «буржуазную» теорию резонанса и одного из её создателей Полинга, уже потом ставшего выдающимся борцом за дело мира. Мракобесы на физическом факультете МГУ заставили отречься лучшего из профессоров этого факультета Хайкина от основ механики, изложенных в его известном учебнике. Объявили было квантовую механику и теорию относительности буржуазными диверсиями и хотели на этой основе устроить шабаш по образцу сессии ВАСХНИЛ, но их одёрнули «сверху»: понимали всё-таки, что без настоящей физики нельзя обеспечить боеготовность страны. Так что здесь в отличие от биологии обошлось без крови.

Моровое поветрие не могло не коснуться астрономии, где оно приняло своеобразные, к счастью, тоже бескровные, формы. Наиболее ярким выражением

лысенковщины в астрономии была космогоническая теория Шмидта. Я, конечно, далёк от того, чтобы ставить в один ряд разносторонне талантливого и глубоко порядочного Отто Юльевича Шмидта и Лысенко. Но объективности ради следует сказать, что пропаганда, вернее, *навязывание* гипотезы Шмидта о происхождении Солнечной системы (весьма спорной, а в своей разумной части – неоригинальной) велась вполне лысенковскими методами, причём началась она ещё до «исторической» сессии ВАСХНИЛ. Так что Отто Юльевич в этом смысле «пионер».

В те далёкие времена организовывались космогонические конференции и совещания вполне в духе лысенковских «сабантуев». Приклеивали ярлыки (например, «хойлисты» – полный астрономический аналог вейсманистов-морганистов), научные проблемы решались голосованием после предварительного совещания на партгруппе – одним словом, всё было «как у людей». С «трудами» этих конференций было бы полезно ознакомить нашу астрономическую молодёжь. Всё-таки мы далеко ушли от этих для меня незабываемых времен.

Вполне понятно, что описанные выше бурные события в астрономии немедленно нашли своё отражение и в «деятельности» психов. Нас, астрономов, стали засыпать бесчисленными совершенно бредовыми космогоническими гипотезами. Впрочем, не будем так суровы к бедным маньякам: ведь если на профессиональном уровне господствовали тогда вполне психопатологические идеи и методы пробивания этих, с позволения сказать, «теорий», то что же оставалось делать «настоящим», так сказать, «освобождённым» психам? Именно в это время с чудовищной энергией нас,

астрономов, стал атаковать некий Шварцман. Его плодовитость была угрожающая. В нашем центральном органе – «Астрономическом журнале» – труды Шварцмана занимали заметную часть редакционного портфеля. Как и положено, бессменный секретарь редакции милейшая Анна Моисеевна давала всю эту «шварцманиану» на рецензии разным московским астрономам и перебрала почти всех. Коллеги отделялись, как обычно, краткими, поверхностными, сугубо отрицательными отзывами. До поры до времени чаша сия меня миновала. Но пришёл и мой час: мне были вручены пять довольно толстых, написанных от руки тетрадок – сочинения Д. Шварцмана. Я как раз собирался на очередной летний сезон в любимый Симеиз. Нужно было ликвидировать кучу московских дел, и, право же, мне было не до изучения лепета какого-то безумца. Буквально за день до отъезда я вспомнил о злополучных тетрадках. Превозмогая отвращение и досаду, вечером стал просматривать эту пакость. Я решил Шварцмана забодать сразу же неоднократно испытанным приёмом: не читая текста, проверить размерности многочисленных, с виду довольно сложных, «трёхэтажных» формул. Способ этот верный: отсутствие логики в мышлении неизбежно должно приводить к нарушениям размерности; например, в левой части уравнения будут килограммы, а в правой – какая-нибудь бессмысленная комбинация из сантиметров, граммов и секунд. Этим методом я хорошо владею – однажды на потеху большой аудитории «прищучил» самого академика Фесенкова. Велико же было моё изумление, когда размерности даже самых сложных формул у Шварцмана оказались правильные! Больше я ничего сделать не смог – был в полном цейтноте. На следующий день, буквально

накануне отъезда, я забежал в родной ГАИШ и по своему невезению напоролся на Анну Моисеевну. К счастью, рядом оказался мой старый коллега по аспирантуре Серёжка Полосков, которого я, тонко сыграв на его всем известной любви к гонорарам («Бери Шварцмана и проси за каждую статью отдельно, ведь статьи, сам понимаешь, близнецы»), быстро уговорил отрецензировать злосчастные опусы. Убегая из ГАИШа, я оглянулся и увидел издали Серёжку и Анну Моисеевну, которые, оживленно жестикулируя, явно торговались. «Бедный Шварцман», – мелькнуло у меня в голове, но я тут же забыл об этом, так же как и о другой московской мути, от которой убегал к тёплому морю.

Когда глубокой осенью я вернулся, Сергей Матвеевич Полосков сообщил мне, что он лихо «сделал» бедного Шварцмана. И тут же поведал совершенно поразившую меня новость. Получив очередную порцию отрицательных рецензий, Шварцман отколол номер: он заперся в своей комнате, где жил один, и оставил своим соседям записку. Текст записки буквально такой: «Обскуранты от науки отвергли мою теорию. В знак протеста и во имя науки я объявляю голодовку и прекращаю приём пищи». Через неделю обеспокоенные соседи взломали дверь, и бедный автор космогонических гипотез в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Рассказывая это, крупный, переполненный здоровьем Сергей Матвеевич весело смеялся. А мне стало как-то не по себе.

Хорошо помню случившуюся через несколько месяцев после описанных событий очередную «космогонку» (так на нашем сленге назывались навязшие в зубах словопрения по т. н. «космогонической проблеме»). Совершенно не помню ни предмета

словоизлияний, ни даже места, где это действие происходило. Однако до мельчайших подробностей мне врезалось в память появление, вернее, явление Шварцмана астрономическому народу. Во время перерыва между докладами появился и стал нарастать панический слух: «Идёт Шварцман!». И все (я не преувеличиваю!) бросились врассыпную – ибо почти каждый был замешан в рецензировании его мучительных трудов. На что Алла Генриховна Масевич – «первая леди космогонок» – дама выдержанная, и та куда-то сбежала. Я же, по причине сильной близорукости, как-то замешкался, а когда опомнился, было поздно: навстречу мне по длинному коридору шла маленькая щуплая фигурка. Это и был ставший уже легендарным Шварцман. Я, словно загипнотизированный, неподвижно стоял, глупо уставившись на маленького человечка. Помню его совершенно белое молодое лицо и огромные горящие глаза.

– Вы отвергли мою теорию! – решительно сказал он.

Я стал что-то блеять, мол, это не я, это Серёжка и пр.

– Вы отвергли мою теорию. Я вам докажу! – и с этими словами он, преисполненный достоинства, пошёл обратно.

И опять коридор наполнился «легальными» космогонистами. На душе у меня было пакостно – никак не мог забыть его глаза.

Потом я опять уехал на лето в Симеиз, а когда в конце сентября 1951 года вернулся в Москву и в первый же день пошёл в ГАИШ, то встретил там уже поджидавшего меня Шварцмана. Физиономия у меня, естественно, вытянулась. Без всяких предисловий он

сказал: «Я принёс!» – и протянул мне завёрнутый в бумагу переплетённый фолиант, по весу соизмеримый с довольно пухлой докторской диссертацией.

«Пожалуй, страниц на 300 потянет», – уныло подумал я и машинально попросил автора заглянуть через недельку.

Не говоря ни слова, Шварцман ушёл.

Незаметно пролетел остаток рабочего дня, наполненный обменом новостями с друзьями и сотрудниками. Уходя из института, я заметил на моем столе свёрток и, морщась как от зубной боли, вспомнил Шварцмана. Машинально я развернул свёрток и обмер. На титульном листе огромной машинописной рукописи было выведено: «*Космогоническая поэма*». Мне стало совсем нехорошо, когда я принялся читать это уникальное произведение. Все 263 страницы были заполнены... чеканным «онегинским» ямбом! Довольно часто на страницах этого чудовищного труда попадались формулы (я их живо вспомнил...), которые зарифмовать всё же не удалось. Чтобы читатель мог составить хоть какое-то представление об этом произведении, приведу начало вступления к «Космогонической поэме»:

Боюсь, что странный выбор темы

Тебя, читатель мой, смутит.

В наш век не принято поэмы

Писать научные. Претит

Мужам науки музы лепет,

Кудрявый слог и рифмы эвон,

Но что поделаться, если трепет,
Когда в расчёты погружён
Напополам с мечтой летучей...

Вот так-то! В поэме довольно много примечаний, и все они зарифмованы. Шварцман непрерывно ведёт полемику с пулковским астрономом, позже директором этой обсерватории и членом-корреспондентом Академии наук, большим путаником В. А. Кратом. Сколько язвительности, даже тонкой иронии: «что тренье есть работы трата? слова доподлинные Крата», и вместе с тем – полная корректность и благожелательность к оппоненту! А ведь сколько кровушки выпили у него коллеги Крата! Тут любой бы ожесточился, но не таков Шварцман. Вместе с тем он, дитя своего схоластического времени, даёт совет по части аргументации: «...Раскройте Энгельса, дружок!..» Потрясённый «Космогонической поэмой», я просто не знал, что мне делать.

Ровно через неделю передо мной сидел сам автор. Я спросил, писал ли он когда-либо стихи. Нет, никогда не писал. Понятно, конечно, почему он выбрал ямб – другого размера он просто не знал! Бедняга со школьных лет помнил только «...мой дядя самых честных правил...». Когда он наглотался отрицательных рецензий на свои труды, рассматриваемые им как дело жизни, в его больное сознание въелась идея, что эти труды не понимают потому, что они написаны... прозой! И, одержимый своей догадкой, человек буквально за 2-3 месяца совершил настоящий подвиг.

Годы, протекшие после окончания средней школы, он работал слесарем, всегда в ночной смене, днём же

сидел по 10 часов в библиотеке Ленина. Практически не спал, питался... бог знает, где и чем он питался. Это был подлинный аскет. Что же мне с ним делать? И тут мелькнула неожиданная мысль, Я был тогда учёным секретарем комиссии по исследованию Солнца и располагал чистыми бланками. Я сказал сидевшему напротив меня Шварцману:

– Я напишу вам, и притом на официальном бланке, существенно положительную рецензию. Учтите, что власти у меня нет. Но с этой рецензией вы, может быть, добьётесь публикации ваших трудов. Может быть, хотя это и маловероятно.

Шварцман прослезился – он явно не ожидал такого оборота. Я тут же написал ему рецензию, а знакомая машинистка напечатала её на казенном бланке. Вот текст этой рецензии:

«Рецензируемая работа Д. Шварцмана „Космогоническая поэма“ посвящена одной из актуальнейших проблем современной астрофизики. Оригинальная форма, которую автор придал своему произведению (стихи), несомненно, привлечёт к нему внимание самых широких слоев нашей общественности. Работа Д. Шварцмана вполне может быть опубликована в „Вопросах космогонии“ в порядке дискуссии.

Секретарь комиссии по исследованию Солнца

д. ф. – м.н.

И. Шкловский».

Шварцман был потрясён – ещё бы: первая положительная рецензия в его короткой, но многострадальной жизни. Когда он уходил, я ему сказал:

– У вас, наверное, есть ещё экземпляры «Космогонической поэмы». Оставьте мне, пожалуйста, на память этот экземпляр.

Он с радостью выполнил мою просьбу, и вот я уже 30 лет – счастливый обладатель этого, по-видимому, уникального сокровища.

Получив положительную рецензию, Шварцман стал безуспешно обивать пороги астрономических редакций и учреждений, доставляя немало хлопот моим чиновным коллегам. Я нарушил правила обращения с психами, чем, в частности, вызвал нарекания Аллы Генриховны:

– Этот Шкловский – совершенно несерьёзный человек, прямо-таки озорник!

Нигде, конечно, «шварцманиану» не напечатали. А жаль! Ведь столько всякой ерунды публикуют, которую даже никто не читает! Скажу больше: я до сих пор так и не вник в научное содержание «Космогонической поэмы». Всё как-то некогда. Странно всё-таки, что там формулы имеют правильные размерности. А вдруг...

А ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!

Его арестовали на балу, где люди праздновали наступающую 19-ю годовщину Великого Октября. Он после танца отводил свою даму на место, когда подошли двое. Что это означает, тогда понимали быстро.

– А как же дама? Кто её проводит домой?

– О даме не беспокойтесь, провожатые найдутся!

Он – это Николай Александрович Козырев, 27-летний блестящий астроном, надежда Пулковской обсерватории. Его работа о протяжённых звёздных атмосферах незадолго до этого была опубликована в ежемесячнике Королевского Астрономического Общества Великобритании, авторитетнейшем среди астрономов журнале. Арест Николая Александровича был лишь частью катастрофы, обрушившейся на старейшую в нашей стране знаменитую Пулковскую обсерваторию, бывшую в XIX веке «астрономической столицей мира» (выражение Симона Ньюкомба).

Пулковская обсерватория давно уже была бельмом на глазу у ленинградских властей – слишком много там было независимых интеллигентных людей старой выучки. После убийства Кирова положение астрономической обсерватории стало, выражаясь астрофизически, метастабильным.

Хорошо помню чудесный осенний день 1960 года, когда я гостил на Горной станции Пулковской обсерватории, что около Кисловодска, у моего товарища по Бразильской экспедиции, флегматичного толстяка Славы Гневышева. Мы сидели на залитой солнцем веранде, откуда открывался ошеломляющий вид на близкий Эльбрус. Тихо и неторопливо старый пулковчанин Слава рассказывал о катастрофе, фактически уничтожившей Пулково в том незабываемом 1935 году.

Беда навалилась на это учреждение как бы внезапно. Видимым образом всё началось с того, что некий аспирант пошёл сдавать экзамен кандидатского минимума по небесной механике своему руководителю,

крупнейшему нашему астроному профессору Нумерову [34](#). По причине бездарности и скверной подготовки аспирант экзамен провалил. В отместку, высмотрев на рабочем столе своего шефа много иностранной научной корреспонденции, он написал на Нумерова донос – то ли в местную парторганизацию, то ли повыше. В то время секретарем парторганизации обсерватории был некий Эйгенсон – личность вёрткая, горластая и малосимпатичная (см. новеллу «Тост»). Ознакомившись с доносом, этот негодяй решил, что наконец-то настал его час. Проявив «должную» бдительность, он дал делу ход, в результате чего Нумерова арестовали. Когда в «Большом доме» его жестоко избили, он подписал сфабрикованную там бумагу с перечислением многих своих коллег – якобы участников антисоветского заговора (12 в Пулкове и примерно столько же в ИТА).

Следует заметить, однако, что к Нумерову наши славные чекисты подбирались ещё до описанных событий. Незадолго до ареста Нумерова они выпытывали о нём у Николая Александровича, но, конечно, ничего не добились. Несмотря на расписку о неразглашении, Козырев предупредил Нумерова о надвигающейся беде. Избитый несчастный астроном рассказал об этом следователю, что и послужило поводом для ареста Н.А. После этого последовали новые аресты. Короче говоря, пошла обычная в те времена цепная реакция. В результате по меньшей мере 80 процентов сотрудников Пулкова во главе с директором, талантливым учёным Борисом Петровичем Герасимовичем, были репрессированы, причём большинство из них впоследствии погибли. Среди погибших – Еропкин и ряд

других деятелей отечественной астрономической науки. В огне этого пожара сгорел и Козырев.

Конечно, 1937 год принёс нашему народу тотальную беду. Всё же многое зависело от конкретной обстановки в том или ином коллективе. Как тут не привести удивительный случай, имевший место в моём родном Астрономическом институте им. Штернберга. Это столичное учреждение по размерам сравнимо с Пулковом, можно сказать, его двойник. Невероятно, но факт: примерно в то же время некий аспирант тоже пошёл сдавать небесную механику своему шефу – профессору Дубошину. Результаты экзамена были столь же плачевны, как и у его коллеги в Пулкове. И повёл себя московский аспирант после такой неудачи совершенно так же, как и ленинградский, – написал донос на шефа, инкриминируя ему те же грехи – научную иностранную корреспонденцию (на диво отработанный приём!). Парторгом был тогда некий Аристов – типичный «деятель» того времени. Он разводил демагогию, что-де интеллигенты зажимают представителей рабочего класса – очень опасное по тем временам обвинение. Нашлись, однако, в институте силы, которые дали решительный отпор провокаторам. Это были члены тогдашнего партбюро Куликов, Ситник и Липский. Клеветник-аспирант был изгнан, даже, кажется, исключён из партии, а вскоре за ним последовали незадачливый Аристов и его верный оруженосец по фамилии Мельников. Пожар был потушен. Итог: в нашем институте в те незабываемые предвоенные годы ни один человек не был репрессирован. Другого такого примера я не знаю.

Но вернёмся к Николаю Александровичу Козыреву. Он получил тогда 10 лет. Первые два года сидел в

знаменитой Владимирской тюрьме, в одиночке. Там с ним произошёл поразительный случай, о котором он рассказал мне в Крыму, когда, отсидев срок, стал работать на Симеизской обсерватории. Я первый раз наблюдал человека, вернувшегося «с того света». Надо было видеть, как он ходил по чудесной крымской земле, как он смаковал каждый свой вздох! И как он боялся, что в любую минуту его опять заберут *туда*. Не забудем, что это был 1949 год – год «повторных посадок», и страх Николая Александровича был более чем понятен.

А случай с ним произошёл действительно необыкновенный. В одиночке, в невыносимых условиях, он обдумывал свою странную идею о неядерных источниках энергии звёзд и путях их эволюции. (Замечу в скобках, что через год после отбывания срока Козырев защитил докторскую диссертацию на эту фантастическую и, мягко выражаясь, спорную тему [35](#).) А в тюрьме он всё это обдумывал. По ходу размышления ему необходимо было знать много конкретных характеристик разных звёзд, как-то: диаметры, светимости и прочее. За минувшие два страшных года он всё это, естественно, забыл. А между тем незнание звёздных характеристик могло повести извилистую нить его рассуждений в один из многочисленных тупиков. Положение было отчаянное! И вдруг надзиратель в оконце камеры подаёт ему из тюремной библиотеки... 2-й том «Пулковского курса астрономии»! Это было настоящее чудо: тюремная библиотека насчитывала не более сотни единиц хранения, и что это были за единицы!

– Почему-то, – вспоминал Н.А., – было несколько экземпляров забытой ныне стряпни Демьяна Бедного «Как 14-я дивизия в рай шла»...

Понимая, что судьбу нельзя испытывать, Н.А. всю ночь (а по ночам в камере ни на минуту не гасла ослепительно-яркая лампочка) впитывал и перерабатывал бесценную для него информацию. А наутро книгу отобрали, хотя обычно давали на неделю. С тех пор Козырев стал верующим. Помню, как я был поражён, когда в 1951 году в его ленинградском кабинете увидел икону. Это сейчас пижоны-модники украшают себя и квартиры предметами культа, тогда это была большая редкость. Кстати, эта история с «Пулковским курсом» абсолютно точно воспроизведена в «Архипелаге ГУЛАГ». Н.А. познакомился с Александром Исаевичем задолго до громкой славы последнего. Тогда ещё никому не известный Солженицын позвонил Николаю Александровичу и выразил желание побеседовать с ним. Два бывших зэка быстро нашли общий язык.

Тем более любопытно, что Солженицын в своём четырёхтомном труде ни словом не обмолвился о значительно более драматичном эпизоде одиссеи Николая Александровича, который ему, безусловно, был известен. Это – хороший пример авторской позиции, проявляющейся в самом отборе излагаемого материала. А история, случившаяся с Н.А., действительно поразительная.

Отсидев в тюрьме, Н.А. «дотягивал» свой срок в лагере в Туруханском крае, в самых низовьях Енисея. Собственно, то был даже не лагерь – небольшая группа людей занималась под надзором какими-то тяжёлыми монтажными работами на мерзлотной станции. Стояли лютые морозы. И тут выявилась одна нетривиальная особенность Козырева: он мог при сорокаградусном морозе с ледяным ветром монтировать провода *голыми*

руками! Какое же для этого надо было иметь кровообращение! Этот человек был потрясающе здоров и силен. Я всегда любовался его благородной красотой, прекрасной фигурой и осанкой и какой-то лёгкой, воздушной походкой. Он не ходил по каменистым тропам Симеиза, а как-то парил. А ведь сколько он перенёс горя, сколько душевных и физических страданий!

Вышеозначенное необыкновенное свойство организма Н.А., естественно, обеспечивало ему колоссальное перевыполнение плана. Ведь в рукавицах много не наработаешь! По причине проявленной трудовой доблести Н.А. был обласкан местным начальством, получал какие-то дополнительные калории и стал даже старшим в производственной группе. Такое неожиданное возвышение имело, однако, для Н.А. самые печальные последствия. Какой-то мерзкий тип из заключённых, как говорили тогда, «бытовик», бухгалтеришко, осуждённый за воровство, воспытал завистью к привилегированному положению Николая Александровича и решил его погубить. С этой целью, втёршись в доверие к Н.А., он стал заводить с ним провокационные разговорчики. Изголодавшийся по интеллигентному слову астроном на провокацию клюнул: он не представлял себе пределов человеческой низости. Как-то раз «бытовик» спросил у Н.А., как он относится к известному высказыванию Энгельса, что-де Ньютон – индуктивный осел (см. «Диалектику природы»). Конечно, Козырев отнёсся к этой оценке должным образом. Негодяй тут же настроил на Козырева донос, которому незамедлительно был дан ход.

16 января 1942 года его судил в Дудинке суд Таймырского национального округа.

– Значит, вы не согласны с высказыванием Энгельса о Ньюtone? – спросил председатель этого судилища.

– Я не читал Энгельса, но я знаю, что Ньютон – величайший из учёных, живших на Земле, – ответил заключённый астроном Козырев.

Суд был скорый. Учитывая отягощающие вину обстоятельства военного времени, а также то, что раньше он был судим по 58-й статье и приговорён к 10 годам (25 лет тогда ещё не давали), ему «намотали» новый десятилетний срок. Дальше события развивались следующим образом. Верховный суд РСФСР отменил решение Таймырского суда «за мягкостью приговора». Перед Козыревым, который не мог следить за перипетиями своего дела, так как продолжал работать на мерзлотной станции, вполне реально замаячил расстрел.

Доподлинно известно, что Галилей перед судом святейшей инквизиции никогда не произносил приписываемой ему знаменитой фразы «А всё-таки она вертится!». Это – красивая легенда. А вот Николай Александрович Козырев в условиях, во всяком случае, не менее тяжёлых, аналогичную по смыслу фразу бросил в морды тюремщикам и палачам! Невообразимо редко, но всё же наблюдаются у представителей вида Homo Sapiens такие экземпляры (они-то и делают само существование этого многогрешного вида оправданным!).

Потянулись страшные дни. Расстрелять приговорённого на месте не было ни физической, ни юридической возможности. Расстрельная команда должна была на санях специально приехать для этого дела с верховья реки. Представьте себе состояние Н.А.: в окружающей белой пустыне в любой момент могла появиться вдали точка, которая по мере приближения

превратилась бы в запряженные (оленьями?) сани с сидящими в них палачами. Бежать было, конечно, некуда. В эти невыносимые недели огромную моральную поддержку Николаю Александровичу оказал отбывавший вместе с ним ссылку Лев Николаевич Гумилёв – сын нашего выдающегося трагически погибшего поэта, ныне очень крупный историк и этнограф, специалист по кочевым степным народам.

Через несколько недель Верховный суд СССР отменил решение Верховного суда РСФСР и оставил в силе решение Таймырского окружного суда.

Почему же Солженицын ничего не рассказал об этой поразительной истории? Я думаю, что причина такого умолчания – во враждебности Александра Исаевича к интеллигенции, пользуясь его термином – «образованщине». Как христианин, Н.А. понятен и приемлем для этого писателя; как учёный, интеллектуал, до конца преданный своей идее, – «чужак». Странно – ведь у Солженицына какое-никакое, а всё-таки физико-математическое образование! Что ни говори, а ненависть ослепляет.

ДИПЛОМАТ ПОНЕВОЛЕ

За сорок лет моей дружбы с Владимиром Михайловичем Туроком он рассказал мне немало удивительных историй. Как жаль, что, будучи блистательным рассказчиком, Владимир Михайлович их не записывал, ибо был ленив до чрезвычайности. Ленив и осторожен – не будем забывать о времени! Ну а я,

тогда ещё мальчишка, раскрыв рот и глаза, слушал его, ни разу даже не подумав, что всё это надо записывать.

Закрываю глаза и вижу его на кухне, где он, в халате, сидит в роскошной «турецкой позе» и пьёт невероятной крепости кирпичный чай. Меня он уже давно обратил в «турецкую веру», и я с наслаждением пью обжигающее глотку почти чёрное зелье. И вообще веду себя, вопреки обыкновению, «тише воды, ниже травы».

Затем обычно следовал, долгий разговор с очередным любимым котом жены В.М. – Коки Александровны, сопровождаемый тонким сравнительным анализом означенного животного и гостя. Обычно это сравнение было не в пользу последнего. К тяжкому кошачьему запаху я уже притерпелся и все эти весёлые муки и унижения стоически переносил единственно в предвкушении рассказов хозяина, которые обычно начинались после третьего стакана «турецкого чая».

Иногда мы из кухни переходили в гостиную. Идти надо было по узкой дорожке, среди книжных гор, давно уже перебравшихся с переполненных полок на пол, образуя сталагмиты и даже сталактиты. Не дай бог задеть какой-нибудь фолиант или ещё хуже – убрать его с дороги! Тут фырчание и шипению В.М. не было конца. Книги были на многих языках: кроме трёх европейских, Владимир Михайлович свободно владел языками балканских славян, а Кока Александровна – ещё и хинди, фарси и, кажется, арабским. Каких только книг там не было! Иногда Турок иллюстрировал свои рассказы цитатами, которые легко находил в этом немыслимом хаосе. Как он это делал, для меня до сих пор остаётся тайной.

Ему было что рассказать! В молодости, в двадцатые годы, он работал корреспондентом ТАСС в Вене, но главное – был оперативным работником Коминтерна. Вспоминаю, например, его рассказ о том, как он добывал фальшивый паспорт для Георгия Димитрова. Он знал огромное количество интереснейших людей. Немало этих людей входили в историю, а потом изымались из оной...

Незабываемые 1937—1938 годы с колоссальной силой ударили по работникам дипломатического фронта. Ещё бы – главный криминал тех недоброй памяти лет был налицо: связь с границей! По своему роду деятельности эта категория совслужащих была просто рождена для Лубянки. Беспощадная коса террора нанесла страшные опустошения в рядах сотрудников тогдашнего Наркоминдела – чуть ли не 80 процентов всех дипломатических постов оказались вакантными, причём было уже неясно, как и кем их заполнять. Между тем продолжающаяся несмотря ни на что жизнь великой страны настоятельно требовала функционирования всех её органов, в том числе и предназначенных для иностранных сношений.

Из многих рассказов В.М. о дипломатах того времени наиболее сильное впечатление на меня произвела трагическая одиссея Николая Николаевича Иванова. К сожалению, отдельные её детали стёрлись – ведь рассказывалось это примерно четверть века назад! И хотя память у меня на факты профессиональная (без этого в нашем звёздно-галактическом деле далеко не уедешь), искажения при попытке воспроизвести этот рассказ В.М. могут быть значительными. Но всё же попробую. Начну с того, что несколько строк о Н. Н. Иванове можно прочитать в пухлых воспоминаниях Эренбурга «Люди, годы, жизнь». А мог бы Илья

Григорьевич и расщедриться – ведь он в буквальном смысле обязан ему жизнью! В этом Эренбург сам мне признался во время нашего краткого знакомства в 1960 году, когда он только приступил к работе над своими воспоминаниями.

Владимир Михайлович рассказал мне историю Иванова за несколько лет до того, как мне поведал о ней Илья Григорьевич, так что я уже был в какой-то мере подготовлен. Что же это за история? Она довольно необычна прежде всего личностью героя.

Николай Николаевич Иванов происходил из интеллигентной семьи (его отец был довольно известный профессор медицины), получил прекрасное домашнее воспитание, знал два или три иностранных языка (что в конечном итоге его и погубило). Комсомолец, потом член партии, он посвятил себя гуманитарным наукам. До 1939 года, когда слепой случай сыграл с ним такую злую, а вернее – страшную, шутку, он преподавал политэкономия в одном из московских вузов. Кажется, был доцентом. Очень возможно, что имел учёную степень. И вдруг... в середине 1938 года он получил повестку с предписанием явиться на Старую площадь в кабинет №... к товарищу такому-то. Я бывал в этом учреждении и могу засвидетельствовать, что там на всех кабинетах вывески однотипны: «товарищ...» без указания поста. Большие скромники! По тем временам такое приглашение ничего хорошего не обещало. Оказалось, однако, что его вызывали за тем, чтобы предложить какой-то мелкий дипломатический пост в некоем захудалом ближневосточном государстве (Йемен? – ведь независимых государств в этом регионе почти не было).

У Иванова сразу отлегло от сердца. Он даже позволил себе возмутиться.

– Какой же я дипломат? Это нелепая ошибка! Никуда я не поеду!

С тем и пошёл домой. Через несколько месяцев история повторилась с тем же результатом.

«Где-то там в ихней громоздкой машине что-то заело! Почему это они меня так хотят произвести в дипломаты?» – недоумевал Николай Николаевич.

Уже потом он, понял, что всё произошло по причине знания языков, о чём он добросовестно писал в личном листке по учёту кадров. В третий раз Иванов был вызван к самому Георгию Максимилиановичу Маленкову, ведавшему партийными кадрами, – мужчине хотя и с бабьим лицом, но весьма серьёзному.

– Ступай на Кузнецкий и получай назначение. Чтобы я тебя больше здесь не видел!

В Наркоминделе, куда с запиской от Маленкова пришёл Иванов, соответствующий чиновник быстро выяснил, что вакансия, на которую его направляли, уже занята. С другой стороны, чиновник обязан был трудоустроить этого странного типа – ведь немыслимо же перед Маленковым обнажить наркоминдельский бардак! Времени на размышления было мало. Чиновник что-то накорябал на бумажке и довольно вежливо предложил Николаю Николаевичу идти в комнату №... Оказалось, что эта комната «приписана» к западноевропейскому отделу Наркоминдела. Тут же Иванов получил назначение... первым секретарём посольства в Париже (!) с предписанием незамедлительно туда выехать. Это было летом 1939 года.

Иванов даже не успел оглядеться на новом месте, как подобно грому среди ясного неба на экранах кинохроники мелькнула затянута в кожу спина Риббентропа, влезавшего в роскошную машину во Внуковском аэропорту. В кремлёвский адрес полился поток приветственных телеграмм, восхваляющих гениальнейшего и прозорливейшего Вождя Народов, уже который раз разрушающего козни империалистов и плутократов (самоновейшее немецкое словцо!).

Нашим послом во Франции был Суриц, как раз в это время болевший гриппом. (Верховодил в посольстве второй секретарь, который, как говорили знающие люди, был «номенклатурой» – но не Наркоминдела, а совсем другого наркомата, находящегося, правда, неподалёку. Кадровые дипломаты таких субъектов не уважали и боялись [36](#).) И тогда заправлявший всем и вся второй секретарь решил, что посольство как *советское учреждение* не может быть в стороне от стихийного изъяснения искренней благодарности Величайшему Дипломату Всех Времен и Народов. Телеграмма в традиционной терминологии была моментально составлена, Суриц даже не удосужился прочитать её. По глупости послание забыли зашифровать, и оно на следующий день было опубликовано во французской прессе. Разразился политический скандал. Французское правительство, расценившее советско-германский пакт как нож в спину прекрасной Марианне, объявило Сурица *persona non grata* и предложило ему выкатиться из Парижа в 24 часа. Так преподаватель политэкономии Иванов, как старший по дипломатическому званию (к этому времени он уже был утверждён в должности советника), стал исполнять обязанности посла СССР во Франции.

Такой зигзаг судьбы всё же не выбил Иванова из седла – он был человеком умным и с сильным характером, и к тому же коммунистом старого закала. В драматических условиях сразу же начавшейся «странной войны», а затем и оккупации фашистами Парижа ему пришлось мобилизовать всю свою волю и чувство долга, как он его понимал, чтобы с достоинством нести нелёгкую миссию советского посла. Невыносимо было, например, снабжая советскими паспортами оказавшихся в смертельной опасности интернированных испанских республиканцев (он спас таким образом жизнь многим сотням людей), сидеть в фашистских президиумах рядом с «союзником» – немецким комендантом Парижа генералом Штюльпнагелем [37](#). В эти страшные месяцы в здании нашего посольства нашли убежище видные антифашисты, в том числе Эренбург.

Иванов одним из первых предупреждал Москву о готовящемся Гитлером страшном ударе. Честнейший человек и подлинный патриот своей Родины, он в неимоверно тяжёлых условиях выполнял свой долг. Между тем второй секретарь вёл себя совершенно иначе. Он воспринял советско-германский пакт «на полном серьёзе» и служил его реализации верой и правдой. Общий язык с немецко-фашистской военной администрацией и гестапо наш доблестный чекист нашёл быстро. Не следует удивляться поэтому, что между первым и вторым секретарями нашего посольства возник острейший конфликт на принципиальной основе. Кончилось тем, что в декабре 1940 года Иванов внезапно был вызван в Москву.

По прибытии он тотчас же отправился в Наркоминдел. Молотов принял его весьма любезно.

– Я вижу, вы очень устали, товарищ Иванов, нервы, нервы. Да и с немцами, как говорят, не можете сработаться. Ну, ничего, отдохнёте тут, поправитесь. Отсыпайтесь, завтра увидимся!

Его арестовали той же ночью. Приговор был вынесен в *сентябре 1941 года*. Он получил пять лет (судило его ОСО) по обвинению... в антигерманской пропаганде! В эти дни немцы уже стояли у ворот Москвы. У меня нет слов, чтобы прокомментировать это. Оказавшись в заключении, он пользовался любой возможностью, чтобы «в письменном виде» требовать пересмотра нелепого приговора. Тщетно! Только спустя 5 лет, отсидев «от звонка до звонка», он вышел на волю, получив «минус». Устроился жить и работать в Иванове. Опять читал курс политэкономии, подправленный самоновейшими изысканиями Вождя в этой области.

В мае 1967 года я впервые побывал в Париже и был, как и все до меня, очарован великим городом. По каким-то копеечным делам мне и моему товарищу по командировке, а в прошлом – ученику, Юре Гальперину, пришлось побывать в нашем старом посольстве на рю Гренель. Довольно долго мы ожидали посольского чиновника, который должен был поставить печать на смету наших дополнительных расходов. И всё это время я физически, прямо до галлюцинаций, ощущал присутствие в этом старинном красивом здании несчастного Николая Николаевича. Как же ему тут было холодно и одиноко!

Мы вышли во внутренний дворик посольства, сели на скамейку около покрытого молодой зеленью вяза, и, распираемый разнообразными чувствами, я подробно рассказал Юре печальную историю товарища Иванова.

Всё время, пока я рассказывал, Юра молчал. Когда я закончил, он произнёс:

– А теперь, Иосиф Самойлович, я вам кое-что расскажу. Вы, конечно, знаете мою жену Наташу? Так вот, она дочь этого самого Иванова.

Больше он ничего не сказал. Милую и очень интеллигентную Наташу я отлично знал с давних пор... Да, пожалуй, не надо больше ничего спрашивать у Юры.

Тут, кстати, нам поставили печать, и мы пошли на рю де Бак к набережной Анатоля Франса, где находился наш отель.

Только много лет спустя я поговорил с Наташей о судьбе её отца. От неё я узнал, что после наступления эпохи «позднего реабилитанса» Николай Николаевич Иванов вернулся в Москву, вторично женился и даже как будто пошёл в гору – стал работать в редакции какого-то общественно-политического журнала. Умер он в 1965 году.

Вот такая история...

ЮРА ГАСТЕВ И ДЫХАНИЕ ЧЕЙН-СТОКСА

Юру Гастева я впервые увидел в Ашхабаде в самом конце 1941 года. Все мы приехали в этот экзотический город с эшелоном эвакуирующегося из столицы Московского университета. (Про этот незабываемый эшелон и его колоритных обитателей см. новеллу «Квантовая теория излучения».) Среди разношёрстной толпы пассажиров эшелона, преимущественно студентов,

Юра резко выделялся своей крайней молодостью. Ему было лет 14, а на вид и того меньше – он смотрелся как маленький, щуплый подросток. Конечно, Юра ещё не был студентом – в эвакуацию он отправился вместе со своим старшим братом Петей, второкурсником механико-математического факультета. Через несколько месяцев Петю мобилизовали в военное училище. Оттуда его очень быстро выпустили в звании младшего лейтенанта, затем фронт и скорая гибель... Заметим ещё, что братья Гастевы – сыновья Алексея Капитоновича Гастева – одного из первых пролетарских поэтов (группа «Кузница»), впоследствии видного общественного деятеля, основателя советской системы НОТ («Научная организация труда»). Как и многие выдающиеся деятели нашей страны, он погиб в соответствующем предвоенном году.

Таким образом, очень быстро Юра оказался в Ашхабаде фактически круглым сиротой – мать была в ссылке как жена врага народа. И, подобно тому как в войну наблюдался феномен, характеризуемый словами «сын полка», когда мальчишку-сироту кормила и воспитывала какая-нибудь войсковая часть, Юру с полным основанием можно было назвать «сыном мехмата», то есть механико-математического факультета Московского университета. Он действительно был «дитя мехмата», полностью заменившего ему семью. Юра органически впитал в себя мировоззрение, способ мышления, фольклор, любовь к музыке и многое другое, что всегда отличало питомцев этого благороднейшего из факультетов МГУ.

После Ашхабада я года два Юру не видел, так как уже в сентябре 1942 года перебрался в Свердловск, где находился в эвакуации мой родной Астрономический

институт им. Штернберга. Вернувшись в Москву и защитив весной 1944 года кандидатскую диссертацию, я в августе того же года был послан мехматом в Красновидово (это за Можайском), где находилось пригородное хозяйство МГУ, призванное, по идее, обогатить скудный рацион университетских столовок всякого рода овощами. В качестве рабочей силы туда посылали студентов. Меня же, свежее испечённого кандидата наук, отправили в Красновидово как «старшего товарища», в обязанность которому вменялось обеспечить должный уровень трудовой дисциплины. Я застал красновидовское хозяйство в чудовищно безобразном, запущенном состоянии. Все нивы и угодья заросли непроходимыми сорняками, поэтому ничего путного там произрасти не могло. Рабочая сила – в основном девчонки-студентки. Была ещё кучка мальчишек-белобилетников – не забудем, что шла война! Среди них я сразу же узнал мало изменившегося Юру, ставшего уже студентом. Естественно, мы очень обрадовались друг другу.

Первой проблемой, с которой мы столкнулись в Красновидове, был голод – самый настоящий, когда ни о чём другом, кроме еды, не можешь даже думать. Директриса хозяйства Бочарская – старый партийный работник (через несколько лет она стала замдиректора моего астрономического института) – была крикливая, толстая баба, многие годы занимавшая разного рода руководящие должности. Излишне говорить, что в сельскохозяйственном деле она разбиралась так же, как в астрономии. Благодаря её полной беспомощности мы фактически оказались на «подножном корму». Централизованное снабжение провиантом выражалось только в двух мисках овсяного киселя, одну мы получали

утром, другую – в середине дня. Я до сих пор не могу без содрогания вспоминать это чудовищное варево. Как мы ни были голодны (и молоды!), больше одной ложки этой мерзкой холодной массы съесть было невозможно. Впрочем, был среди нас один малый, который мог одолеть миску этой мерзости. До сих пор помню то сложное чувство, которое он в нас вызывал...

Надо было срочно что-то предпринимать. И под моим чутким руководством единственно возможное решение было найдено. Это была молодая картошка! Увы, на университетских красновидовских нивах не было даже намёка на этот корнеплод. Немногим лучше было положение на соседних совхозных, а равно и колхозных полях – всюду буйно росли одни сорняки. Оставалось одно – воровать картошку в индивидуальном секторе. Занятие это, отвлекаясь от моральной стороны вопроса, было делом далеко не безопасным – ведь картошка была тогда основой питания! Глухой ночью наша небольшая мужская группа выходила на опасный промысел. Одного ставили «на стрёме». Три-четыре участника группы, в том числе Юра и я, занимались непосредственно изъятием этого бесценного продукта. В частности, автор этих строк наловчился рыть картошку сразу двумя руками, следуя методу хрестоматийно-знаменитой Мамлакат. Как руководящий товарищ, я следил, чтобы ущерб, причиняемый каждому индивидуальному владельцу, был минимальный, для чего приходилось часто менять поле (в буквальном смысле слова!) нашей деятельности – обстоятельство, временами вызывающее ропот команды...

Добытой таким образом с немалым риском картошкой мы кормили наш бедный, голодный народ, и прежде всего его основную часть – девиц. Это

обстоятельство наполняло наши сердца гордостью и имело одно смешное последствие. Дело в том, что ночевали мы на полу на верхнем этаже какого-то строения, причём девицы занимали большую комнату, а молодые люди – примыкающую к ней маленькую переднюю, так что наша комнатка была проходной. И каждое утро начиналась забава. Робкий стук в дверь, и девичий голосок пищит:

– Ребята, можно пройти?

На эту естественную просьбу следовала традиционная Юрина фраза:

– А кто мы есть?

Ритуал, придуманный изобретательным Юрой, требовал, чтобы девушки дружным хором отвечали: «Вы есть наши истинные благодетели!» – имея в виду, что мы их кормим. Девичья гордость, однако, не позволяла нашим милым соседкам произнести эту фразу.

– Ну, хватит, перестаньте наконец хулиганить, прекратите это безобразие!

– Пожалуйста, – отвечали мы.

Но девицы отнюдь не спешили выходить из своего заточения, ибо мы лежали на полу, ничем не прикрытые, так сказать, «в натуральном виде». Иногда какая-нибудь отчаянная деваха, зажмурив глаза, шла «на прорыв», но из таких попыток ничего, кроме срама, не выходило. Наконец после 10-минутных пререканий девицы недружным хором верещали требуемую фразу. Часто мы заставляли их эту фразу повторять – чтобы было убедительнее. После этого мы закрывались нашими рваными одеялами, а девушки, потупив пылающие ненавистью глаза, гуськом проходили, переступая через

наши тела. И так повторялось каждое утро. Я должен здесь, во избежание недоразумения, сказать, что эта забава была вполне невинной, и между мальчиками и девочками были самые лучшие товарищеские отношения.

Спустя лет 20 какая-то солидная дама в малознакомой компании (я отдыхал тогда на Кавказском побережье Чёрного моря) вдруг ошарашила меня замечанием:

– А я знаю, кто вы есть – вы есть наш истинный благодетель!

Но вернёмся в Красновидово августа 1944 года. Нашей директрисе пришла в голову смелая мысль: организовать из мальчишек специальную «мужбригаду», поручив ей соответствующую «мужработу» – рыть какой-то котлован. И началась потеха. С утра мы приходили к этому несчастному котловану и полных 8 часов предавались *абсолютному* безделью, которое скоро у наших девушек стало называться «мужработой». Бедняжки, конечно, нам завидовали, так как, согнувшись в три погибели, занимались весь рабочий день вариантом сизифова труда: пытались выколоть сорняки, которые разрастались быстрее, чем их выкорчёвывали.

В процессе «мужработы» мы искали и находили развлечения, и тут всех поражал Юра. Не говоря уже о том, что он был чемпионом по знанию вскоре ставших крамольными, а в наши дни – классических двух книг Ильфа и Петрова (мог, например, с любого места на память пересказать без единой ошибки несколько страниц или, скажем, точно сказать, кто была «ничья бабушка»). Юра обладал феноменальной способностью слово в слово повторить вчерашнюю утреннюю сводку Совинформбюро. А это было совсем не просто:

ежедневно наши войска отбивали у фашистов по многу десятков населённых пунктов с непривычными белорусскими названиями: Дедовичи, Белокопытовичи и т. д.

До сих пор я с нежностью вспоминаю три недели, которые провёл тогда с этими славными ребятами в Красновидове. Можно ли, например, забыть, как, будучи по какому-то делу в Москве и узнав, что союзники взяли Париж, я тут же поехал в Можайск и 18 километров почти бежал до Красновидова, чтобы сообщить ребятам радостную новость. Ведь ни радио, ни свежих газет там не было. Я и сейчас изредка встречаю сильно постаревших мальчиков того незабываемого лета – последнего лета страшной войны.

В Москве я с Юрой не встречался – слишком разные у нас были интересы, да и разница в возрасте – 11 лет! – казалась тогда колоссальной. Примерно через год после весёлой красновидовской жизни я узнал о Юриной печальной судьбе. Это случилось в зимнюю экзаменационную сессию в феврале 1945 года. Надо сказать, что в те времена факультеты механико-математический и исторический находились в так называемом «новом» здании (Моховая, 11), причём математики занимали верхний этаж. Представьте себе картину: только что успешно сдавший экзамен Юра винтом скатывается по перилам лестницы, держа под мышкой руководство, по которому он сдавал аналитическую геометрию. Внизу стоит кучка историков, тоже сдавших свои экзамены. Один из них хватается спустившегося по лестнице Юру, с корпоративным презрением выхватывает у него учебник и, издевательски читая его заголовок, произносит:

– Подумаешь, Мусхелишвили!

И тогда Юра совершенно таким же движением выхватывает у историка его учебник, смотрит на его заглавие и в тон говорит:

– Подумаешь, Джугашвили! (это был «Краткий курс»)

Что и говорить, Юра за словом в карман не полезет... Однако в этом случае остроумие обошлось ему дорого: кто-то из кучки историков «настучал», Юру арестовали и дали 4 года лагерей. Возможно, ему припомнили и другие грехи, но первопричиной ареста была коллизия «Мусхелишвили – Джугашвили».

Он вернулся из заключения в весьма нетривиальное время – в 1949-м, но и тогда мы с ним не встретились. А когда встретились, Юра поведал мне любопытную историю. [В изложении самого Гастева, а не в пересказе Шкловского эту историю можно прочитать [здесь](#). – Е.Г.А.] В начале 1953 года он лечился в туберкулёзном санатории где-то в Эстонии.

Как раз в это время заболел своей последней болезнью Лучший Друг Математиков Иосиф Виссарионович Джугашвили. Вся страна, весь мир ловили дорогие бюллетени о ходе болезни Вождя. Юра, естественно, не составлял исключения. Он спросил у своего соседа по палате – мрачного и неразговорчивого врача-эстонца, – что означают слова в последнем бюллетене: «... дыхание Чейн-Стокса».

Врач потёр руки и деловито сказал:

– Чейн и Стокс – очень серьёзные товарищи. Надо выпить!

Несмотря на поздний час, Юра (он и там был самым молодым) был послан за водкой. Всё было закрыто, но, услышав такую сногшибательную новость, какой-то совершенно незнакомый эстонец водку дал.

И вот с тех пор каждый год в день 5 марта Юра пьёт за здоровье этих замечательных британцев. Однако уважение к последним не ограничивается только мемориальными выпивками. Например, около 1970 года, защищая диссертацию на степень кандидата философских (?) наук, он в заключительном слове, где полагается только «кланяться и благодарить», выразил свою глубокую признательность, выдающимся британским учёным Джеймсу Чейну и Джонатану Стоксу, «без косвенной помощи которых эта диссертация вряд ли могла быть защищена». Имена маститых британских учёных Юра взял, конечно, с потолка. Защита прошла вполне благополучно – никто из эрудированных философов, членов Совета, ни хрена не понял.

Уважение к британцам достигло предела, когда в 1975 году Юра написал в высшей степени сложную и узкоспециальную, чисто математическую монографию «Гомоморфизмы и модели: логико-алгебраические аспекты моделирования». В предисловии к своему капитальному сочинению, выражая благодарность большому количеству коллег, вдохновивших автора на этот труд, он не забыл выразить особую признательность профессорам Чейну и Стоксу, без помощи которых эта книга вряд ли увидела бы свет. И он опять-таки был абсолютно прав! Очень многие деятели науки и культуры нашей страны могут только присоединиться к Юриной благодарности. Почему-то, однако, они этого не сделали...

Монография Юрия Алексеевича Гастева снабжена весьма подробной библиографией (всего 232 ссылки). Меня восхищает ссылка

55. J. Cheyne and J. Stokes. «The breath of the death marks the rebirth of spirit». *2 Mind*, March 1953.

Полагаю, однако, что это уже перебор: пожалуй, было бы достаточно почтительной благодарности английским медикам, выраженной автором в предисловии. Так или иначе, вскоре после выхода монографии в свет разразился грандиозный скандал, что возымело самые серьёзные последствия как для автора, так и для некоторых работников редакции, допустивших возмутительную халатность. Сакое замечательное в этой истории то, что реверансы перед британскими медиками опять *остались незамеченными!* Юра погорел на том, что ссылался в этой работе на вполне реальные труды своих неблагонадёжных друзей-математиков, прежде всего на знаменитого Алика Вольпина-Есенина.

С тех пор большой шутник Юрий Алексеевич Гастев вот уже много лет не имеет постоянной работы и пробавляется ничтожными случайными заработками. А всё потому, что своевременно не понял: ничего нового о т. н. «культе личности» он сказать не может, поскольку шутки шутками, а Партия на этот счёт в своё время дала совершенно исчерпывающие разъяснения.

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Каждый раз, когда я из дома еду в издательство «Наука», точнее, в астрономическую редакцию этого издательства, и водитель троллейбуса № 33 объявляет, не всегда, правда: «Улица академика Петровского» (остановка, на которой я должен выходить), мне делается грустно. Я очень многим обязан человеку, чьим именем назван бывший Выставочный переулок. Иван Георгиевич Петровский восстановил меня на работе, когда я был выгнан из родного института (см. новеллу «Юбилейные арабески»). Двумя годами позже он своей властью прямо из директорского фонда дал мне неслыханно роскошную трёхкомнатную квартиру в 14-этажном доме МГУ, что на Ломоносовском проспекте. До этого я с семьей 19 лет ютился в одной комнате останкинского барака. А сколько раз он спасал меня от произвола злобного бюрократа Дямки (см. ту же новеллу)! Мне удалось создать весьма жизнеспособный отдел и укомплектовать его талантливой молодёжью исключительно благодаря самоотверженной помощи Ивана Георгиевича, постоянно преодолевавшего тупое сопротивление косного директора. Моим бездомным молодым сотрудникам он предоставлял жильё. И потом, когда началась «космическая эра», сколько раз он помогал нам! У него было *абсолютное чутьё* (как у музыкантов бывает абсолютный слух) на *настоящую науку*, даже если она находилась в эмбриональном состоянии.

22 года Иван Георгиевич руководил самым крупным университетом страны. У него ничего не было более

близкого, чем университет, бывший ему родным домом и родной семьёй. Ради него он забросил даже любимую математику. Вместе с тем Иван Георгиевич, человек высочайшей порядочности и чести, никогда не был полным хозяином в этом своём доме. Могущественные «удельные князья» на факультетах гнули свою линию, и очень часто И.Г. ничего тут не мог поделать. Я уж не говорю о тотальной «генеральной линии», изменить направление которой было просто невозможно. Он всегда повторял: «Поймите, моя власть далеко не безгранична!». Он никогда не давал обещаний на ветер. Но если говорил: «Попробую что-нибудь для вас сделать», можно было не сомневаться, что всё, что в человеческих силах, будет им сделано.

Дико и странно, но некоторые из моих знакомых и друзей, людей в высокой степени интеллигентных, по меньшей мере скептически относились к благородной деятельности Ивана Георгиевича. Никогда не забуду, например, разговор с умным и радикально мыслящим человеком, талантливым физиком Габриэлем Семёновичем Гореликом (жизнь его трагически оборвалась на рельсах станции Долгопрудная). В ответ на мои дифирамбы в адрес ректора он резко заметил:

– Ваш Петровский – это прекрасодушный администратор публичного дома, который искренне верит, что вверенное его попечению вышеозначенное заведение – это невинный аттракцион с переодеваниями.

Я решительно протестовал против такого кощунственного сравнения, но переубедить Г.С. не мог. Такова уж максималистская природа отечественных радикалов! Я до сих пор не могу простить Андрею Дмитриевичу Сахарову, что он во время своего

последнего визита к Ивану Георгиевичу (в связи с незаконным отчислением его падчерицы, студентки 6-го курса) резко выговаривал бедному ректору, который в той ситуации помочь был не в силах... Через несколько часов, получив добавочную порцию унижительных оскорблений, но уже с противоположного фланга – от отечественных идеологов, – Иван Георгиевич скончался прямо в помещении Министерства высшего образования... Удивительно (и об этом писать тяжело), что А.Д. даже через несколько месяцев после этого случая не чувствовал своей вины перед Иваном Георгиевичем, о чём он мне сам говорил, когда обстоятельства свели нас в больнице Академии наук.

Судьба ректора Московского университета академика Ивана Георгиевича Петровского была глубоко трагична. Это ведь древний сюжет – хороший человек на трудном месте в тяжёлые времена! Надо понять, как ему было тяжело. Я был свидетелем многих десятков добрых дел, сделанных этим замечательным человеком. Отсюда, будучи достаточно хорошо знакомым со статистикой, я с полной ответственностью могу утверждать, что количество добрых дел, сделанных им за всё время пребывания на посту ректора, должно быть порядка 10^4 . Много ли у нас найдётся людей с таким жизненным итогом? Поэт Куняев написал такие «гуманные» строчки: «...Добро должно быть с кулаками...» Это ложь! Добро должно быть прежде всего *конкретно*. Нет ничего хуже «безваттной», абстрактной доброты. Эту простую истину следовало бы усвоить нашим радикалам. И было бы справедливо, если бы на надгробии Ивана Георгиевича, что на Новодевичьем, была высечена простая надпись: «Здесь покоится человек, совершивший 10 000 добрых

поступков». [Об одном из таких дел можно прочитать в [рассказе](#) В. М. Тихомирова о Петровском. – *Е.Г.А.*]

Ему было очень трудно жить и совершать эти добрые поступки в Московском университете. В этой связи я никогда не забуду полного драматизма разговора, который был у меня с ним в его ректорском кабинете на Ленинских горах. Этот небольшой кабинет украшала (да и сейчас украшает, радуя глаз преемника Ивана Георгиевича) великолепная картина Нестерова «Павлов в Колтушах», на которой великий физиолог изображен в момент разминки за своим письменным столом, с вытянутыми руками. В этот раз у меня к И.Г. (я делал такие визиты к нему очень редко) было хотя и важное для моего отдела, но простое для него дело, которое он быстро уладил в самом благоприятном для нас смысле. Аудиенция длилась не более трёх минут, и я, после того как всё было решено, собрался было уходить, но Иван Георгиевич попросил меня задержаться и стал оживленно расспрашивать о новостях астрономии и обо всяких житейских мелочах. Я понял, что причина такого его поведения была в данном случае более существенна, чем неизменно доброжелательное отношение к моей персоне: в очереди на приём к ректору сидела группа малосимпатичных личностей, пришедших на приём по какому-то, очевидно, неприятному для Ивана Георгиевича делу. Последний отнюдь не торопился принять их и лёгким разговором со мной просто устроил себе небольшой тайм-аут.

Наша беседа носила непринуждённый характер. Поэтому или по какой-либо другой причине нелёгкая меня дёрнула сделать Ивану Георгиевичу такое заявление:

– Я часто бываю в вестибюле главного здания университета и люблю галерею портретов великих деятелей науки, украшающей этот вестибюль. Кого там только нет! Я, например, кое-кого просто не знаю – скажем, каких-то весьма почтенного вида двух китайских старцев – по-видимому, весьма известных лишь специалистам. Тем более я был удивлён, не найдя в этой галерее одного довольно крупного учёного.

– Этого не может быть! – решительно сказал ректор. – Во время строительства университета работала специальная авторитетнейшая комиссия по отбору учёных, чьи портреты должны были украсить галерею. И потом – учтите это, Иосиф Самуилович! – в самом выборе всегда присутствует немалая доля субъективизма: одному эксперту, например, великим учёным представляется X., а вот другому – Y. Но, конечно, крупнейших учёных такой субъективизм не касается. Боюсь, что обнаруженную вами лакуну в галерее не следует заполнять вашим кандидатом. Кстати, кто это?

– Альберт Эйнштейн.

Воцарилось, как пишут в таких случаях, неловкое молчание. И тогда я разыграл с любимым ректором трёхходовую комбинацию.

Сперва я бросил ему «верёвку спасения», спокойно сказав:

– По-видимому, комиссия руководствовалась вполне солидным принципом – отбирать для портретов только *покойных* учёных. Эйнштейн умер в 1955 году, а главное здание университета было закончено двумя годами раньше, в 1953-м.

– Вот именно, как это я раньше не сообразил – ведь он тогда был ещё жив.

Я сделал второй ход:

– Конечно, перестраивать уже существующую галерею невозможно, это было бы опасным прецедентом. Но ведь можно установить бюст Эйнштейна на физическом факультете. Право же, Эйнштейну это не прибавит славы, к которой он был так равнодушен. А вот для факультета это было бы бесполезно.

– Ах, Иосиф Самуилович, – заметно поскуцнев, ответил Иван Георгиевич, – вы даже не представляете, какие деньги заламывают художники и скульпторы на выполнение таких заказов. Это тогда, на рубеже 50-го года, на нас сыпался золотой дождь. Сейчас даже представить себе трудно, сколько мы выплатили мастерам кисти и резца за оформление университета, в том числе и этой галереи. Увы, теперь другие времена. У нас просто нет денег на такой заказ...

И тогда я сделал свой третий, как мне казалось, «матовый» ход!

– Я знаю – у меня ведь брат скульптор, – что у Коненкова в мастерской хранится бюст Эйнштейна, вылепленный им с натуры ещё во время его жизни в Америке. Я думаю, что если ректор Московского университета попросит престарелого скульптора подарить этот бюст, Коненков, человек высокой порядочности, с радостью согласится.

Петровский поднялся со своего кресла, явно давая понять, что аудиенция окончена. Было ясно, что сейчас он предпочитает принять сидящую в предбаннике малопривлекательную группу склочников, чем продолжать

беседу со мной. Молча проводил он меня до двери своего кабинета и только тогда, в характерной своей манере пожимая мне руку, хмуро сказал:

– Ничего не выйдет. Слишком много на физфаке сволочей... 38

...Сойдя на троллейбусной остановке «Улица академика Петровского», я поднимаюсь на второй этаж старого дома (Ленинский проспект, 15), где ютится в жалкой комнатухе астрономическая редакция издательства «Наука». На лестничной клетке старые часы вот уже 30 лет показывают четверть пятого. Всю эту короткую дорогу я продолжаю думать о судьбе замечательного человека – моего ректора. Книгу «Звёзды, их рождение, жизнь и смерть», которая вышла в этом издательстве, я посвятил светлой памяти Ивана Георгиевича Петровского. Что я могу ещё для него сделать?

ПОИСКИ ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Дело происходило в первый октябрьский денёк 1961 года. Мы – пара десятков завсегдааев памятного кабинета Келдыша в здании Института прикладной математики, что на Миусской площади, – собрались в очередной раз для обсуждения какого-то космического проекта. За четыре года до этого был запущен первый советский спутник, и энтузиазм, вызванный этим памятным событием, не остывал. Тогда наши космические дела были на крутом подъёме. Только что мир стал свидетелем феерического полёта Гагарина.

Позади был восторг, вызванный зрелищем обратной стороны Луны. Неизгладимое впечатление произвёл наш первый успешный полёт к Венере. Постоянно во мне жило ощущение, что я участник грандиозных по своей значимости исторических событий. Гордость и восторг переполняли меня. И хотя я уже перевалил за сорокалетний рубеж, чувствовал себя как впервые полюбивший юноша. И такое состояние длилось свыше пяти лет.

Вместе со своими молодыми сотрудниками, вопреки злой воле моего косного институтского начальства, я с головой окунулся в новое увлекательное дело. В критические моменты меня неизменно поддерживал ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский – умница и прекрасный человек. Для наблюдения межпланетных станций я предложил довольно простой, но весьма эффектный метод «искусственной кометы». Суть метода состояла в испарении на борту спутника небольшого количества (порядка двух-трёх килограммов) натрия. Образующееся облако будет очень интенсивно рассеивать жёлтые лучи Солнца (это явление известно как «резонансная флюоресценция»). Вот это яркое облачко и должно наблюдаться наземными оптическими средствами. Следует заметить, что в те далёкие годы подходящих радиосредств для достаточно точных наблюдений спутников у нас не было, и космическое руководство – в первую очередь Сергей Павлович Королёв – решительно поддержало моё предложение.

Я настолько был увлечён реализацией этого проекта, что частенько оставлял мою смертельно больную мать одну в жалкой комнатёнке с глухонемыми соседями – до конца дней своих не прощу себе этого. Решающее испытание «искусственной кометы» было

проведено на знаменитом полигоне «Капустин Яр» («Кап-Яр»). Глубокой ночью была запущена ракета «пятёрка». Было по-осеннему холодно. Я и мои ребята стояли примерно в километре от стартовой площадки. Теперь, конечно, никого не удивить зрелищем старта ракеты – слава богу, с некоторых пор это стали показывать по телевизору. Но тогда, да ещё в непосредственной близости, да ещё с сознанием большой ответственности (ведь пуск осуществлялся специально для нашей «кометы»), это было незабываемым событием. Прошло несколько минут после старта. Уже погасло адское пламя, хлещущее из ракетных дюз. Уже сама ракета превратилась в еле видимую слабую световую точку – а на агатово-чёрном небе решительно ничего не происходило! Время как бы остановилось. Светящаяся точка – ракета – перестала быть видимой. Неужели катастрофическая неудача? И вдруг, прямо в зените, блеснула яркая искра. А потом по небу, как чернила на скатерти, стало расползаться ослепительно красивое, ярчайшее пятно апельсинового цвета. Оно расплывалось медленно, и через полчаса его протяжённость достигла 20 градусов. И только потом оно стало постепенно гаснуть... Эффективность предложенного метода была продемонстрирована с полной наглядностью. Вскоре «комета» отлично сработала в «боевой обстановке» на нашей лунной ракете, на полпути между Землёй и Луной. Увы, этот метод не получил в дальнейшем должного развития. Правда, мой молодой сотрудник Дима Курт, сделав серию фотографий, через несколько месяцев защитил кандидатскую диссертацию: по скорости диффузии атомов натрия удалось очень уверенно определить плотность земной атмосферы на высоте

500 км. Помню, как в разгар этой цветовой феерии я сказал Диме:

– Полюбуйтесь, как сияет на небе ваша диссертация.

Я потом предложил развить метод «искусственной кометы» – использовать в качестве «рабочего вещества» вместо натрия литий. Такой же оптический эффект можно было получить, испаряя в десятки раз меньше вещества. А цвет литиевой «кометы» должен был быть багрово-красный. Космические корабли стали бы похожи на трассирующие пули! Ничего из этого не вышло – никто этим серьёзно не заинтересовался. Тогда же я предложил в качестве рабочего «вещества» стронций и барий, подчеркнув богатые возможности этого метода для исследования земной магнитосферы. Через много лет западные немцы весьма успешно осуществили эти эксперименты.

Вернёмся, однако, к тому октябрьскому дню 1961 года, когда на очередном сборе космических деятелей Келдыш с несвойственным ему пафосом обратился к нам со следующей речью:

– В будущем году исполнится пять лет со дня запуска первого советского спутника. Эту замечательную дату надо отметить должным образом. В частности, нужно подготовить несколько монографий, отображающих всемирно-историческое значение этого события.

И тут мне в голову пришла хорошая идея. Я поднялся и сказал, что за оставшееся до срока время (рукописи надо было сдать к июлю будущего, 1962 года) я смогу написать уже начатую (?) мною монографию, посвящённую весьма необычному сюжету: о возможности

существования разумной жизни во Вселенной. Келдыш мою инициативу тут же одобрил.

Мой расчёт был точен. Я был уверен, что никто из моих коллег в столь сжатые сроки не то что монографии – приличной статьи не напишет. Не тот это был народ. Да и заняты были очень «космической суетой». Не оглянешься, как пролетят эти месяцы, а редакционный портфель будет пустой. И только моя рукопись будет представлена в срок. А юбилей никуда не перенесёшь – 4 октября 1962 года как раз и исполняется пять лет! В такой авральной обстановке моей рукописи будет дана зелёная улица, и я миную объятия Главлита. Тем более что по космической тематике был создан свой Главлит, где сидел знакомый и далеко не глупый человек по фамилии Кроткий. Между тем у меня были серьёзные основания избегать близких контактов с Главлитом. В будущей книге мне нужно было раздолбать пресловутую теорию Опарина – верного единомышленника Лысенко, а последний был тогда всё ещё в большом фаворе. Кроме того, я решил предаться далеко не безопасным футурологическим изысканиям, что могло меня занести «не в ту степь». И вообще я решил написать книгу «свободно и раскованно».

Началась лихорадочная работа. Следует сказать, что впервые я пришёл к мысли написать такую книгу, загорая на пляже в Симеизе, о чём тут же и объявил своим молодым сотрудникам, в августе 1960 года. Я находился тогда под сильным впечатлением опубликованной годом раньше знаменитой статьи Кокони и Моррисона, где обосновывалась возможность радиосвязи на межзвёздные расстояния. Книга была задумана очень широко, далеко выходящей за рамки чисто астрономические. Особенно тяжело было мне писать

молекулярно-биологические главы. Не забудем, что времена были ещё лысенковские, молекулярной биологией занимались полуполюгально, настоящих руководств по этому далеко не простому предмету на русском языке практически не было. С футурологическим аспектом книги дело обстояло значительно проще: выручала врождённая склонность к фантазиям. В дело пошли даже мои пресловутые «искусственные спутники Марса», наделавшие так много шума в 1959 году. Да, тогда я неплохо порезвился – мне надо было отвлечься от тяжёлой душевной депрессии, вызванной смертью матери. Вместе с тем «искусственные спутники Марса» были не только шуткой – я серьёзно задумывался над фантастическими возможностями разумной жизни во Вселенной.

Я не мог всё время посвятить работе над книгой – слишком много было других обязанностей. Работал урывками – делал «большие выходы», обычно дня на 3-4. Запомнилось, как в начале июня (самое любимое моё время года) я забрался на дачу брата в Вельяминове с целью написать молекулярно-биологическую, очень трудную для меня главу. Погода сыграла со мной злую шутку. Температура упала почти до нуля, изредка шёл снежок, а чаще – ледяной дождь с ветром. Я забрался на кухню – единственное отапливавшееся помещение – и, законопатившись там, героически пытался писать. От холода сводило руки, а писать надо было вдохновенно – иначе это было бы всё напрасной затеей. Четыре дня терпел эту пытку – кое-как написал главу (потом всё пришлось переделать!) и убежал с дачи.

Наконец труд был закончен – где-то в самом начале августа. Оставались мелочи: название книги и оформление суперобложки. Последний вопрос решился

быстро. В кабинете Келдыша на Миусах, где проходили все наши космические бдения, висела картина малоизвестного художника Соколова, изображавшая некий фантастический космический пейзаж. Мне она всегда нравилась, а главное – напоминала о месте, где была «заявлена» книга. Из этой картины действительно получилась прекрасная суперобложка. А вот с названием книги пришлось изрядно помучиться. Выбрал в конце концов самое простое: «Вселенная, Жизнь, Разум». Может быть, где-то в подкорке мозга осело название жутко учёной книги Германа Вейля «Пространство, Время, Материя». Но это я потом уже доискался. А тогда я просто вздохнул с облегчением.

Были ещё проблемы. Надо было оснастить главы книги стихотворными эпиграфами. К общеастрономической главе хороший эпиграф дал мне знакомый литературный критик Бен Сарнов: «И страшным, страшным креном к другим каким-нибудь неведомым Вселенным повернут Млечный путь» (это из Пастернака). Сложнее получилось с эпиграфом к футурологической главе, где я предавался мечтам в духе модернизированного Циолковского. Незадолго до этого я получил письмо от своего ныне покойного старого друга, товарища по Дальневосточному университету С. Д. Соловьёва. Между прочим, в этом письме были такие строки: «...На днях перечитал новые стихи Асеева. К старости он стал писать лучше. Вот почитай слегка подправленные мною строфы:

А любопытно, чёрт возьми,
Что будет после нас с людьми —
Ведь вот ведь дело в чём!

Какие платья будут шить?

Кому в ладоши будут бить!

К каким планетам плыть?..»

Но ведь это и есть тот самый эпиграф, который мне так нужен! И только в корректуре я вспомнил приписку Соловьёва насчёт «слегка подправленных строк». Значит, эти понравившиеся мне строчки – не подлинный Асеев? Может получится скандал! Тем более, как я узнал, у маститого поэта был довольно скандальный характер. С большим трудом нашёл книжку Асеева, где напечатаны эти строки. Худшие мои подозрения оправдались: у Асеева после «Кому в ладоши будут бить?» стояло звукоподражание «тим-там, там-там, тим-там!». А ведь весь смысл был для меня в соловьёвской строчке «К каким планетам плыть?». Пришлось выбросить эту концовку и обрубить строки на «ладошках», в которые «будут бить» наши потомки. Но зато в следующих изданиях, уже после смерти Асеева, я концовку Соловьёва восстановил... Да простят меня ревнители неприкосновенности поэтического замысла и священности авторского права. Но чем я хуже всякого рода режиссёров и инсценировщиков, бессовестно кромсающих авторский текст и замысел классиков?

Мой расчёт оказался точным. Холодным декабрьским деньком 1962 года я вместе с моей сотрудницей Надей Слепцовой получил в издательстве свои 25 авторских экземпляров и испытал редкое ощущение счастья. Книга вышла, фактически минуя Главлит. Шум поднялся довольно большой. Прямо-таки визжал от негодования Опарин. Я ему послал очень вежливое письмо – оно вернулось в конверте, будучи

разорванным на мелкие части! А ещё говорят, что нынешней науке не хватает страстности! А в общем, ничего страшного не случилось. Книга разошлась за несколько часов, хотя тираж был немалый – 50 000 экземпляров! Она выдержала пять изданий и переводилась на многие иностранные языки. Я особенно горжусь, что книга вышла в издании для слепых – шрифтом Брайля! Четыре толстенных тома, сделанные на бумаге, похожей на картон, производят странное впечатление.

Любопытна история американского перевода, который взялся реализовать тогда молодой и малоизвестный, а ныне очень знаменитый планетовед Карл Саган, работающий в Корнельском университете. По образованию он биолог, поэтому я попросил его в американском издании сделать, по его желанию, добавления, ибо, как я уже писал, биология – не моя стихия. Саган понял мою просьбу весьма «расширительно», и по прошествии довольно долгого времени, уже в 1966 году, я получил роскошно изданный толстенный том, озаглавленный «Intelligent Life in the Universe». Объём моей книги удвоился, зато на обложке были золотом вытиснены имена двух авторов: Шкловский и Саган. Надо сказать, что некую честность Карлуша всё-таки проявил: он оставил неизменным мой текст, выделив свой особыми звёздочками. Часто это приводило к смешным недоразумениям. Например, я пишу: «... согласно философии диалектического материализма...» И сразу же после этого абзаца отмеченный звёздочками текст Сагана: «Однако позитивистская философия Канта учит...» Совсем как в гофмановских «записках Кота Мура»! Я скоро понял, какую неоценимую услугу оказал мне американский

«соавтор», выделив свой текст звёздочками. Иначе ни за что бы мне не отмыться от наших очень бдительных «освобождённых читателей»... В Америке и вообще на Западе, «книга двух авторов» имела шумный успех, вышло даже массовое издание в мягкой обложке. Когда в самом начале 1967 года я впервые оказался в Нью-Йорке, то подобно всякому нормальному советскому человеку, оказавшемуся за рубежом, превратился в скрягу, экономящего из своих нищенских командировочных каждый цент. И тут я заметил, что мои американские коллеги с крайним недоумением, наблюдают, как на каждом шагу я отказываю себе в самом необходимом, даже в кружке пива. Наконец один из них не выдержал и прямо сказал мне:

– Простите, мы с большим удивлением наблюдаем ваше странное поведение. Ведь вы же очень богатый человек!

– То есть как – богатый? – удивился я.

– Как же, ваша с Саганом книжка вышла в мягкой обложке. Это же много десятков тысяч долларов!

Увы, мы тогда ещё не подписали конвенцию об охране авторских прав... Саган с чисто американской деловитостью сделал хорошую рекламу «советско-американской книге». Она послужила для него трамплином стремительной «науч-поп» карьеры, апофеозом которой был его недавний 13-серийный «космический» фильм. Сейчас он миллионер и очень прогрессивен – активно борется против угрозы ядерного пожара и в этом плане собирается снять какой-то острый фильм. В спектре деятелей по проблеме внеземных цивилизаций Саган стоит на крайнем розово-оптимистическом фланге. Никаких претензий к

этому деловому, весёлому и вполне симпатичному американцу я не имею, скорее наоборот, по моей просьбе он здорово помог в Париже моему брату во время его болезни.

Выход в свет моей книги взбудоражил умы отечественных молодых астрономов. Особенно энергично и творчески самостоятельно работал Коля Кардашев. Его стиль – безудержный оптимизм с элементами фанатизма.

Этот стиль я довольно ядовито (и, думаю, верно) окрестил как «подростковый оптимизм». Он, в частности, характеризуется верой в неограниченный прогресс человеческого общества и гипертрофией радиотехнического аспекта проблемы. Одновременно игнорируется гуманитарный её аспект, что, по-моему, недопустимо. Да и биологический аспект, по существу, игнорируется. Короче говоря, я с самого начала был глубоко убеждён, что проблема внеземных цивилизаций, по существу, по-настоящему (а не на словах, как это часто у нас бывает) – проблема *комплексная*.

Приблизительно в это время Коля опубликовал работу, в которой содержалась его знаменитая классификация космических цивилизаций по уровню технологического развития, характеризуемому величиной перерабатываемых энергетических ресурсов. Высшая форма цивилизации – использование ресурсов всей звёздной системы, преобразованной силой разума. Это – цивилизация III типа. Очень скоро был найден на небе подходящий «кандидат» на такую суперцивилизацию. Это был явно внегалактический источник радиоизлучения СТА-102, у которого сотрудник моего отдела Гена Шоломицкий обнаружил переменность. Шум поднялся большой. Никогда не забуду

пресс-конференцию в ГАИШе, посвящённую столь выдающемуся открытию. Весь двор института был забит роскошными заграничными машинами: прибыло сотни полторы аккредитованных в Москве ведущих корреспондентов. Я представлял консервативно-скептическое начало. Шоломицкий был крайне сдержан. Директор института Дмитрий Яковлевич Мартынов (см. новеллу «Юбилейные арабески») купался в лучах славы – вернее, прожекторов съёмочных групп. Очень скоро, впрочем, стало ясно, что СТА-102 – обыкновенный квазар с довольно большим (хотя и не рекордным) красным смещением. В начале 1963 года у Коли Кардашева возникла идея созвать у нас Всесоюзную конференцию по проблеме внеземных цивилизаций. Коля вообще всегда был переполнен «глобальными» замыслами. Удивительнее всего то, что он эти замыслы почти всегда реализовывал (примеры: установка нашего гигантского радиотелескопа РАТАН-600, почти 6-метрового оптического телескопа, реализация и пуск первого космического радиотелескопа, запуск специализированного спутника для изучения «реликтового» излучения Вселенной и кое-что ещё). Следует подчеркнуть, что реализация всех этих проектов в наших условиях всегда требовала невероятных усилий и настойчивости, чтобы не сказать больше. Помимо исключительных природных способностей, высокой принципиальности и твёрдого, независимого характера, ему ещё в немалой степени присущ элемент везучести (см. новеллу «О везучести»).

По двум пунктам у меня с Колей была сразу же достигнута полная договорённость: а) никакой прессы, иначе вместо конференции будет балаган, б) место конференции – Бюракан. Именно там, на фоне древних

камней Армении, свидетелей ушедших цивилизаций, на виду у ослепительной красоты снежной вершины Арарата, надо было провести столь необычную конференцию.

Подготовка к созыву Бюраканской конференции отняла немало времени и сил. Прежде всего надо было договориться с хозяином Бюраканской обсерватории Амбарцумяном, для чего пришлось ловить этого нелегко уловимого человека в самых неожиданных местах. Помню, как мы с Колей ходили к нему в санаторий ЦК в Нижнюю Ореанду, что на Южном берегу Крыма. Самый решительный разговор, однако, произошёл в Бюракане, куда мы прибыли специально для этой цели из Баку.

Следует сказать, что Виктор Амазаспович с большим пониманием и даже энтузиазмом отнёсся к нашему предложению. Он там – абсолютный монарх, и всё делалось как по щучьему велению. Мне почему-то особенно запомнилась эта поездка в Бюракан из Баку. Нас никто не встречал в ереванском аэропорту. Пришлось добираться до Бюракана «своим ходом». Прибыли туда поздно, был субботний вечер, и на обсерватории никого не было. Мы были очень голодны, и так, голодные и очень усталые, легли спать в отведённой нам комнате в обсерваторской гостинице. Проснулся я, как обычно, на рассвете и подошёл к своему любимому месту у южных каменных ворот обсерватории. С этого места лучше всего по утрам любоваться Араратом. Сколько я ни бывал в Бюракане, всегда наслаждался этим неопикуемой красоты зрелищем. Ещё вся долина погружена в синюю предрассветную мглу. Не видно ни единого живого огонька – после резни 1915 года долина всё ещё безлюдна. И высоко в небе полоса нежнейшего розового света – это снежная вершина Большого

Арарата. Быстро светает, и на иссиня-голубом небе удивительно нежной акварелью вырисовывается вся эта изумительной красоты панорама. Я никогда не воспринимаю Арарат таким, каким его много раз изображал Сарьян – слишком резко, слишком контрастно! По-моему, лучше всего Арарат изобразили бы старые японские мастера. Только они смогли бы передать эту ни с чем не сравнимую воздушную перспективу. В детстве я удивлялся, почему в Библии такая решающая роль отведена этой горе, удалённой от «места действия» на добрые полторы тысячи километров – расстояние для седой древности непомерно большое. Я понял это сразу же, когда впервые залюбовался Араратом в 1955 году. Ведь высота над уровнем моря долины пограничного Аракса всего лишь 400 метров, а расположенный в немногих десятках километров южнее массив Арарата подымается как бы сразу на 5200 метров! Даже вершины Гималаев не настолько возвышаются над окружающими хребтами! Даже пик Тенериф, ещё в XVIII веке считавшийся высочайшей вершиной мира, и то так не подымается над окружающей его пустыней Атлантического океана. Арарат вполне соответствовал представлениям древнего человека о *горé*!

Налюбовавшись досыта удивительной горой, я пошёл в наш номер, двери которого, так же как и всех других номеров, выходили на крытую террасу. У двери я обнаружил... кулёк с грецкими орехами – трогательный дар самого В.А. Это было как нельзя более кстати. Насытившись орехами, мы пошли бродить по живописнейшему селению Бюракан. Почему-то запомнился невзрачный ишак, который щипал травку около дороги. Стоило, однако, появиться из соседнего домика маленькой девочке, как у этого скромного

травоядного внезапно проявились чудовищно гипертрофированные признаки его принадлежности к сильному полу...

– А вы сомневаетесь в возможности установления контакта между инопланетными цивилизациями! – резонно заметил Коля.

Неподалёку стояла антенна, смотревшая куда-то в совершенно непонятном направлении. Позже здешние радиоастрономы вполне серьёзно объяснили нам, что они наблюдают Кассиопею-А через... задний лепесток. Мы немало подивились столь своеобразному способу познания космических объектов.

В октябре 1964 года первая Всесоюзная Бюраканская конференция по внеземным цивилизациям состоялась и прошла весьма успешно. В ней принимало участие немало выдающихся отечественных учёных. Интерес к этой проблеме резко поднялся.

Сразу же после конференции возникла идея организовать международную конференцию по тому же сюжету. И здесь главным заводилой был Коля. К этому времени мы установили контакт, правда, не с внеземными цивилизациями, а с чешским энтузиастом этого дела доктором Пешekom. Последний предложил место для подобной конференции: один из средневековых чешских замков. Роскошная идея! И мы рьяно взялись за её реализацию. Вопрос был значительно продвинут во время Международного астрономического съезда в Праге в августе 1967 года, где мы встретились с Пешekom. К сожалению, последовавшие вскоре события исключили Чехословакию как место для такой международной конференции. Чехам было «не до того». Когда это стало ясно, решено было

устроить конференцию опять в Бюракане. Окончательно об этом договорился Коля с Саганом во время своей командировки в США.

Вторая Бюраканская конференция по существу была советско-американской. Упирая на комплексный характер предмета конференции, я настаивал на приглашении не одних астрономов и радиофизиков (только последних Коля считал деловыми людьми, остальных – «философами», т. е. трепачами), но и широкого круга гуманитариев. Именно так подошли к проблеме американцы. Наши же так называемые «гуманитарии» выглядели убого и хило.

Организация такой беспрецедентной советско-американской конференции потребовала большого напряжения сил от всех сотрудников Бюраканской обсерватории. Ведь надо было комфортабельно устроить не менее 25 американцев. Не забудем, что это не город, а удалённая обсерватория. Конечно, без Амбарцумяна ничего не было бы сделано.

И вот 4 сентября 1971 года конференция открылась. Думаю, что давно не было более представительного учёного собрания. Я, во всяком случае, ни до ни после ничего похожего не видел. Среди двух дюжин приехавших американцев были два лауреата Нобелевской премии, в том числе Чарлз Таунс, выдающийся физик и астрофизик, вместе с нашими Прохоровым и Басовым разделивший славу открытия лазеров и мазеров. Накануне приезда в Бюракан он сделал необыкновенно важное и эффектное открытие – космические мазеры на водяных парах (длина волны 1,35 см), сопутствующие образованию звёзд из межзвёздной среды. Приехали Саган, Моррисон, Дрейк,

широко известные своими пионерскими работами по проблеме внеземных цивилизаций. Были там знаменитые историки (О'Нил), кибернетики (Минский) и даже этнограф профессор Ли. На нём, пожалуй, стоит остановиться немного подробнее. Этот маленький щуплый человечек был, по существу, пионером новой науки, которую с полным правом можно назвать экспериментальной антропологией. Я знаю по меньшей мере два его научных подвига. Полгода он провёл в пустыне Калахари (Намиб) в орде бушменов. Он вёл себя как бушмен, питался теми же ящерицами и прочей гадостью, мёрз холодными ночами и в совершенстве выучил язык и обычаи этих древнейших аборигенов Африки. Ещё более впечатляет другой подвиг: несколько месяцев он провёл в стае свирепых обезьян-бабуинов.

– Главное – это не смотреть матёрым самцам в глаза, – сказал мне этот бесстрашный человек.

Среди американцев обращал на себя внимание и рослый, грузный, казавшийся старше своих лет Оливер. Это самый настоящий миллионер, вице-президент известнейшей фирмы по электронно-вычислительной технике Хьюлетт-Паккард. С ним приключилась трагикомическая история: по пути из Америки в Ереван, кажется, в Лондоне, у него пропал чемодан. Лишённый своего багажа, где у него, естественно, находилось всё необходимое для жизни если не в инопланетной, то, по крайней мере, в социалистической цивилизации, мистер Оливер оказался в сложном положении: у бедняги миллионера не оказалось даже смены белья. Иностранцев поселили, конечно, в роскошной «Армении» – знаменитой интуристовской гостинице в Ереване, то есть в 45 километрах от Бюраканской обсерватории, где с большим комфортом разместили советских участников

конференции. Два раза в день – утром и вечером – иностранцам приходилось трястись по горной дороге, что, конечно, не вызывало у них восторга. Как-то раз, после окончания вечернего заседания, иностранные гости, продолжая оживлённую дискуссию, нехотя рассаживались в уже ожидавшие их автобусы. В толпе я увидел Ли, стоявшего несколько в стороне и делавшего мне какие-то знаки. Я подошёл к нему и узнал, что он тайно решил остаться на обсерватории и заночевать здесь – тут ему очень нравится, а утром можно будет полюбоваться Араратом. Я растерянно стал бормотать, что, мол, мест нет и прочее. Он выразительно посмотрел на меня, и я понял нелепость моих отговорок: для человека, ночевавшего со стаей бабуинов, переночевать на кустиках колючей бюраканской травы рядом с куполом башни – раз плюнуть... Утром я пришёл его проведать. Тот попросил у меня зубную пасту, утверждая, что ночь провёл превосходно.

Тем временем в Бюраканской обсерватории (точнее, в её конференц-зале и примыкающих к нему открытых галереях) кипели научные страсти. Один удивительный доклад сменял другой, ещё более впечатляющий. Спорадически вспыхивали жаркие дискуссии. В перерывах и за обедом (который подавался тут же, рядом, – как это трудно было организовать, да ещё на таком высоком уровне!) учёные баталии не утихали. Молодой, щеголеватый Саган пустил в ход эффектный термин «субъективная вероятность» – речь шла о вероятностных оценках распространённости разумной жизни во Вселенной на основе знаменитой формулы Дрейка.

Вспоминаю живой, увлекательный доклад одного из основоположников СЕТИ (что расшифровывается как

«Communication with Extraterrestrial Intelligence») профессора Моррисона. Предмет доклада: как можно по радио передать всю мудрость какой-нибудь (в частности, земной) цивилизации. Оказывается, можно, и не так уж это много займёт времени! Аналогичные расчёты я выполнил ещё до Моррисона в книге «Вселенная, Жизнь, Разум». С большим запасом делается оценка, что всё, написанное людьми, когда-либо жившими на Земле (а это преимущественно всякого рода пустопорожние бумаги, расписки и пр.), можно выразить в двоичном коде 10¹⁵ знаками. Радиопередатчик с шириной полосы приблизительно 100 мегагерц, непрерывно работая, может излучить всю эту «разумную» продукцию, включая содержание всех книг, когда-либо напечатанных на каком-нибудь языке, за несколько месяцев! Этот впечатляющий, хотя довольно простой, результат Моррисона был несколько «подмочен» невинным вопросом спокойно-флегматичного Дрейка:

– Как вы думаете, сколько бит информации содержит формула Эйнштейна $E = mc^2$?

Обычно очень находчивый Моррисон несколько растерялся, а собрание разразилось взрывом хохота.

Помню ещё дискуссию, посвящённую «актуальной» проблеме: может ли установление контакта с инопланетянами быть опасным для землян? Наиболее интересным был письменный ответ отсутствовавшего на конференции Сахарова: «Умному и доброму контакт полезен, глупому и злему – вреден».

Я уже говорил, что конференция была удачно организована. Своим вкладом в её успешную работу я, в частности, считаю приглашение в качестве главного синхронного переводчика Боба Белецкого – моего

товарища по эшелону Москва-Ашхабад (см. первую новеллу). Никто никогда, ни мы, ни американцы, такого синхронного перевода не слышали. Он ещё молниеносно, и притом «на оба конца», улучшал текст вопросов и ответов! Можно не сомневаться, что без Боба у нас возникла бы ситуация вавилонского столпотворения. Ещё поражала воображение участников конференции, особенно советских, американская стенотипистка мисс Свенсон. Глядя на её совершенно фантастическую по скорости и точности работу, мы поняли, что и в секретарском деле может быть высокая поэзия. Итог работы американки был более чем весом: она подготовила всю полную стенограмму, когда конференция ещё не кончилась. Это обеспечило выход тома трудов конференции с непостижимой для нас быстротой.

В положенное время конференция закончилась, и всем стало очень грустно. Не хотелось уезжать из Бюракана, ещё не обо всём договорились, ещё не доспорили и даже не доругались. Горечь близящегося расставания была смягчена только перспективой прощального банкета, который должен был произойти на знаменитом озере Севан.

И вот мы все сидим за огромными банкетными столами. За широкой верандой – красивейшая панорама знаменитого, увы, сильно обмелевшего озера. Совсем близко, на бывшем острове, ставшем теперь полуостровом, виден древний купол монастыря святого Карапета. Среди американских участников заметно оживление: нашёлся чемодан Оливера, по этой причине сам Оливер отсутствует – поехал в Ереванский аэропорт вырывать свою ручную кладь. Тамадой единодушно избирается Амбарцумян. Впрочем, все понимают, что он

скорее «зиц-тамада» – слишком уж величествен. Поэтому совершенно необходим вице-тамада, и в качестве такового выбирают меня! Полагаю, что это была самая высокая должность, на которую я когда-либо избирался. Это были мои звёздные часы: я – «действующий» тамада такого уникального сборища! Справа от меня сидел лауреат Нобелевской премии сэр Фрэнсис Крик (тот самый, который открыл структуру ДНК), слева сам головной тамада – внук Асатура (папу Амбарцумяна звали Амазасп Асатурович). Кажется, я был в ударе. Приведу два примера.

Во-первых, следуя кавказскому обычаю, я вызвал на тост профессора Ли, потребовав от него, чтобы тост был произнесён... на бушменском языке! И тут окрестный величественный пейзаж огласился ни на что не похожими щелкающими и свистящими звуками – как пояснил антрополог, он пропел сверхдревний первобытный гимн, сопровождающий ритуал коллективного поедания какой-то деликатесной, остродефицитной живности. Впечатление от этого тоста было очень сильным.

В конце банкета я обратился к собравшимся со следующим спичем:

– Господа и товарищи! На протяжении всех этих незабываемых дней мы много толковали о субъективной вероятности. Но если бы ещё вчера я поставил перед вами вопрос: какова субъективная вероятность, что потерянный чемодан мистера Оливера вернётся к своему владельцу, вы хором ответили бы мне: «Нуль». И что же? Сегодня достойный вице-президент фирмы Хьюлетт-Паккард получает свой чемодан и вместе с ним столь необходимые в этой восточной республике шорты

и, кажется, перчатки! Это радостное событие вселяет в нас уверенность, что где-то, далеко за пределами «созвездия Тау Кита», столь выразительно воспетого замечательным русским поэтом Владимиром Высоцким, идёт банкет, аналогичный нашему. Во всяком случае, субъективная вероятность столь радостного события не так уж мала. Поэтому – давайте выпьем. Рекомендую «три звёздочки» местного разлива!

Хочется верить, что этот спич заметно увеличил процент любителей «оптимистического» подхода к проблеме СЕТИ. Увы, в наши дни голоса «пессимистов» становятся слышны всё более и более. Но это уже другой сюжет...

ГЛЯДЯ НА ЛЫСЕНКО

Столовая Академии наук находится на Ленинском проспекте, почти точно напротив универсама «Москва». Вывески на ней нет, только на массивной стеклянной двери приклеена небольшая бумажка с надписью «Ателье – налево». И действительно, за углом, уже на улице Губкина находится какое-то ателье. Бумажка наклеена, по-видимому, для того, чтобы непосвящённые посетители случайно туда не забредали – ведь потом таких посетителей надо не вполне деликатно выпроваживать. Кстати, у нас немало таких, на вид очень скромных учреждений, не рекламирующих себя вывесками. Никогда не забуду, например, гостиницу «Смольненская», находящуюся в Ленинграде на Суворовском проспекте, 2. Там проходила юбилейная сессия нашего отделения Академии наук в 1977 году. Отсутствие какой бы то ни было вывески с лихвой

компенсировалось неправдоподобной дешёвизной роскошных блюд гостиничного ресторана. Все мои попытки, предаваясь лукулловым пиршествам, выйти из рамок одного рубля были безуспешны. Увидев такое, один из участников юбилейной сессии – Виталий Лазаревич Гинзбург – удовлетворенно воскликнул:

– Ого, я вижу, нас приравняли к штыку!

И только тогда мы поняли, что находимся в гостинице ленинградского обкома. <...>

Столовая Академии наук имеет, конечно, не тот ранг. Цены на обед там вполне современные, но и, конечно, не ресторанные. Готовят вкусно, из вполне доброкачественных продуктов. Отсутствие очередей, вежливость официанток и вполне домашний уют особенно ценны в наших московских (и, конечно, не только московских) условиях. Я узнал о существовании этого очаровательного оазиса только спустя 2 года после своего избрания в Академию – вот что значит отсутствие рекламы!

Однако столовая АН СССР имеет ещё одну привлекательную особенность. Она является местом встреч, деловых и дружеских, научных работников высшего ранга. Здесь можно встретиться и поговорить с каким-нибудь абсолютно недоступным академиком, получить нужную информацию, прозондировать детали какой-нибудь академической комбинации. Короче говоря, столовая Академии наук является своеобразным клубом. Другого настоящего клуба учёных в Москве нет – пресловутый Дом учёных уже давно выродился в разновидность дома культуры, где задают тон разного рода учёные-пенсионеры и домашние хозяйки. Особенно повышается роль академической столовой в месяцы и

недели, предшествующие выборным кампаниям – тогда жизнь здесь бьёт ключом и даже иногда возникают очереди. Ещё одной функцией нашей милой столовой является кормление некоторых, наиболее именитых и нужных, иностранных коллег. Ведь это же целая проблема – накормить (прилично) такого гостя в священное для них полуденное время «лэнч-тайм». Куда его повезти? В академической гостинице, что на Октябрьской площади, буфет отвратительный, в ресторанах теперь, сами понимаете, как кормят, да и очереди там. Каждый раз, проходя эти муки, сгораешь от стыда. Конечно, далеко не все советские учёные могут позволить себе пригласить иностранного гостя в нашу столовую, но я, слава богу, могу.

И вот как-то раз я повёл туда кормиться гостившего в Москве видного американского специалиста по космическим лучам Мориса Шапиро. Время от времени мы с ним встречались на разных международных конгрессах, он не раз потчевал меня у себя в Штатах, и я был обязан хотя бы в малой степени отблагодарить его тем же в столице нашей Родины. <...> Обед ему очень понравился, особенно борщ – оказалось южно-русское происхождение его дедушки и бабушки. Большое количество чёрной икры создавало у него несколько искажённое представление о размерах нашего благосостояния. Всё же он благодушно заметил:

– Мне представляется (It seems to me), что советским академикам голодная смерть не угрожает.

Я вынужден был с ним согласиться. Застольный разговор, однако, протекал вяло, тем более, что горячительных напитков в нашей столовой не подают. Постепенно беседа стала иссякать, уподобившись

струйке воды в пустыне. <...> Как хозяин, я стал чувствовать себя весьма неудобно – ведь гостя надо развлекать, а развлечение явно не получалось. И вдруг – о счастье – в столовую вошёл собственной персоной Трофим Денисович Лысенко. Это было спасение! Указывая на двигавшегося в проходе между двумя рядами столиков знаменитейшего мракобеса, я с деланной небрежностью заметил:

– А вот идёт академик Лысенко!

Боже мой, что случилось с Морисом! Он буквально запрыгал на своем стуле.

– Неужели это мистер Лысенко? Собственной персоной! Как я счастлив, что его увидел! Но ведь никто в Америке не поверит, что я видел самого Лысенко и имел с ним лэнч.

– Если хотите, я вам дам справку, – заметил я.

Он жадно ухватился за эту идею. И с его помощью я ему такую справку написал, конечно, в хохмаческом стиле. Шапиро тщательно спрятал ценный документ и был счастлив.

Этот эпизод, так наглядно продемонстрировавший огромную геростратову славу создателя пресловутого «учения», через несколько лет навёл меня на одну интересную мысль. Я довольно часто сживал за одним столом с Трофимом Денисовичем, нарушая тем самым неофициальный бойкот, которому подвергли его наши передовые академики, особенно физики. Они никогда ему не подавали руки и не садились с ним за один столик. Мне это наивное академическое чистоплюйство всегда было смешно. Лысенко – интереснейшая личность, если угодно – историческая, и его любопытно

было наблюдать. Глядя на него в упор, я никогда, впрочем, с ним не здоровался и не обмолвился ни одним словом. У него было выразительное лицо – лицо старого изувера-сектанта. Ел он истово, по-крестьянски, не оставляя ни крошки. Предпочитал пищу жирную и весьма обильную. Официантки всегда относились к нему с особой почтительностью. И вот как-то раз, вспомнив Мориса Шапиро, я вдруг сообразил, что могу неслыханно разбогатеть на этом знаменитом старике. Дело в том, что обед в академической столовой всегда предшествует заказ, обычно за 2 дня до обеда. Из обширнейшего меню заказывающий на специальном бланке пишет, что именно он желает получить, после чего подписывается. А что если я попрошу нашу милую официантку Валю оставлять мне бланки заказов Трофима Денисовича, разумеется, за скромное вознаграждение? Ведь таким образом я довольно быстро смогу собрать оригинальнейшую коллекцию автографов знаменитого агробиолога! За каждый такой автограф в Америке, где я бывал и собирался быть, дадут минимум 200 долларов, это уж как пить дать! Тому порукой – реакция Шапиро на явление Трофима. Да и без всякого Шапиро я знал о размахе скандальной славы Лысенко. Увы, неожиданная смерть этого академика подрубила мою блистательную финансовую комбинацию под корень.

А при жизни он совершал иногда поступки совершенно неожиданные. Как-то раз я зашёл в нашу столовую, когда она была почти полна. Единственное свободное место было как раз за столиком, где сидел Трофим Денисович. Недолго думая, я туда сел и стал оглядываться. По другую сторону прохода был столик, за которым расположилась знакомая мне чета Левичей. Судя по всему, они пришли только что – на столе перед

ними не было убрано. Уже ряд лет член-корреспондент Венямин Григорьевич Левич и его жена Татьяна Самойловна были в «отказе» 39 т. е. они подали заявление на эмиграцию в Израиль (где уже находились оба их сына) и получили отказ. Так же, как и в случае Лысенко, но по совершенно другим причинам, посетители академической столовой, по возможности, избегали сидеть за одним столиком с супругами Левич. Вот и сейчас я увидел, как какие-то два деятеля с излишней поспешностью рассчитывались с официанткой, оставляя моих знакомых одних. Я пересел за их столик и только тут заметил, что Левичи чем-то взволнованы. Не дожидаясь моих вопросов, Венямин Григорьевич нервно сказал:

– Ах, как жалко, что вы не пришли сюда минуту назад! Вы бы увидели незабываемое зрелище! Только мы сели за этот столик, как вдруг со своего места поднялся Лысенко, подошёл к нам и на глазах у всех протянул мне руку. Я никогда раньше с ним не здоровался, мы абсолютно незнакомы, но представьте моё нелепое положение: пожилой человек, стоя, мне, сидящему, протягивает руку! Я, конечно, будучи воспитанным человеком, поднялся и пожал протянутую руку. И тут он наклонился ко мне и сочувственно-доверительно спросил: «Очень на вас давят? Но вы держитесь – всё будет хорошо!» – и отошёл на свое место.

Сидя напротив ещё не пришедших в себя после удивительного происшествия Левичей, я обдумывал поступок Лысенко. Он, конечно, до конца своих дней считал себя, так много сделавшего для Родины, незаслуженно обиженным. Отсюда вполне естественна его оппозиция режиму. И так же естественно, что он усмотрел в евреях-отказниках как бы товарищей по

несчастью, так же несправедливо притесняемых, как и он сам. Я подумал ещё, что среди немногих достоинств знаменитого агробиолога, пожалуй, стоит отметить полное отсутствие антисемитизма. Всё-таки его сознание формировалось в другое время! Среди его оруженосцев было много, даже слишком много евреев с неоконченным марксистским образованием. Назовём хотя бы Презента, юриста по образованию, одно время поставленного Трофимом деканом сразу двух (!) биологических факультетов – МГУ и ЛГУ. Вот тогда на стене нашего доброго старого здания на Моховой я увидел написанную мелом фразу: «Презент, Презент! Когда ты будешь плюсквамперфектумом?». Бардами Лысенко выступали литераторы Халифман и Фиш – последнего я довольно хорошо знал. Он был милейший человек, хотя и веривший в лысенковскую галиматью. Впрочем, такое было время. Неважное время для науки. Дай-то бог, чтобы оно не вернулось!

УКРЕПИ И НАСТАВЬ...

Мне было совсем худо. Похоже на то, что я умирал. 5 ноября 1973 года мой сын Женя привёз меня в хорошо знакомую академическую больницу, что на улице Ляпунова, с обширнейшим инфарктом миокарда. Это был второй инфаркт, и он вполне мог оказаться последним. Одетый в осеннее пальто, я лежал в холодном помещении приёмного покоя больницы на каком-то устройстве, смахивающем на катафалк. Дежурная сестра не торопилась меня госпитализировать – она была занята оформлением какого-то немолодого пациента, у которого вся физиономия была покрыта синяками и ссадинами. В

ожидании своей очереди я попросил у стоящего рядом очень мрачного Жени газету, которую он, как я помнил, вынул из почтового ящика, прежде чем сесть со мной в машину скорой помощи. Почему-то я был очень спокоен. В газете сразу же бросилось в глаза траурное объявление: Союз писателей и прочие учреждения и организации с глубоким прискорбием извещали о кончине Всеволода Кочетова. Совершенно неожиданно я стал громко хохотать. Все присутствующие с испугом уставились на меня, а я продолжал смеяться. Мысль о том, что я могу умереть практически одновременно с этим типом, показалась мне почему-то невыразимо смешной. Как я уже говорил, в последующие часы моя жизнь висела на волоске, а та положительная эмоция, которую я получил от траурного объявления, по-видимому, склонила чашу весов в сторону моего выживания... Этот пример показывает, как сложна и вместе с тем ничтожна цепь событий, обеспечивающая существование нашего «я».

Ещё три недели я чувствовал себя очень скверно. Особенностью инфаркта является утрата ощущения надёжности систем, функционирование которых есть синоним жизни. Очень ясно сознаёшь, что в любую секунду, «без предупреждения», машина может остановиться. Сознание того, что эта машина – ты сам, придаёт этому ощущению непередаваемую окраску.

Лёжа в своей отдельной палате, я стал постепенно устанавливать контакты с внешним миром через посредство моего маленького приёмника «Сони». Я по нескольку часов в день слушал разного рода вражьи голоса.

Как-то, прослушав очередную порцию подобного рода новостей, я забылся в полудремоте. Когда я очнулся по причине какого-то шума, то понял, что я уже не на этом свете. Судите сами, что же я мог подумать другое: в пустой палате, рядом с моей койкой стояли собственной персоной академик Сахаров и его супруга! Когда до меня наконец дошло, что это не наваждение, я, естественно, обрадовался, увидев давно мне знакомую чету. Тут же выяснилась и причина их появления в академической больнице. Это была неплохая идея – спастись от тов. Малярова в означенной больнице. И вот вчера, в пятницу вечером, они, как снег на голову, свалились на дежурного в приёмном покое. Этого дежурного можно было, конечно, пожалеть. Ему надо было решать непростую задачу. В конце концов после консультации с больничным начальством было принято соломоново решение: академика – в отдельную палату-люкс (никуда не денешься – закон есть закон!), а его жену определить в общую палату! Возмущённые этим произволом, супруги пришли ко мне (они каким-то образом знали, что я в больнице) как к «старожилу этих мест», дабы посоветоваться, как с этим безобразием бороться.

– Только не надо устраивать пресс-конференцию, – сказал я. – В выходные дни тут никакого начальства нет. Потерпите ещё два дня – и в понедельник вас воссоединят.

Так оно и вышло.

Начался новый, очень яркий этап моей больничной жизни. В спешке бегства от тов. Малярова супруги, подобно древним иудеям, бежавшим из плена египетского, забыли одну важную вещь. Если упомянутые евреи забыли дрожжи, то академическая чета забыла

транзисторный приёмник. По этой причине каждый вечер, после ужина, Андрей Дмитриевич либо один, либо вместе с женой приходил ко мне в палату слушать всякого рода голоса. Трогательно было смотреть на них, когда они, сидя у моей постели и слушая радио, всё время держали друг друга за руки. Даже молодожёны так не сидят... Забавно, конечно, было слушать с ними вместе по «Би-би-си», что, мол, академика Сахарова насильно доставили в больницу и московская прогрессивная общественность этим обстоятельством серьёзно обеспокоена...

Моя больничная жизнь по причине регулярных визитов Андрея и Люси значительно осложнилась. Сразу вдруг резко увеличилось количество посещений палаты разного рода гостями. Многих из них я до этого не видел долгие годы. Визиты были преимущественно вечерние – каким-то образом они пронюхали время посещения моей палаты знаменитой супружеской парой. Частенько, когда мы вечерами слушали радио, неожиданно приоткрывалась дверь и оттуда высовывалась какая-нибудь совершенно незнакомая и весьма несимпатичная физиономия. Гости рассказывали мне, что в ожидании прихода ко мне Сахаровых по всему коридору сидели ходячие больные – основной контингент академической больницы. Задолго до того, как академик и его супруга проследуют по коридору ко мне в палату, этот контингент занимал места получше (приходили со своими стульями) и терпеливо ждал «явления», благо времени у них было достаточно.

Несмотря на все эти сложности, ежевечерние беседы с одним из самых замечательных людей нашего времени доставляли мне огромное наслаждение. Они дали мне очень много и позволили лучше понять моего

удивительного собеседника. Мы много говорили о науке, об этике учёного, о «климате» научных исследований. Запомнил его замечательную сентенцию: «Вы, астрономы, счастливые люди: у вас ещё сохранилась поэзия фактов!». Как это верно сказано! И как глубоко надо понимать дух, в сущности, далёкой от его собственных интересов области знания, чтобы дать такую оценку ситуации!

Я был поражён щепетильной объективностью и беспредельной доброжелательностью Андрея Дмитриевича в его высказываниях о своих коллегах – крупных физиках. Иногда меня это даже раздражало, как, например, в случае с Н. Н. Боголюбовым, которого он ставил в один ряд с Ландау, невзирая, в частности, на мерзкие стороны характера непомерно властолюбивого нынешнего директора Дубны. Доброта, доброжелательность и строгая объективность Сахарова особенно ярко выступали во время этих бесед.

Мы разговаривали, конечно, не только о науке. Как-то я спросил у Андрея:

– Веришь ли ты, что можешь чего-нибудь добиться своей общественной деятельностью в этой стране?

Не раздумывая, он ответил:

– Нет.

– Так почему же ты так ведёшь себя?

– Иначе не могу! – отрезал он.

Вообще сочетание негибкой твёрдости и какой-то детской непосредственности, доброты и даже наивности – отличительные черты его характера. Как-то я спросил у него: читал ли он когда-нибудь программу

российской партии конституционных демократов (к которым давно уже прилипла унижительная кличка «кадеты»). Он ответил, что не читал.

– По-моему, эта программа очень похожа на твою, а кое в чём даже её перекрывает. Однако в условиях русской действительности ничего у этих кадетов не вышло. Вместо многочисленных обещанных ими свобод Ленин пообещал мужику землицы – результаты известны.

– Теперь другие времена, – кратко ответил Андрей.

Изредка он делился со мной воспоминаниями об ушедших людях и о свершённых делах. Из всех его рассказов наиболее сильное впечатление на меня произвела одна, известная некоторым физикам старшего поколения, история, которую до этого я слышал из вторых рук. Это случилось летом 1953 года. На далёком от Москвы полигоне было взорвано первое термоядерное устройство – за несколько месяцев до аналогичного американского «эксперимента». Можно себе представить восторг, гордость и энтузиазм участников грандиозного свершения. По старой традиции срочно был организован роскошный банкет на уровне учёных и военных, обеспечивавших организацию работ. Государственная комиссия ещё официально не приняла будущую водородную бомбу.

За большим банкетным столом всеобщее внимание привлекали два героя торжества: Митрофан Иванович Неделин – генерал, главный начальник на объекте, признанный тамада, и молодой физик, внёсший решающий вклад в осуществление эксперимента, Андрей Дмитриевич Сахаров. Он тогда ещё не был даже доктором наук (по причине недосуга), но к концу того

далёкого от нас 1953 года будет академиком. В тот летний вечер Андрей был на положении именинника.

Банкет начался, и тамада предоставил первое слово имениннику. Тот поднялся и сказал:

– Я подымаю свой бокал за то, чтобы это грозное явление природы, которое мы наблюдали несколько дней тому назад, никогда не было применено во вред человечеству!

Его тут же перебил тамада (имеет право!) и в балаганно-ёрнической манере стал рассказывать сидящим за столом старую русскую солдатскую байку о том, как некий священник (проще говоря, поп), отходя ко сну, стоит перед находящейся в опочивальне иконой Божьей Матери, между тем как уже лёгшая в постель попадья в нетерпеливом ожидании блаженного мгновенья томится под одеялом. «Пресвятая Богородица, царица небесная, – молится поп, – укрепи и наставь...» Его молитву нетерпеливо перебивает попадья: «Батюшка, проси только, чтоб укрепила, а уж наставлю я сама!..»

– Какой же умный человек этот Митрофан Иванович! Простой, грубый солдат, а как чётко он объяснил мне взаимоотношение науки и государства! По молодости и глупости я даже не сразу его понял...

Эти слова Андрей Дмитриевич говорил мне почти ровно 20 лет спустя после описываемых событий в больнице Академии наук. А Главный маршал артиллерии и Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Иванович Неделин в 1960 году трагически погиб при испытании новой ракетной системы.

НАШ СОВЕТСКИЙ РАВВИН

Я познакомился с ним в сентябре 1938 года в очереди на приём к инспектору Наркомпроса тов. Кожушко. Очередь была сидячая – с полдюжины молодых людей сидели рядом на казённых стульях, выстроенных вдоль стенки у двери означенного Кожушко. Очередь продвигалась очень медленно – впрочем, торопиться нам было некуда. За дверью кабинета решалась судьба каждого из сидящих на стульях. Проблемы у нас, в общих чертах, были сходные: как обойти решение государственной комиссии по распределению окончивших вузы студентов? Я, например, окончив физический факультет МГУ, получил распределение буквально в тайгу – в Березовский район Красноярского края. Будучи фаталистом и лентяем, я бы, конечно, безропотно поехал, но у меня уже была жена и самое главное – новорождённая дочь (сейчас она старший научный сотрудник в Дубне и в любой момент может стать бабушкой). Надо было думать не только о себе, но и о семье, и летом делались отчаянные попытки зацепиться за какую-нибудь аспирантуру в Москве – ведь на физфаке меня не оставили, хотя я был, ей-богу, неплохой студент. Сейчас это может показаться фантастически неправдоподобным, но, рыская по Москве, я набрёл на два подходящих места. Прежде всего, это был Институт физической химии имени Карпова, что на улице Обуха. Я взял анкету, но обстановка в этом весьма солидном институте мне не понравилась [40](#). И я, руководствуясь объявлением в «Вечёрке», направил свои стопы в Государственный астрономический институт им. Штернберга при МГУ. Я

вошёл в старый московский, заросший травой дворик, где, сидя на скамеечке, грелся на солнышке маленький беленький старичок (как я скоро узнал, это был патриарх московских астрономов – Сергей Николаевич Блажко), и переступил порог деревянного домика, где ютились жалкие комнатки астрономического института. Меня в канцелярии необыкновенно любезно встретила миловидная женщина средних лет. Это была ныне здравствующая и занимающая тот же самый пост Елена Андреевна, с которой в течение последующих 43 лет я поддерживаю самые лучшие дружеские отношения. Любезность этой славной женщины определила мой выбор, и я решил стать астрономом – думал, временно, а вышло навсегда.

За два месяца я изучил общую астрономию, освежил свой плохой немецкий язык и сдал экзамены в аспирантуру. Это был год, когда решили усилить астрономию физиками, и поэтому я был здесь не единственным питомцем своего факультета. И тут между мною и астрономией стал Наркомпрос, который, блюдя закон, толкал меня в Сибирь, куда я был распределён. В конце концов, как это почти всегда бывает в жизни, всё обошлось, и все мы в аспирантуру попали, но крови нам было испорчено немало. Визит к тов. Кожушко был только одним из этапов многотрудного пути в науку.

Я сидел уже в очереди хороших два часа, и, естественно, мне захотелось перекусить. Поднявшись со своего стула, я сказал сидящему впереди меня пареньку, что, мол, пошёл в буфет и скоро вернусь.

– Купите, пожалуйста, и мне что-нибудь – я боюсь сам туда идти, ведь я уже у самой двери!

– Хорошо, – сказал я и вдруг вспомнил этого молодого человека. Он держал со мной вместе экзамены в аспирантуру ГАИШ, только по другой кафедре. Я шёл по кафедре астрофизики, а он – по кафедре небесной механики. Был он ленинградец, поэтому в МГУ я его раньше не встречал.

Вернувшись из буфета, я протянул коллеге вполне приличный бутерброд с копчёной колбасой. Велико же было моё изумление, когда паренёк, что-то мямля, бутерброд не взял.

– Но ведь отличнейшая же колбаса, – растерянно произнес я.

От ещё большей неловкости нас спасла раскрывшаяся дверь кабинета тов. Кожушко, поглотившая стремительно ретировавшегося от меня странного человечка.

«Вегетарианец какой-то», – тупо подумал я, дожёвывая его колбасу.

Когда он вышел из кабинета, я, естественно, туда вошёл, и времени для объяснений у нас не было. Долго меня мурыжил наркомпросовский чиновник Кожушко, ничего хорошего от него я так и не добился, а когда вышел из кабинета, увидел странного ленинградца, который всё это время ждал меня. Это, конечно, было с его стороны вполне естественно, так как мы поступали в аспирантуру одного института и обмен опытом был для нас обоих полезен.

Мы вышли с ним вместе на Чистые Пруды, и, когда «деловая» часть нашей беседы быстро закончилась, я спросил у него:

– А почему, собственно говоря, вы не взяли бутерброд? – ведь я принёс его по вашей просьбе!

Ответ поверг меня в крайнее изумление:

– Я не ем колбасу по религиозным убеждениям.

Вот это да! Я дико на него посмотрел, но парень и не собирался шутить. На меня нахлынули воспоминания моего еврейского детства. Я рос в традиционной еврейской среде в маленьком украинском городке, учился древнему языку предков, ходил с мамой в синагогу. А какие были праздники, хоть кругом была полная нищета! Почему-то вспомнил запахи праздников. А потом была школа-семилетка, раздвоение сознания между еврейским домом и советской школой. В 1930 году моя семья уехала с родной Украины; я жил в Казахстане, на Амуре – в Приморье, наконец – в Москве. И мое еврейское детство уже осталось в невозвратно далёком прошлом. Я превратился в современного советского молодого человека.

Этот ленинградский реликт всколыхнул воспоминания, которые ранили мою душу. Я стал его жадно расспрашивать – как это могло случиться, что он остался настоящим евреем в эпоху, которую слишком мягко называли «реконструктивным периодом»?

Паренька звали Матес. Матес Менделевич Агрест. Он был всего на год старше меня, но до чего же по-разному сложились наши судьбы! Так же, как и я, он родился в маленьком городке, только не на Украине, а в Белоруссии, на Могилёвщине. Но далее у него всё пошло по-другому. С пяти лет он был определён в хедер – еврейскую религиозную школу, где учился за счёт общины. После хедера он стал учиться в ешиве – аналог православной духовной семинарии. Для него и его

сверстников время как бы остановилось. На дворе бушевали грозы гражданской войны, бандитизма, НЭПа, начинались пятилетки, ломался тысячелетний уклад жизни. Но заучившиеся, бледные, как тени, мальчики упрямо изучали средневековую талмудическую (в буквальном смысле слова) премудрость. И как изучали! У них был 10-12-часовой распорядок дня. Относительный отдых – суббота, да и то надо в этот день молиться. В 15 лет он окончил ешиву и стал дипломированным раввином! Но... «...какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?». А на дворе был грозовой 1930 год – Год Великого Перелома. И маленький новоиспечённый раввин оказался не у дел. Буря времени разметала родной дом, и Матес оказался в Ленинграде фактически без всяких средств к существованию, даже без знания русского языка. Можно было себе представить, как ему было трудно. Голод, бездомное существование – это были ещё не главные беды. Беда была в отсутствии перспективы. Что делать? Как найти себя в этой новой страшной жизни, оставаясь в то же время самим собой? И он нашёл себя. И он остался собой, то есть ортодоксальным евреем высокого духовного ранга.

В немыслимых условиях он стал готовиться к поступлению в Ленинградский университет на его знаменитый матмех факультет. Прошу учесть, что никаких «светских» предметов, кроме начал арифметики, в хедере, а тем более в ешиве, не проходили, так что он овладевал знаниями, что называется, с нуля. Не забудем, что заниматься приходилось урывками, так как надо было работать разнорабочим, чтобы прокормить себя и хоть крохи посылать родителям. Для подготовки в университет ему потребовалось немногим более года. Как объяснить такой феномен? Прежде всего, вероятно,

гипертрофированно развитой традиционным еврейским образованием способностью к абстрактному мышлению. Кроме того, я полагаю, что после Талмуда и комментариев к нему всякие там физики и истории выглядят не так уж трудно. Он блистательно сдал все экзамены и... провалил русский язык. Тем не менее – прошу внимания, товарищи, – Матес Менделевич был принят в Ленинградский университет как... еврей, для которого русский язык не является родным. В наше озверелое время читающий эти строки рассмеётся. Чему смеётесь? Над кем смеётесь?

Учась в Ленинградском университете, он нашёл для себя идеальную работу: в публичной библиотеке разбирал средневековые еврейские рукописи эпохи кордовского халифата. Он досконально изучил удивительную еврейско-арабскую культуру, процветавшую на юге Испании 10 веков назад. Таким образом, я шёл по Чистым Прудам не просто с раввином, а с учёнейшим раввином – моим сверстником. Мне тогда было 22 года...

Очень быстро после того, как нас приняли в аспирантуру ГАИШ, мы стали друзьями. В этом году нашей дружбе исполнится 43 года – и каких! Все эти десятилетия Матес скрупулёзно исполнял предписания еврейского закона, что было (и есть) – ой как непросто! Перед войной он женился на еврейской девушке из традиционной, ставшей уже редкостью семьи. Они жили под Москвой, в Удельной, в «подмосковном Бердичеве», вместе с тестем – правовернейшим старым евреем – и столь же традиционной тещей. Это был удивительный в советское время осколок шолом-алейхемовской «Касриловки». Я часто у них бывал и радовался их счастью, отдаваясь воспоминаниям детства. Они

действительно создали в Удельной некий специфический микроклимат. Мираж еврейского местечка быстро рассеивался в электричке, а в Москве меня уже окружал весьма суровый климат бедной неустроенной аспирантской жизни.

А потом началась война. И наши судьбы разошлись. Меня, здорового, цветущего, краснощёкого парня, на войну не взяли (близорукость -10), а его – маленького, сугубо штатского, мобилизовали в первые дни войны. Поначалу он превосходно устроился – его определили в систему противовоздушной обороны города Горького. Он там командовал взводом аэростатов заграждения. Но однажды, когда он выпустил свои аэростаты, ударила гроза, и две «колбасы» были сожжены. Согласно положению, накануне грозы он должен был получить от местного гидромета штормовое предупреждение, но, благодаря халатности метеона начальства, он его не получил. Драматизм положения был в том, что этим начальником был капитан Павел Петрович Паренаго – наш гаишевский профессор, отлично знавший аспиранта Агреста. Матеса судил трибунал. К ужасу религиозного лейтенанта, профессор – он же капитан Паренаго – нахально утверждал, что он посылал штормовое предупреждение! Как говорится, своя рубашка ближе к телу... Агрест был разжалован и послан на передовую, в штрафбат. Это чудо, что он вернулся живым и в основном целым.

Я его увидел после почти пятилетней разлуки. Он хромал (ранение) и ходил с палочкой. Очень ему было трудно втягиваться в сложную мирную обстановку. Я старался, как мог, морально поддержать друга. Собрав все силы, он защитил диссертацию – что-то о системе Сатурна. Как-то я спросил у него – исполнял ли он на

передовой предписания еврейского закона (например субботный отдых!)? Он вполне серьёзно ответил, что Талмуд в таких ситуациях предусматривает ряд облегчённых вариантов поведения... Всю его семью – родителей, братьев, сестёр – зверски убили немцы в Белоруссии.

Наступил «весёлый» 1947 год. Его после защиты диссертации никуда не брали на работу – даром, что фронтовик. Сколько раз он обивал пороги различных учреждений! Его уделом стали стыдливо-блудливые улыбки, сопровождающие разные формы отказов. Положение становилось критическим. И вот однажды он пришёл ко мне за советом (почему-то он считал меня умным...). Ему предложили странное место – уехать на край света, неизвестно куда, лишиться на ряд лет даже права переписки, но зато иметь возможность принимать участие в интересной, важной работе. Это всё так странно и неожиданно...

– Соглашайся, – решительно сказал я, – здесь жизни тебе не будет.

И он опять исчез из моего поля зрения почти на четыре года. В 1951 году неожиданно раздался звонок по телефону – Матес объявился. Он назвал свой московский адрес – где-то в районе Октябрьского поля. Я с трудом нашёл его и обомлел: он с семейством расположился в роскошном коттедже. Его Рита заметно округлилась и раздобрела, сам Матес, в пижаме, источал благополучие. А самое главное – в богатой спальне рядком спали... три мальчика! Вот это да! Радость встречи была большая. По отдельным полунамёкам (он никогда – ни тогда, ни после – не говорил даже, в каком месте он был, да я и не спрашивал – мне и так было ясно) я понял, что он был в

самом эпицентре нашего ядерного проекта, исполняя там важнейшую роль математика-расчётчика. Не забудем, что в ту пору никаких ЭВМ не было – все нелёгкие математические проблемы надо было решать на арифмометрах, и быстро. Непосредственно с ним работали все наши знаменитые физики, обеспечившие в конце концов ядерный потенциал советской страны. Он был там на отличнейшем счету. И вдруг, по каким-то неясным для меня и сейчас причинам, его с семьей буквально в 24 часа выставляют с «объекта» (могло быть много хуже – на дворе был 1951 год, а атомное дело курировал «сам» Берия) и направляют в роскошный новый институт на окраине Сухуми – в Синопе. Московский коттедж, где мы встретились, был перевалочным пунктом на пути в Сухуми.

За минувшие 30 лет я много раз бывал в Сухуми, иногда останавливался в роскошной квартире моего друга на краю субтропического парка. Росли его дети – были крохотули, стали кандидатами наук. Умерли тесть и теща; но общий традиционный дух в этой семье остался неизменным. По утрам Матес ежедневно, надев ермолку, накинув талес и намотав на обнажённые руки тфилы, совершает молитву, а в пятницу вечером зажигает в доме субботние свечи.

Как-то я спросил его:

– Наверное, так же, как и на войне, нелегко было соблюдать на объекте еврейские обычаи и законы? Ведь смягчающих обстоятельств военного времени уже не было, и Талмуд вряд ли предусматривал подобную ситуацию?

– Да, нелегко, – сказал мой старый друг и поведал мне одну необыкновенно драматическую историю.

Конечно, все годы, проведённые на «объекте», по субботам Агрест не работал. Но что значит «работать»? На этот счёт Талмуд даёт совершенно точные определения. Например, писать – это работать, а читать, беседовать, обсуждать – это уже не работа... И вот в очередную субботу начальник вычислительной лаборатории объекта Матес Менделевич Агрест с утра – как видят и чувствуют все сотрудники – активно работает: он отдаёт распоряжения, изучает отчёты, просматривает расчёты, даёт руководящие указания – дело кипит! Но на самом деле, в смысле Талмуда, – он не работает. Ни одной цифры не выводит его карандаш, ни одной поправки он не делает в расчётах сотрудников, и, казалось бы, никто этой особенности его деятельности не замечает. И всё же нашёлся человек, который эту неуловимую особенность в остальном безупречной деятельности Матеса обнаружил. Человек этот – Яков Борисович Зельдович, весьма значительная персона на «объекте». Как-то в субботу он вызвал к себе нашего раввина и небрежно заметил ему, что отдельные детали расчёта, выполненные накануне вычислительной лабораторией, ему неясны. Матес стал популярно объяснять будущему академику и трижды герою, что все расчёты – это так очевидно – правильны.

– А вот в этом месте я не понимаю. Напишите, пожалуйста, эту формулу...

Пытка продолжалась хороших два часа. Я.Б. проявил садистскую изобретательность и крайнюю настойчивость. Бедный Матес был весь «в мыле». Он пускался на самые невероятные ухищрения, чтобы объяснить своему мучителю «на пальцах», что никакой

ошибки нет, всё правильно... Всё было тщетно! И бедный Матес впервые в жизни нарушил закон [41](#).

Наступление космической эры, означающее, что люди буквально стали штурмовать небо, поразило моего старого друга. Реакция его на это событие была вполне естественной для просвещённого раввина. Он стал искать указания на явления космических пришельцев... в книгах Ветхого завета. С огромным энтузиазмом Матес комментировал тёмные места книги Еноха. Его внимание привлекла ужасная судьба Содома и Гоморры. Как он был фанатически увлечён своими изысканиями! Да и сейчас он исступлённо верит в свою интерпретацию древних мифов. Блажен, кто верует! Матес Менделевич Агрест – счастливый человек. А это такая редкость в нашем страшном веке.

«Химия и жизнь». От редакции

От редакции. Опубликованные «Химией и жизнью» воспоминания известного советского астронома, члена-корреспондента АН СССР И. С. Шкловского (1988, № 9; 1989, № 1-3) вызвали множество читательских откликов, от восторженных до негодующих – некоторые из них публикуем. Кроме того, достоянием редакции стали дополняющие, уточняющие, поясняющие рассказы свидетелей того, о чём писал на страницах своей книги покойный учёный. Помещённое ниже интервью (его взял корреспондент «Химии и жизни» В. Иноходцев) содержит один из таких рассказов.

«СЛОВА НАРОДНЫЕ...»

Академик В. И. ГОЛЬДАНСКИЙ

Воспоминания Иосифа Самуиловича Шкловского я прочитал с большим интересом. Говоря так, я отнюдь не подразумеваю, что согласен со всем, что там написано, – они очень острые, как сейчас принято говорить, противоречивые, но с точки зрения писательской, литературной, они превосходны. Говорить, однако, я хочу не об этом, а о том, что в мартовском номере – последнем из тех, в которых публиковались их главы, – я совершенно неожиданно натолкнулся на воспоминание, относящееся, как вы увидите из дальнейшего рассказа, непосредственно ко мне.

Я имею в виду описание того, как на дне рождения у Станюковича, или Станюка, как там он назван (и как мы все его называли), исполнялась песня о Гавриле. Вот об этом я мог бы сообщить некоторые дополнительные подробности. Дни рождения Станюковича – третье марта, я на них неоднократно бывал; у нас они назывались «дни весенних станюкалий»... Песня о Гавриле, как пишет Шкловский, – «удивительный продукт художественной самодеятельности закрытых почтовых ящиков». Здесь я должен внести одну существенную поправку. Не уверен, что я был именно на этом дне «станюкалий», потому что мне не запомнилась встреча со Шкловским в присутствии Зельдовича, который также упомянут в воспоминаниях. Кроме того, «Гаврила» – не песня, это были просто стихи, и на какой их мотив пели, я не знаю. Но о стихах-то я знаю точно, потому что я сам их и написал.

По какому же поводу?

Чтобы объяснить это, напомним, что был у меня друг, Александр Соломонович Компанеец, заведующий теоретическим отделом нашего Института химической физики. Он прославился тем, что первый сдал знаменитый теорминимум Ландау. Это был один из учеников Ландау, можно сказать, первый его ученик. А ещё Компанейца называли «первый поэт среди физиков», мы с ним обменивались стихами, которые друг другу посвящали... Вместе с ним мы решили написать новогоднюю пьесу. Встреча Нового года, кажется, 1956-го, состоялась на квартире у Ландау. Пьеса, которую мы там показали, называлась «День учёного мужа». В ней изображался типичный рабочий день научного сотрудника.

Мы вложили в это сочинение многое из личных впечатлений того времени. Оно было написано отчасти в прозе, отчасти в стихах. Что-то принадлежало Компанейцу, что-то мне, а какие-то места сочинялись совместно. Как раз песня о Гавриле была написана мною и появлялась вот по какому поводу. К «учёному мужу» приходит, как там было написано, действительный член общества по распространению политических и научных знаний. Под ним подразумевался – в несколько видоизменённом образе – один из старейших и известнейших учёных нашего института профессор Моисей Борисович Нейман. Он часто читал лекции и писал в популярных журналах статьи об атомной энергии. Мы в какой-то мере пародировали эти выступления... «Член общества» предлагает нашему

герою написать разные статьи или выступить где-то. Предложив несколько вариантов, он слышит от «учёного мужа»:

Нет, знаете, уж если делать выбор,
Скорей статью согласен я писать,
Но вы как всеми признанный маэстро
Подскажете мне верное начало.

«Действительный член» отвечает:

Ну, это ничего нет проще...
Однажды, вставши утром рано,
Гаврила взял кусок урана.
При этом, должен вам сказать,
Уран был двести тридцать пять.
Потом недрогнувшей рукой
Гаврила взял кусок другой.
Наполнив бак водой тяжёлой,
В него Гаврила входит голый.
Ещё не поздно! В назиданье
Прочти Стокгольмское воззванье!
Но нет, Гаврила в воду входит
И два куска, безумный, сводит.
Кипит тяжёлая вода,

Нет от Гаврилы и следа.

Об этом помнить бы должны

Все поджигатели войны.

После чего «действительный член» говорит: «Ну, я пошёл, мне ещё надо сегодня к избирателям». И уходит вести беседу по случаю приближающихся выборов в народный суд. Наш герой восхищённо говорит ему вслед: «Ну и орёл!». А потом, поглядев на часы, добавляет: «Пойду-ка и я. Домой. А то ещё пересидишь». Далее начинается сценка с избирателями, но она, как говорится, из другой оперы, а стихи выглядели так, как я вам прочитал.

Они получили довольно широкое распространение и популярность. И я очень рад, что о них, если спросить кого-то из исполняющих их про автора, видимо, скажут: «Автор неизвестен, слова народные». Я потом слышал этот текст неоднократно, может быть, к нему даже какую-то мелодию приладили.

В начале 70-х годов, точный год не помню, при составлении новогодней передачи для радио ко мне обратился Александр Ширвиндт с просьбой записать эти стихи. Я прочитал их, и они действительно были включены в новогоднюю программу. К сожалению, из них тогда выпустили два фрагмента: о поджигателях войны и про Стокгольмское воззвание. Стихи были существенно испорчены. А сейчас я рад предоставить их нашему любимому журналу в полном, не сокращённом виде.

А к «почтовым ящикам» эта история, получается, отношения не имела?

Никакого. Однако любопытно, что потом те, кто действительно работал в «почтовом ящике», рассказали: история, похожая на ту, которая описана в стихах, в самом деле произошла с одним очень интересным учёным. Это был один из тех, кто первым начинал сочетать физические исследования с биологическими; впоследствии он руководил радиобиологическим отделом в Курчатовском институте. Звали его – вы сейчас увидите, насколько это с песней созвучно, – Виктор Юлианович Гаврилов. Здесь уж обнаружилось совершенно неожиданное совпадение. Ведь когда я писал стихи, то подразумевал, естественно, знаменитого Гаврилу из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.

Выходит, не зря говорят: поэзия – всегда прозрение?

Может быть. Если угодно – и так.

ПРИЦЕПИТЕ МЕНЯ К «ЭШЕЛОНУ»

В. А. БРОНШТЭН

В течение нескольких лет, начиная с 1988 года, в «Химии и жизни» публиковались главы из книги воспоминаний И. С. Шкловского «Эшелон». Некоторые из рассказанных им историй имели продолжения, о которых он даже не знал, а мне они известны. Я сейчас на 8-9 лет старше, чем был Иосиф Самуилович, когда писал свои новеллы, а значит, если я не расскажу о том, что знаю, всё это может кануть в Лету вместе со мной. Вот почему я и прошу «прицепить» мои рассказы к «Эшелону» И. С. Шкловского.

АНТИМАТЕРИЯ

С Борисом Павловичем Константиновым и его гипотезой о том, что кометы и метеоры состоят из антивещества, я познакомился несколько позже, чем Иосиф Самуилович Шкловский.

В мае 1964 года я начал совместно с Кронидом Аркадьевичем Любарским работу над обзором «Излучение метеоров и болидов». В октябре обзор был закончен и направлен в «Успехи физических наук». Но там он застрял. В апреле 1965 года я напомнил о нём главному редактору журнала профессору Э. В. Шпольскому. Тот посоветовал обратиться к академику Я. Б. Зельдовичу. Яков Борисович попросил дать ему один экземпляр обзора, а другой послать в

Ленинград академику Константинову, который, по словам Зельдовича, тоже интересовался этими проблемами. Я немедленно последовал совету Якова Борисовича.

Спустя месяц Константинов пригласил меня приехать к нему в Ленинград, в Физтех, и сделать доклад по теме обзора. До самого дня моего выступления, то есть до 25 февраля 1966 года, я ничего не слышал об «антивещественной» гипотезе Константинова. Иосиф Самуилович о своей схватке с ним и его сторонниками мне никогда не рассказывал.

После доклада Борис Павлович пригласил меня в свой кабинет и только тут раскрыл свои карты, сообщив, что он и его сотрудники ищут признаки антивещества в Солнечной системе. В частности, по их мнению, кометы состоят из антивещества и кометные метеоры – тоже. При пролётах метеоров якобы увеличивается интенсивность гамма-лучей и нейтронов...

Началась дискуссия, в которой принял участие один из ближайших сотрудников Константинова М. М. Бредов (вполне подходящая фамилия для соавтора такой идеи, подумал я).

Каждая сторона осталась при своём мнении, но расстались мы вполне дружески. Здесь я должен подчеркнуть одну редкую черту в характере Бориса Павловича – он не переносил научные разногласия на личные или служебные отношения. Мне пришлось в дальнейшем иметь с ним дела как с вице-президентом Академии наук. И я неизменно встречал самое тёплое отношение и поддержку.

А в науке наша схватка продолжалась. Ровно через 10 дней после моего доклада в журнале «Космические исследования» вышла статья Константинова, Бредова и

ещё двух соавторов «О возможной антивещественной природе микрометеоров». Кометы, утверждали авторы статьи, приходят к нам из других систем Галактики и состоят из антивещества. Метеоры кометного происхождения – тоже из антивещества. Их масса на восемь порядков меньше массы «обычных» метеоров.

Такого надругательства над милой моему сердцу физикой метеоров я перенести не мог и отправился к своему старому другу Кириллу Станюковичу. Мы долго обсуждали, как вернее разгромить Константинова и его команду.

Надо сказать, что о влёте в нашу атмосферу объектов из антивещества писал не один Константинов. В 1965 году в престижном английском журнале «Нейчур» появилась статья нобелевского лауреата У. Ф. Либби (в соавторстве с К. Коуэном и К. Р. Олтури), в которой утверждалось, что знаменитый Тунгусский метеорит тоже состоял из антивещества. Константинов и его соавторы, конечно же, ссылались на эту работу.

В нашей со Станюковичем статье мы привели несколько разных расчётов, каждый из которых доказывал нереальность антивещественной природы комет и метеоров. Невозможно их перемещение в Солнечной системе – взаимодействие с межпланетным веществом приведёт к их аннигиляции. В земной атмосфере антитела полностью испарятся на высотах в сотни километров. Реактивное действие направленного вперёд излучения приведёт к торможению и выталкиванию антитела обратно в космос.

В сентябре 1966 года наша статья была закончена и передана академику В. Г. Фесенкову. Впрочем, Василий Григорьевич даже сумел опередить нас, опубликовав в

журнале «Земля и Вселенная» (1966, № 4) статью «Могут ли кометы состоять из антиматерии?». В ней в популярной форме разъяснялось, почему антитела не могут существовать не только в Солнечной системе, но и вообще в нашей Галактике. Нашлись у нас и другие союзники. Статьи против антивещественной гипотезы опубликовали в 1966—1967 годах польский астроном М. Суботович, немецкие астрономы М. Науэнберг и М. Рудерман.

К сожалению, наши расчёты задержались с публикацией на целых три года – в то время простым смертным не дозволялось критиковать в печати вице-президента Академии наук СССР. Статья была напечатана только в августе 1969 года – в журнале «Космические исследования».

Борис Павлович Константинов не дожил до её появления – он скончался 9 июля того же года. После его смерти пропаганда антивещественной природы комет и метеоров прекратилась. Но организованный Борисом Павловичем в Физтехе отдел астрофизики выполнил с тех пор немало интересных и нужных исследований. Так иногда даже ошибочная идея может принести пользу.

Я – ГЕНИЙ СТАНЮКОВИЧ

С Кириллом Станюковичем мы познакомились в 1932 году, когда я, 14-летний любитель звёздной науки, пришёл в Московское общество любителей астрономии. Была в этом обществе секция, или, лучше сказать, автономная организация, называвшаяся Коллектив наблюдателей, сокращенно Колнаб. Её целью были

организация научно ценных любительских наблюдений Солнца, планет, Луны, комет, метеоров, переменных звёзд, солнечных и лунных затмений и других объектов и явлений, обработка этих наблюдений и публикация результатов. В метеорном отделе Колнаба моё внимание привлёк худенький паренёк в очках, который весьма бойко давал наставления наблюдателям и тем, кто вёл обработку наблюдений. Он был старше меня всего двумя годами, но намного опытнее. Я как раз взялся за обработку наблюдений 425 метеоров, не принадлежавших к известным потокам.

– Берёте карту, – поучал он меня, – измеряете координаты метеоров, альфу и дельту, и переносите метеор на карту в гномонической проекции. Вот по этим правилам определяете радиант. Затем надо вычислить то-то и то-то вот по этим формулам.

Меня поразило, что он обращался ко мне на «вы». Это и был Кирилл Станюкович.

В свои молодые годы он внёс заметный вклад в метеорную астрономию. В 1932 году совместно с И. Е. Васильевым впервые в СССР получил фотографию метеора через обтюратор с двух пунктов, что позволило вычислить его высоту, траекторию, скорость и торможение в атмосфере. Все эти данные он получил вместе со своим старшим товарищем В. В. Федынским (будущим членом-корреспондентом АН СССР), выявив заодно наличие на высоте около 80 км холодного слоя атмосферы, который мы теперь называем мезопаузой.

В 1937 году Кирилл Станюкович разработал теорию образования кратеров при ударе о поверхность планеты крупных метеоритов. Но опубликовать её тогда не удалось. Лишь через десять лет в «Докладах Академии

наук СССР» была напечатана статья К. П. Станюковича и В. В. Федынского «О разрушительном действии метеоритных ударов» – классическое исследование по теории образования метеоритных кратеров на Луне, планетах и их спутниках.

Во время войны Кирилл Станюкович работал в КБ, изучавшем различные взрывные явления. Эта работа привела его в газовую динамику. Он близко сошёлся с Ландау (у них есть три совместные работы, опубликованные в 1945 году) и с Я. Б. Зельдовичем (с ним у Кирилла Петровича тоже есть совместная работа). В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1946 году – докторскую. Тема докторской – «Газовая динамика неустановившихся движений и теория детонации». В 1948 году вышла его первая монография «Теория неустановившихся движений газа». Казалось бы, молодого, активно работающего доктора наук ожидает скорое избрание в члены-корреспонденты, затем – в академики. Ведь он в 50-е годы работал, как вол.

В члены-корреспонденты АН СССР Кирилла Петровича представляли не один раз. И каждый раз проваливали. Почему? Он был весьма невоздержан на язык: не стеснясь, ругал и отдельных академиков, и порядки в Академии наук. Сведения об этих высказываниях, несомненно, доходили до руководства Академии. Как и его самооценки. Кирилл Петрович был о себе достаточно высокого мнения, чего и не скрывал. Вот строки эпиграммы, написанной его коллегой профессором А. С. Компанейцем:

Я – гений Станюкович,
Я к трудностям привык,

Передо мной Зельдович

Склонился и поник.

В начале 60-х годов Кирилл Петрович вдруг оставляет газовую динамику и обращается к теоретической физике. В 1965 году выпускает новую монографию: «Гравитационное поле и элементарные частицы», в которой подверг ревизии некоторые положения общей теории относительности Эйнштейна. Кирилла Петровича не устраивала гипотеза Большого взрыва, получившая в наши дни всеобщее признание. Он выдвинул собственную гипотезу – о «планкеонах», особых частицах, представляющих собой замкнутые миниатюрные вселенные – массой в одну стотысячную грамма. (Почти одновременно такую же идею выдвинул академик М. А. Марков, назвав свои частицы максимонами.) Пока планкеон замкнут, он не взаимодействует с окружающим миром, но, взрываясь, присоединяет свою массу к массе Метагалактики. Таким образом, Метагалактика расширяется, а её масса постепенно возрастает. Фундаментальные физические константы (например гравитационная постоянная) изменяются со временем. Все эти предположения были взаимосвязаны, и вся теория хорошо обоснована математически.

Как же отнесся к новой теории научный мир? В начале 1966 года в журнале «Успехи физических наук» против неё выступили академик Зельдович и профессор Я. А. Смородинский. Станюкович опубликовал свои возражения. Его оппоненты тоже в долгу не остались. И на этом дискуссия закончилась.

А. С. Компанеец сочинил тогда такие стихи:

Грядущий Гейзенберг в 15 лет в Тамбове
В недобрый час прочёл творенье Станюка.
И сила гения развеялась на слове,
Стал Иваненкою и тронулся слегка.
Видением таким бессонной ночью мучась,
Два ярых Якова, язвительны и злы,
Решили отвратить провинциалов участь,
Когда из мудрецов рождаются ослы.
И в муках вылилась рецензия на книгу,
Где гравитацию насильствовал Станюк,
По безобидности напоминая фигу,
Сокрытую от глаз на дне кармана брюк.
И с облегчением дыша высокой грудью,
Заздравный осушил Станюк за них фиал.
А толпы гениев растаяли в безлюдье,
Тамбовский Гейзенберг самим собой не
стал.

«Грядущий Гейзенберг», Дмитрий Дмитриевич Иваненко, независимо от Станюковича разработал теорию гравитации за счёт излучения телами «частиц тяготения» – гравитонов.

Рецензию «двух ярых Яковых» (Зельдовича и Смородинского) Компанеец считал безобидной – сам он был ещё более резкого мнения о труде Станюковича.

Своё стихотворение он рискнул прочитать на довольно представительном научном форуме.

– Раньше за такие вещи вызывали на дуэль! – с возмущением заявил Кирилл Петрович.

Вернёмся от стихов и дуэлей к реальной действительности. В 1967 году вышла капитальная монография Я. Б. Зельдовича и И. Д. Новикова «Релятивистская астрофизика». В ней, между прочим, довольно много говорилось о гравитонах, упоминались максимоны Маркова, авторы делали совершенно справедливое замечание о том, что пока ещё нет надёжной квантовой теории гравитации. Но монография Станюковича упоминается в этой книге только один раз, и то лишь с целью критики его идеи. Я. Б. Зельдович и вся его школа (И. Д. Новиков и другие исследователи) замалчивали работы Станюковича.

Тогда Кирилл Петрович создал свою собственную научную школу, объединившую группу молодых физиков. Ежегодно они стали выпускать сборники «Проблемы гравитации и теории элементарных частиц», где разрабатывали отдельные аспекты теории Станюковича и собственные нетрадиционные идеи.

Нужен был решающий эксперимент, чтобы подтвердить (или опровергнуть) его теорию. Были выделены средства (и притом немалые) для проверки теории и её возможных практических применений (суливших, как утверждал Кирилл Петрович, овладение новыми источниками энергии). Эксперимент не дал ожидаемых результатов. Деньги были израсходованы впустую. Станюковича сняли с должности заместителя директора института. Хорошо ещё, что он был беспартийным!..

Он не утратил привычной бодрости и уверенности в своей правоте. Дни и ночи проводил за письменным столом.

В 1971 году была переиздана его монография «Неустановившиеся движения сплошной среды», а ещё через четыре года – «Физика взрыва». В этих областях науки он оставался общепризнанным авторитетом. Но до конца жизни тяжело переживал непризнание его работ по теории гравитации и космологии, так же, как и неизбрание в Академию наук.

Кирилл Петрович скоропостижно скончался 4 июня 1989 года в возрасте 73 лет. Ни в одном из биографических справочников издательства «Наукова думка»: «Физики», «Математики, механики», «Астрономы» – мы не найдём его фамилии.

СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

В напечатанной в февральском номере «Химии и жизни» за 1989 год новелле «История одной ненависти» Иосиф Самуилович Шкловский с присущим ему блеском рассказывает о конфликте между двумя исследователями верхних слоёв атмосферы – В. И. Красовским и И. А. Хвостиковым. Иван Андреевич Хвостиков представлен у него эдаким лжеучёным, обманом получившим Сталинскую премию. Увы, описанный Иосифом Самуиловичем факт действительно имел место, однако он совсем не характерен для Хвостикова как учёного.

В 1936 году я начал заниматься серебристыми облаками. После войны продолжал наблюдения, а в

1950 году составил их сводку. Вот тут-то я и познакомился с Иваном Андреевичем, автором известной в ту пору монографии «Свечение ночного неба». Дальше произошло что-то странное. Какие-то неведомые мне силы подхватили мою статью, и она очутилась в редакции «Докладов Академии наук СССР». Вверху статьи стояло: «Представлена академиком Л. С. Лейбензоном», хотя с почтенным Леонидом Самуиловичем я вообще не был знаком, он работал в области механики и гидродинамики.

А потом всё резко изменилось. Мало того, что статья не пошла, но мне объявили, что тема засекречена, и письменно потребовали сдать все имевшиеся у меня материалы и «чреновики» (именно так там было написано). Я ответил, что засекречивать данные о серебристых облаках бессмысленно, так как пара любителей астрономии, вооружившись обычными фотоаппаратами и разойдясь на 10-15 км, может за одну ночь получить все эти «секретные» данные (имелись в виду высоты и скорости дрейфа серебристых облаков). Сдавать «чреновики» я отказался. Как это ни странно, но мой дерзкий поступок не имел для меня никаких неприятных последствий.

Прошло два года, и не кто иной, как И. А. Хвостиков сумел сорвать с серебристых облаков завесу секретности. Он опубликовал статью, в которой доказывал, что эти облака состоят из кристалликов льда (до тех пор большинство учёных считали, что из продуктов разрушения метеорных тел). Чтобы льдинки могли образовываться на высоте 80 км, там должны царить очень низкие температуры – около 200 К. А согласно всем принятым в то время моделям атмосферы они считались куда более высокими. Правда, начиная с

1947 года этих высот стали достигать наши исследовательские ракеты. Но результаты исследований засекречивались. Хвостикову они были известны, и он, не указывая источник, опубликовал график изменения температуры с высотой, из которого следовало, что в узком слое между 78 и 84 км могут конденсироваться кристаллики льда. Работа Хвостикова просто и изящно объясняла узкий высотный диапазон, в котором наблюдаются серебристые облака.

Но вскоре против неё выступил (на страницах «Известий АН СССР, серия геофизическая») В. М. Морозов, пытавшийся доказать, что ничего нового в работе Ивана Андреевича нет – такие взгляды высказывались, мол, ещё в 20-30 годы, а главное, для реализации его модели недостаточно низких температур – нужна ещё определённая концентрация водяного пара. Иван Андреевич дал Морозову достойную отповедь на страницах того же журнала.

Но в своём последнем утверждении Морозов был совершенно прав: без достаточного количества водяного пара образование кристалликов льда было бы невозможно.

Приближался Международный геофизический год. В рамках этого мероприятия намечалась и обширная программа наблюдений серебристых облаков. Возглавил это дело известный ленинградский специалист по физике планет профессор В. В. Шаронов. Хвостиков был утверждён его заместителем. В работу включились научные учреждения Москвы, Ленинграда, Латвии, Эстонии, Рязани, городов Сибири и Урала. В зону серебристых облаков для измерения температуры были

запущены ракеты. Температура оказалась вполне подходящей для образования кристалликов льда.

Теперь для полного торжества конденсационной гипотезы не хватало одного: водяного пара. Запуски ракет для измерения его концентраций были проведены уже в 60-х годах под руководством Андрея Всеволодовича Федынского (сына члена-корреспондента АН СССР В. В. Федынского). Они дали благоприятные результаты: в соединении с весьма низкими температурами в мезопаузе (около 150 К) концентрация водяного пара была достаточной для образования там слоя ледяных кристаллов.

В конце 1964 года умер профессор В. В. Шаронов. Теперь рабочую группу по серебристым облакам Межведомственного геофизического комитета возглавил Иван Андреевич Хвостиков. И руководил ею до самой кончины – в 1969 году.

Для меня ясно, что срыв, описанный Шкловским, был для Ивана Андреевича случайным. В середине 60-х годов он выпустил две большие монографии: «Физика озоносферы и ионосферы» и «Высокие слои атмосферы». Они и сейчас не потеряли своего значения.

АСТРОНОМ КРОНИД ЛЮБАРСКИЙ

В феврале 1972 года Иосиф Самуилович Шкловский и академик А. Д. Сахаров подписали письмо в защиту диссидента Кронида Любарского. Я знал этого человека чуть ли не с его школьных лет, да и Иосиф Самуилович,

прежде чем подписать упомянутое письмо, советовался со мной. Поэтому нелишне будет кое-что здесь о Любарском рассказать.

Детские и юношеские годы Кронида Аркадьевича прошли в Симферополе. Там, в самом конце 40-х годов, он вместе с Василием Мартыненко и Павлом Чугайновым организовал Симферопольское общество юных любителей астрономии (СОЛА).

Кронид Любарский был одним из активнейших членов СОЛА и в дальнейшем избрал астрономию своей профессией. Он поступил на физфак МГУ, окончил его и уехал в Ашхабад, где занялся оптическими и радионаблюдениями метеоров.

Он начал печататься, будучи ещё членом СОЛА; в студенческие годы опубликовал несколько серьёзных работ, в частности по анализу обстоятельств падения некоторых метеоритов; составил второй в СССР каталог ярких метеоров, при полёте которых были слышны треск или шорох (как установлено сейчас, эти звуки имеют электромагнитное происхождение). В 1966 году Любарский защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Космические лучи и возраст метеоритов»; он подверг анализу около 400 метеоритов и по трекам от космических лучей определил их возраст – от нескольких миллионов лет для каменных метеоритов до сотен миллионов для железных.

Было у Кронида Аркадьевича ещё хобби: астробиология. Вопреки утверждению Шкловского, Любарский никогда не работал у Г. А. Тихова. У него был свой собственный взгляд на возможность растительной жизни на Марсе, и он изложил его сначала в двух статьях, написанных с крымским астрономом

Б. М. Владимирским, а затем в небольшой книжке «Очерки по астробиологии», которая вышла в 1962 году в издательстве «Наука».

После защиты кандидатской диссертации в жизни Кронида Аркадьевича начались первые невзгоды. Его лишили московской прописки на том основании, что она была временной, на срок аспирантуры. Пришлось переехать в Черноголовку, где ему (кандидату наук!) предложили заведовать школьной обсерваторией.

Столкновение с нашей бюрократической системой, видимо, и привело Кронида Любарского в лагерь диссидентов. Но – обо всём по порядку.

Кажется, в 1968 году в штат аппарата Центрального совета ВАГО (Всесоюзного астрономо-геодезического общества), где я занимал пост учёного секретаря, была введена должность референта. По рекомендации руководителя астрономического кружка Московского дворца пионеров Б. Г. Пшеничника на эту должность был принят его питомец Владимир Попов. Парень был какой-то странный, с ним то и дело приключались неожиданные события. То его задерживали в запретной зоне в Крыму, то он попадал не в те города, куда его командировали, а в другие. Мы не знали тогда, что он развозил по этим городам самиздатовскую литературу.

В ноябре 1970 года в Казани собрался V съезд Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Незадолго до начала съезда меня пригласил к себе председатель Казанского отделения ВАГО, директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгарда профессор А. А. Нефедьев и, положив перед собой список делегатов съезда, показал обведённую

карандашом фамилию Попова (он был избран делегатом от Московского отделения ВАГО):

– Скажите, кто это такой? Дело в том, что им заинтересовалось Чёрное Озеро.

Через некоторое время за мной заехали вежливые молодые люди, посадили в машину, вывезли куда-то за город, в пустынное место, остановили машину и стали показывать фотографии:

– Скажите, это Попов? А это – Любарский? А это?..

Мне казалось, что всё происходит не на самом деле, а в каком-то детективном фильме, где я играю чью-то роль. Молодые люди после показа фотографий отвезли меня обратно в гостиницу. Ни с Поповым, ни с Любарским тогда ничего не случилось.

Но после возвращения в Москву меня стали таскать уже на Лубянку. Спрашивали о Попове, о Любарском и об одном ленинградском парне по фамилии Мельник.

О Любарском я сказал буквально следующее (и это было записано в протоколе допроса и подписано мною): «Я считал его талантливым учёным и хорошим человеком. О каких-либо действиях с его стороны, направленных против советского государства, мне ничего не известно».

Затем ко мне обратился адвокат Любарского Юдович, которому я, естественно, тоже рассказал о Крониде Аркадьевиче только хорошее.

И уже после всего этого ко мне подошёл в ГАИШе Иосиф Самуилович Шкловский:

– Скажите, кто он такой, этот Любарский, что он сделал в науке?

Я кратко перечислил основные работы Кронида Аркадьевича по метеоритам, назвал его диссертацию и книгу по астробиологии. Иосиф Самуилович кивнул, но больше ничего не сказал. Лишь теперь я узнал, зачем ему были нужны эти сведения.

Любарского судили за издание диссидентской «Хроники текущих событий» и дали ему пять лет.

Когда срок заключения истёк, Кронида Аркадьевича освободили и предложили на выбор два места проживания: Тарусу или Китаб. В Тарусе не было астрономических учреждений. В Китабе была широтная станция, но климат там слишком тяжёл. Этим двум городам Любарский предпочёл Мюнхен. Он уехал из нашей страны и стал работать на радиостанции «Свобода». Недавно был в Союзе – его показывали по телевидению. Внешне он мало изменился. Но своих бывших коллег по метеорной астрономии решил «не беспокоить». Трудно сказать, почему именно. Живя в ФРГ, он окончательно бросил науку и занимается только политикой. Ну, что же, у каждого своя судьба.

«Химия и жизнь».

Отклики читателей

В журнале «Химия и жизнь» № 2 с.г. помещены литературные страницы «Эшелон» И. С. Шкловского. В них автор со слов астрофизика Гневышева без всяких документальных подтверждений возлагает ответственность за аресты в Пулковской обсерватории и Астрономическом институте в 1936 году на моего отца чл. – корр. АН СССР Б. В. Нумерова, незаконно репрессированного 22 октября 1936 года, расстрелянного 1 сентября 1941 года в г. Орле и посмертно реабилитированного 14 мая 1957 года. Мой отец был основателем и директором (1919—1936 гг.) Астрономического института (ныне ИТА АН СССР), автором более 250 научных трудов, внёсшим большой вклад в отечественную астрономию и геофизику.

Безответственное обвинение в адрес моего отца в упомянутых литературных записках сопровождается неопределённостями и условностями типа «видимым образом», «некий аспирант», а также упоминанием о допросе, на котором, можно подумать, присутствовал сам автор; никаких ссылок в записках на архивные документы или свидетелей нет. Приговор отцу был вынесен 25 мая 1937 года, а директор Пулковской обсерватории Б. П. Герасимович был арестован много позднее, и вместе с рядом сотрудников проходил по другому сфабрикованному делу. Добавлю также, что сам Н. А. Козырев, впоследствии неоднократно встречаясь с моей матерью и сестрой, астрофизиком, никогда ничего подобного из изложенного автором не упоминал.

После прочтения «литературных страниц» И. С. Шкловского складывается явное впечатление, что автор записок не знаком с судьбой моего отца, однако позволяет себе в весьма легковесной форме излагать события того времени.

Редакционной коллегии журнала АН СССР следовало бы быть более ответственной при публикации материалов на подобные темы, их необходимо тщательно проверять, чтобы не порочить память о людях, ушедших преждевременно и трагически из жизни, и не вводить в заблуждение ныне живых людей.

Дочь Б. В. НУМЕРОВА,
ОКАТОВА Ирина Борисовна,
Ленинград

«Химия и жизнь».

Отклики читателей

Какое тяжёлое и неприятное чувство возникает при чтении очерка «Эшелон» в № 2 журнала «Химия и жизнь» за 1989 г. Это посмертная публикация записок члена-корреспондента АН СССР И. С. Шкловского. Полная бездоказательность тяжких обвинений, предъявляемых двум учёным (астрономам) – М. С. Эйгенсону и Б. В. Нумерову, заставляет написать возражение против данной статьи. Сейчас, как никогда раньше, идёт принципиальный спор о правомерности тяжёлых наказаний (в частности, смертной казни) за самые зверские сознательные злодеяния и большинство приходит к заключению, что лучше оставить десять преступников ненаказанными, чем обвинить одного невинного. А тут, после одной доверительной беседы с «флегматичным толстяком» М. Н. Гневышевым (одновременно любясь красотами Эльбруса), автор приходит к выводам о причине Пулковской трагедии, достоверная история которой до сих пор никому не была известна.

Пулковцы знали только одно: ночью регулярно приезжала спецмашина и увозила какую-нибудь семью. Остальные семьи с трепетом ждали своей очереди. О причинах выбора той или иной семьи в те времена не знал никто из живущих в Пулкове. Слухи и домыслы при этом, конечно, возникали в изобилии, но с работой НКВД связывать их было бессмысленно. Кто был свидетелем произвола тех лет, это прекрасно знает. В качестве подтверждения можно привести случай с арестом семьи

член-корра В. Н. Бенешевича. В том же 1937 году в сентябре однажды пришли с ордером на арест сына Димитрия, но его дома не застали, тогда забрали его брата Георгия и на протест матери в связи с отсутствием ордера ответили: какая разница, выпишем потом, важно количество. Так что основывать обвинения на одной беседе с «флегматичным толстяком» Гневышевым предельно безответственно. Субъективность автора сказалась даже в характеристике своего собеседника. Это отнюдь не флегматичный и, к сожалению, далеко не безобидный человек. В живых нет ни Нумерова, ни Эйгенсона, и оправдаться они уже не могут. Постараемся выступить за них.

Весь текст стр. 77 свидетельствует о неверном представлении развития событий. В то время законом было полное отсутствие сведений «оттуда», во всяком случае, очень долгое время после ареста. Весь этот логический ход рассуждений о том, как развивались события и что следовало после чего, является чистым домыслом. А уж рассуждение о том, что Пулковская обсерватория пострадала по собственной вине в большей степени, чем другие астрономические учреждения, так как не умела за себя постоять, а в других местах нашлись решительные люди, которые дали отпор органам НКВД – просто сказка для двухлетних детей. Нельзя забывать вес Пулковской обсерватории в те годы и её связи с мировой наукой, которые сочли нужным оборвать. Потом понятие «отпор» в те годы! При аресте директора Пулковской обсерватории Б. П. Герасимовича были обнаружены письма известного астронома Кирилла Фёдоровича Огородникова, зимой 1938 года Кирилла Фёдоровича в связи с этим «прорабатывали» на открытом собрании. Обвинительную речь произносил какой-то журналист.

Кирилл Фёдорович был растерян и выглядел совершенно беззащитным. Он всё повторял, что письма его были деловые, научные. Порицания высказывал и Эйгенсон, секретарь парторганизации обсерватории. Конечно, оставаться в стороне и промолчать он не мог, не те были времена. Но, к счастью, всё ограничилось выговором и, может быть, эта официальная «проработка» с осуждением и помогла Кириллу Фёдоровичу уцелеть. В дальнейшем Кирилл Фёдорович до конца жизни М. С. Эйгенсона, который умер рано, был с ним в добрых отношениях. Позже сын Г. Н. Неуймина (всем известного астронома) Ярослав Григорьевич рассказывал о том, что все сотрудники Симеизской обсерватории и их семьи, включая академика Г. А. Шайна, Г. Н. Неуймина и других ведущих астрономов, считали себя обязанными М. С. Эйгенсону за своё спасение во время войны от немецкой оккупации. Благодаря его исключительной энергии и успешно организованной эвакуации им удалось вырваться из немецкого кольца. Не случись этого, уж Григория Абрамовича мы не досчитались бы, а, может быть, и остальных учёных. Как мало мы вспоминаем то хорошее, что сделали люди.

Т. В. КРАТ,

кандидат физ. – мат. наук,

бывший сотрудник Пулковской обсерватории,

Н. К. НЕУЙМИНА-ОГОРОДНИКОВА,

член СП, зав. отделом

журнала «Звезда» (Ленинград)

«Химия и жизнь».

Отклики читателей

Пишу вам по поводу опубликованных в вашем журнале эссе большого учёного, талантливое и интересного человека Иосифа Самуиловича Шкловского, с которым я достаточно близко познакомился во время совместной трёхмесячной экспедиции в Бразилию. Мы с ним подружились, и последнее предсмертное письмо его написано мне.

Все эссе очень интересны, талантливо написаны, и хорошо сделала редакция журнала, опубликовав часть из них и по просьбе многих читателей решив продолжать их публикацию.

В своем первом эссе, посвящённом репрессиям 1937 года в Пулковской обсерватории, он ссылается на меня как на одного из источников информации. При этом, как и при чтении последующих эссе, нужно иметь в виду следующее.

Они напечатаны после его смерти, и он не мог предполагать, что это будет, так как тогда об этом нельзя было и мечтать. Поэтому, естественно, никакой авторской подготовки к печати не было. К сожалению, и мне, единственному ещё живому свидетелю тех событий, они показаны не были.

У нас действительно в Кисловодске был разговор, во время которого он спросил меня, что мне известно по поводу происходивших при мне арестов. Когда я рассказывал, то он ничего не записывал, и я не

предполагал, что в результате появится эссе, написанное им по памяти, которое затем было опубликовано.

Учитывая условия написания этих эссе и отсутствие авторского или другого редактирования, естественно ожидать появления ошибок. На две из них я хочу обратить ваше внимание.

1. При разговоре с И. С. Шкловским никакого упоминания о Б. В. Нумерове не было и не могло быть, потому что я с ним не был знаком, ни разу не говорил; жил он не в Пулкове, мы с ним разных специальностей, и он, будучи директором Астрономического института, в Пулкове не работал. Я о нём знаю только, что он был большим учёным.

Никакого разговора о причинах арестов как Б. В. Нумерова, так и всех пулковских сотрудников, также не было, так как я об этом, естественно, не мог знать и сейчас не знаю. Единственно, от кого И. С. Шкловский мог почерпнуть такую информацию, это от Н. А. Козырева, арестованного вместе с Б. В. Нумеровым и некоторое время находившегося вместе с ним. Он единственный возвратившийся, но сейчас тоже покойный. И. С. Шкловский был с ним дружен, и они, будучи вместе в Крымской обсерватории, много разговаривали.

Конечно, о причинах арестов ходило много слухов, но в том, что я слышал, нет упоминания о Б. В. Нумерове. Говорить о них нет смысла, так как они бездоказательны. О варианте, описанном И. С. Шкловским, я узнал только из публикации.

То, что мне известно об арестах в Пулкове, я опубликовал в 21-ом томе «Историко-астрономических

исследований», в воспоминаниях о Пулковской обсерватории в связи с её 150-летием.

Очевидно, что И. С. Шкловский смешал информацию, слышанную от меня, с полученной им от Н. А. Козырева, что не удивительно, учитывая условия, в которых писались эссе, и отсутствие редакционной подготовки автором.

2. Во время арестов в Пулкове М. С. Эйгенсон ещё не был не только секретарём парторганизации, но и членом партии. Я не думаю, что М. С. Эйгенсон сам в этом случае писал доносы. Что касается мнения И. С. Шкловского о М. С. Эйгенсоне, то они имели достаточное количество прямых контактов, и И. С. Шкловский не имел необходимости в его характеристике от кого-нибудь другого, в том числе и от меня.

Дочь Б. В. Нумерова (Журнал «Химия и жизнь» № 9 за 1989 г.) зря обижается за своего отца, так как даже если был вариант, описанный И. С. Шкловским, то известно, что «следствия» проводились таким образом, что люди «признавались» в чём угодно, оговаривая не только других, но и самих себя в преступлениях, за которые полагалась казнь.

Что же касается, напечатанного там же странного, довольно недружелюбного «отклика» Т. В. Крат, то из него я впервые за свои 75 лет узнал, что я «не безобидный толстяк», о чём Т. В. Крат голословно решила сообщить всему свету. К сожалению, Т. В. Крат не сообщила, кого и как я обидел.

Доктор физико-математических наук

М. Н. ГНЕВЫШЕВ,

Кисловодск

От редакции. Сожалеем о моральном ущербе, невольно причинённом родным и близким Б. В. Нумерова и М. С. Эйгенсона и приносим свои извинения за недостаточно тщательную подготовку к печати архивных материалов.

Примечания

1.

Здесь важно подчеркнуть именно органичность сквернословия у людей, впитавших это с молодых ногтей. Никогда не забуду, как где-то около 1960 года, на заре космической эры, проводивший важное совещание в своём кабинете на Миусах Келдыш неожиданно скверно выругался. Это он сделал явно сознательно, подлаживаясь под стиль грубиянов-конструкторов и разработчиков. В устах интеллигентнейшего, никогда не повышавшего голоса Главного Теоретика матерщина прозвучала неестественно, дико. Я потом проверял на многих участниках совещания – всем было неловко, люди не смотрели друг другу в глаза. А вот у бывшего зэка Сергея Павловича Королева матерщина, право же, ласкала слух... [назад к тексту](#)

2.

Говорят, здание это восстановлено и украшено весьма оригинальными, хотя и не вполне пристойными, барельефами работы Эрнста Неизвестного. [назад к тексту](#)

3.

В это время Андрей Дмитриевич Сахаров уже отбывал горьковскую ссылку. – *Ред.*

[Кстати, сам [Сахаров](#) говорил по поводу книги Гайтлера другое: «В своих воспоминаниях Шкловский рассказывает, что я брал у него в эшелоне книгу Гайтлера „Квантовая механика“ и запросто одолел её. К сожалению, эта история, по-моему, целиком плод

богатого воображения Иосифа. Гайтлера я впервые прочитал уже будучи аспирантом – в 1945 или, верней, 1946 году». – *Е.Г.А.*] [назад к тексту](#)

4.

Автор имел в виду рассказ Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Фёдора Кузмича». – *Ред.* [назад к тексту](#)

5.

С фотографической точностью я помню цены тех далёких довоенных лет: кило чайной колбасы 8 р., сосиски 9.40, сардельки 7.20, ветчина 17, сливочное масло 17.50, икра красная 9, кета 9, икра чёрная 17, десяток яиц 5.50. Кило чёрного хлеба 85 коп., кило серого 1.70. В углу лавочки месяцами пылились деликатесные копчёные колбасы, для нас, студентов, совершенно недоступные – с нашими 150 руб. стипендии в месяц. Её не хватало. К концу месяца переходили на полутюремный режим питания: кило серого, немного сахару и кипяток. А в жирные недели первой половины месяца – обычная дилемма при покупке в лавочке провианта: 200 г сосисок или 200 г красной икры. Добавлю к сказанному, что колбаса была из чистого мяса, и никаких очередей. Фантастика! Зато с промтоварами положение было катастрофическое. Я ходил в обносках; зимой – в старых валенках, почему-то на одну – левую – ногу. Впервые в своей жизни плохонькие новые брюки купил, когда мне исполнилось 20 лет. А первый в моей жизни костюм я заказал, будучи уже женихом. Для этого нам с моей будущей женой Шурой пришлось выстоять долгую зимнюю ночь в очереди в жалкое ателье около Ржевского (ныне Рижского) вокзала. [назад к тексту](#)

6.

В те годы я как никогда раньше много и успешно рисовал с натуры, преимущественно портреты моих товарищей по общежитию, увлекался новой для меня техникой – сангиной и тушью. Сеансы обычно длились 40 минут, больше натурщики не выдерживали. Я достиг своего пика в искусстве портрета как раз в это время. Почти все портреты я раздал ребятам. Кое-что осталось – иногда я сам удивляюсь, как это я мог так рисовать – ведь никогда не учился! В 1938 году я резко и навсегда бросил искусство, о чём никогда не жалел. [назад к тексту](#)

7.

Спустя несколько лет после Бразильской экспедиции с «Не Эвклидом» произошёл забавный случай. Как раз в это время главный мулла города Ленинграда, хозяин знаменитой мечети, что на Петроградской стороне, многие годы не имевший связи с Меккой, а также Мединой, окончательно запутался в мусульманском лунном календаре: праздники перестали совпадать с надлежащими фазами Луны, что вызывало смущение и даже ропот немногочисленных правоверных жителей Северной Пальмиры. И тогда служитель культа принял единственно разумное решение; он направил свои стопы в «Астрономическую столицу мира». Естественно, он попал к учёному секретарю этого старинного учреждения, т. е. к «Не Эвклиду». Учёный секретарь пообещал мулле – правда, за вознаграждение, и немалое, – привязать мусульманские праздники к лунным фазам. Спустя короткое время знаток Корана получил таблицы и на их основе стал исполнять свои магометанские требы. Увы, очень скоро мулла убедился, что всё осталось по-прежнему: праздники снова не

совпадали с фазами! И тогда до него дошло, что он пал жертвой собственной доверчивости. А ведь мулла был не только служителем культа, но и советским человеком: у него появилась непреодолимая потребность жаловаться. И снова старик пошёл в Пулковское и пробился к директору Пулковской обсерватории Александру Александровичу Михайлову – человеку строгому, педантичному, типичному астроному-классику, а главное – по-старинному порядочному. К слову, он был начальником Бразильской экспедиции, но на «Грибоедове» не плавал.

Выслушав посетителя, А.А. вызвал учёного секретаря. Последний обрушился на муллу, вопя:

– ...чего он хочет от меня, ведь церковь у нас отделена от государства!

Михайлов сухо заметил:

– Церковь у нас, конечно, отделена от государства, но астрономические вычисления извольте выполнять без ошибок!

И приказал повторить вычисления – и чтобы ошибок не было! При этом Михайлов в самой решительной форме приказал мулле, чтобы впредь тот не вздумал платить «Не Эвклиду».

Эту историю рассказал мне сам ныне здравствующий патриарх нашей астрономии Александр Александрович Михайлов, который и сейчас, в свои 93 года, сохранил полную ясность ума и прекрасную память. [назад к тексту](#)

Известна горькая моряцкая шутка тех времён, что, мол, самый длинный в мире корабль – это «Двина»: её нос в Севастополе, а корма – в Константинополе. Именно в эти порты были отбуксированы носовая и кормовая части злосчастной «Двины». [назад к тексту](#)

9.

Впрочем, проблема взаимоотношений пассажиров и корабля далеко не всегда решается однозначно. Я много общался с моими американскими коллегами во время грязной вьетнамской войны. И никогда ни я, ни другие советские астрономы этих пассажиров не связывали с империалистическим кораблем заокеанской сверхдержавы. Стоило бы разобраться в природе такой асимметрии. Это, однако, выходит за пределы моей компетентности. [назад к тексту](#)

10.

Через несколько дней после этого, уже когда мы плыли в Аргентину, я взял у А.А. реванш. Как-то в кают-компании за послеобеденным трёпом я решил продемонстрировать свою эрудицию, процитировав по памяти прелестный афоризм Анатоля Франса: «...в некоторых отношениях наша цивилизация ушла далеко назад от палеолита: первобытные люди своих стариков съедали – мы же выбираем их в академики...» Присутствовавший при этом А.А. даже бровью не повёл – всё-таки старое воспитание, – но навсегда сохранил ко мне настороженно-холодное отношение. [назад к тексту](#)

11.

Не исключено, что это озорство мне дорого обошлось. Во всяком случае, следующие 18 лет за

границу не выпускали, хотя никаких других «грехов» за мной не было. [назад к тексту](#)

12.

Через несколько месяцев я случайно встретил в Москве на Моховой корреспондента ТАСС Калугина. Он поведал мне, что на следующий день после нашего шахматного дебюта местная пресса вышла с громадными шапками: «Грандиозная победа наших шахматистов над советскими мастерами». Вот так-то... [назад к тексту](#)

13.

Разумеется, не может быть и речи о стихийном развитии этого процесса в нашей стране. Стихийно у нас, как известно, ничего не делается. Во всём чувствовалась железная направляющая рука – рука Лучшего Друга Всех Народов – больших и малых. [назад к тексту](#)

14.

Эта особа в «деле врачей» сыграла примерно такую же роль, как за сорок лет до этого Вера Чебыряк в деле Бейлиса. Тимашук наградили орденом Ленина. [назад к тексту](#)

15.

Тем самым был выпущен из бутылки чудовищной разрушительной силы джинн, которого, по разумению свергнувших Хрущёва (восемью годами позже) лиц, необходимо было загнать обратно. Слава богу, окончательно это не удалось сделать и до сих пор. [назад к тексту](#)

16.

Доходило до смешного. Известные строки из лермонтовского «Демона»: «...бежали робкие грузины» в

течение четверти века печатались и декламировались как «...побеждены врагом грузины». [назад к тексту](#)

17.

Это выражение принадлежит Я. Б. Зельдовичу. «2-я космическая скорость» сообщается телу, в данном случае человеческому, – при поездке в капстрану. [назад к тексту](#)

18.

Сергей Николаевич был личностью совершенно легендарной. Например, с ним случилась, притом как раз в описываемое время, такая история. Во время очередной кампании за повышение трудовой дисциплины посещение лекций сделали строго обязательным. С.Н. читал курс общей астрономии на физическом факультете для нескольких сотен студентов. Лекции происходили в знаменитой Ленинской аудитории на Моховой, где скамьи расположены амфитеатром. Журчание старого лектора кое-как можно было слышать только в первых двух рядах, а сидящие выше студенты занимались кто чем. В частности, двое устроились на верхотуре и, нагнувшись, окружённые болельщиками, играли шахматную партию факультетского первенства. На доске создалась острейшая ситуация с «висящими» фигурами. И в этот момент один из игроков сделал грубо ошибочный ход, ломающий всю его партию. Тогда его партнер, забывший всё на свете, радостно рявкнул на всю аудиторию:

– Ну, это муде!

Сергей Николаевич посчитал этот крик души за сомнение пытливого юноши в истинности некоей теоремы, которую он в этот момент доказывал. Прервав доказательство, он неожиданно громким высоким фальцетом проверещал:

– Это не муде, а закон природы!

[назад к тексту](#)

19.

Там между ними как-то имел место такой любопытный разговор.

Перевощиков: Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства помешали Вам заниматься делом – у Вас прекрасные-с были-с способности-с.

Герцен: Не всем на небо лезть. Мы и здесь, на Земле, кое-чем занимаемся.

Перевощиков: Помилуйте – как же это можно-с! Какое это занятие-с! Гегелева философия-с. Ваши статьи читал-с, понимать нельзя-с – птичий язык-с. Какое это дело-с? Нет-с! («*Былое и думы*»).

[назад к тексту](#)

20.

См. прекрасный перевод Маршака:

Мятеж не может кончиться удачей —

В противном случае его зовут иначе...

[назад к тексту](#)

21.

Я считаю Г. А. Гамова одним из крупнейших русских физиков XX века. В конце концов, от учёного остаются только конкретные результаты его труда. Применяя футбольную аналогию, имеют реальное значение не изящные финты и дриблинг, а забитые голы. В этом

сказывается жестокость науки. Гамов обессмертил своё имя тремя выдающимися «голами»: 1) Теория альфа-распада, более обще – «подбарьерных» процессов (1928 г.), 2) Теория «горячей Вселенной» и как следствие её – предсказание реликтового излучения (1948 г.), обнаружение которого в 1965 году ознаменовало собой новый этап в космологии, и 3) Открытие феномена генетического кода (1953 г.) – фундамента современной биологии. Оно, конечно, Гамов – невозвращенец, и это нехорошо. Но можем ли мы представить музыкальную культуру России XX века без имён Шаляпина и Рахманинова? Почему в искусстве это понимают, а в науке – нет? [назад к тексту](#)

22.

Клод Изерли – полковник американской армии, сбросивший с бомбардировщика В-29 первую атомную бомбу на Хиросиму. Через некоторое время после этого измученный раскаянием слабонервный полковник впал в тяжёлую депрессию и окончил свои дни в психиатрической больнице. [назад к тексту](#)

23.

Один знающий человек рассказал мне такую версию этой удивительной истории. На ответственной встрече, которое проводил Берия, обсуждался советский проект организации сложнейшего производства разделения изотопов урана. Работа была выполнена весьма успешно, но для организации производства в заводском масштабе необходимы были ещё некоторые дополнительные эксперименты, на что требовалось полгода. Взбешённый Берия грубо прервал докладчиков и обрушил на них поток грязнейшей ругани – это было у него в обычае. Тогда поднялся Капица и

стал честить ошалевшего обер-палача совершенно в тех же выражениях, сказав в заключение:

– Когда разговариваешь с физиками, мать твою перемать, ты должен стоять по стойке «смирно»!

Налившийся кровью Берия не мог слова вымолвить. На следующий день приказом Сталина Капица был отстранён от всех своих постов, после чего вплоть до 1953 года фактически находился под домашним арестом.

[назад к тексту](#)

24.

Раскаяние пришло к Роберту Оппенгеймеру значительно позже, и он имел большие неприятности.

[назад к тексту](#)

25.

Выборный термин, означающий кандидата, у которого *нет шансов* быть избранным. Кандидаты, явно проходящие на выборах, естественно, «*проходимцы*».

[назад к тексту](#)

26.

Для избрания достаточно получить свыше двух третей голосов. Между тем конкурс фантастически велик. Например, на последних выборах по нашему отделению на две вакансии членкоров было выдвинуто 96 кандидатов! Потом, правда, подбросили ещё три вакансии, одну из которых так и не использовали, так как после трёх туров голосования ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. [назад к тексту](#)

27.

По одному из отделений забодали сына Щёлокова.
[назад к тексту](#)

28.

И. М. Гельфанд стал действительным членом АН СССР лишь в 1984 году. Новелла «Академические выборы» была написана И. С. Шкловским несколькими годами раньше. – *Ред.* [назад к тексту](#)

29.

Кстати, о «псах-рыцарях». Свои «Хронологические выписки» Маркс никогда не собирался публиковать. Он писал страшно неразборчивым почерком, к тому же готическим шрифтом. Когда в ИМЭЛе эту сырую рукопись переводили, переводчик вместо «Bundesritters» перевёл «Hundesritters» (буквы «В» и «Н» в готическом шрифте очень похожи). А поскольку это лингвистическое открытие вполне соответствовало патриотическим настроениям того времени, ни у кого не возникло сомнений в его истинности. [назад к тексту](#)

30.

У меня не было учителей; единственный астроном, оказавший на меня влияние – не столько поучениями, сколько личным примером, – был Шайн. Иногда мы подолгу беседовали. Эти беседы были для меня праздником. Как никто, он обладал ощущением неразрывной связи астрономических наблюдений и теории. [назад к тексту](#)

31.

В частности, упорно держался слух, что именно Валерьяну Ивановичу принадлежала идея ослепить немецкие позиции сотнями прожекторных лучей перед

решающим штурмом Берлина в апреле 1945 года. Дело в том, что немцы уже тогда широко применяли ЭОПы, что открывало опасную для нас возможность ночного видения с помощью инфракрасных лучей. Сильнейшее внезапное облучение нашими прожекторами вывело из строя фотокатоды всех немецких ЭОПов. [назад к тексту](#)

32.

Кстати, родной брат этого великого князя в течение многих лет был президентом Российской Академии наук (непосредственно перед Карпинским), подвизался на поэтическом поприще под псевдонимом «К.Р.» (Константин Романов). Ему принадлежат слова некогда популярных душещипательных романсов, например:

Умер, бедняжка, в больнице весной,
Долго, родимый, страдал.

[назад к тексту](#)

33.

Термин «второй в Европе» не ограничивается только кладбищами. Общеизвестно, что темпераментные одесситы свой действительно симпатичный оперный театр тоже считают вторым в Европе. Было бы небезынтересно проанализировать социологический аспект этого любопытного явления: «второместничества». [назад к тексту](#)

34.

Член-корреспондент Академии наук СССР Борис Васильевич Нумеров был тогда директором Института теоретической астрономии (ИТА) и членом учёного совета Пулкова. [назад к тексту](#)

35.

Не следует забывать, что классическая работа Ханса Бете, доказавшая ядерную природу источников энергии Солнца и звёзд, была опубликована только в 1939 году. Козырев не имел о ней понятия. Страшная вещь для учёного – полная изоляция от научной жизни! [назад к тексту](#)

36.

Много лет спустя я сам убедился в этом. У меня в отделе работал инженером симпатичный паренёк, Олег Генералов. Его папаша, старый дипломат, был одно время послом в Австралии. Я спросил Олега, как его отец относится к Петрову – нашему дипломату, перебежавшему со всеми шифрами к австралийским властям.

– Так это же не наш, не МИДовский, от этой сволочи всего можно ожидать, – припечатал Генералов-старший.

[назад к тексту](#)

37.

Я познакомился с его родным племянником в прошлом году на приёме у атташе по науке и культуре посольства ФРГ в Москве. Довольно интеллигентный человек. [назад к тексту](#)

38.

Отношение отечественных мракобесов к Специальному и Общему принципам относительности различно. Если, например, некий Тяпкин, работающий в Дубне, «доказывает», что Эйнштейн «украл спецпринцип у Пуанкаре и Лоренца», то нынешний ректор Московского университета тужится «доказать», что

величайший из физиков «не понимал» созданной им общей теории относительности. [«Нынешний» в те времена, А. А. Логунов. – *Е.Г.А.*] Справедливости ради следует заметить, что эту «идею» впервые пропагандировал академик Фок. [назад к тексту](#)

39.

Несколько лет назад супруги Левичи наконец-то получили разрешение на эмиграцию в Израиль. [назад к тексту](#)

40.

Это тот самый институт, где двумя годами позже висел исторический приказ с таким пунктом: «...4. За употребление по отношению к институту им. Карпова слова, на языке малообразованных людей означающего публичный дом, сотруднику лаборатории электрохимии тов. Морохову объявляется выговор». И подпись под приказом: Директор института академик Бах. Через месяц появился новый приказ, отменяющий пункт 4 цитированного приказа и тем самым подтверждающий дефиницию тов. Морохова. [назад к тексту](#)

41.

Комментарий М. М. Агреста, сделанный 13.01.1992. Об этом эпизоде я рассказал И. С. Шкловскому в феврале 1951 года. Но я никогда не считал, что в то время Я. Б. Зельдовичу было известно, что по религиозным причинам я не пишу по субботам и что он тогда умышленно заставлял меня нарушить эту традицию. Я. Б. Зельдович требовал от меня изложить математические выкладки на доске, надеясь быстро обнаружить предполагаемую им ошибку. Во время долго длившейся беседы я всё искал пути, чтобы устно убедить

его в правильности моих результатов. Уступив его требованиям, я до сих пор корю себя, почему не открыл ему причину моего нежелания пользоваться доской, в результате чего не выдержал выпавшее на мою долю испытание. [назад к тексту](#)